



Михаил БАКУНИН.

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ II.

КНУТО-ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

С ПРЕДИСЛОВИЕМ Дж. ГИЛЬОМА.

Перевод с французского Вл. Забрежнева.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА".
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1922

Книгоиздательство

СОЮЗА АНАРХО-СИНДИКАЛИСТОВ

„ГОЛОС ТРУДА“

Петербург. Пр. Володарского, 56. Москва. Тверская, 70

Выпущены в свет следующие книги и брошюры

М. Бакунин.—Избран. соч. т. I. Государственность и Анархия, с биографич. очерком В. Черкезова (второе издание).

Его-же.—Т. II. Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция, с предисловием и примечаниями Дж. Гильома (второе издание).

Его-же.—Т. III. Бернские Медведи и Петербургский Медведь; Речи и статьи по Славянскому Вопросу; Народное Дело; Речи на Конгрессах Лиги Мира и Свободы; Федерализм, Социализм и Антитеологизм.

Его-же — Т. IV Организация Интернационала; Политика Интернационала; Письма о Патриотизме; Письма к французу; Парижская Коммуна и понятие о Государстенности.

Его-же — Том V. „Альянс“ и Интернационал. Интернационал и Мадзини.

Его-же.—Бог и Государство (разошлось).

Дж Баррет — Анархическая Революция.

А. Боровой. Личность и Общество в Анархистском Мировоззрении.

Дж. Гильом — Интернационал (Воспоминания и материалы) Том I - II.

Его-же.—Карл Маркс и Интернационал.

Эмма Гольдман.—Анархизм.

И. Гроссман-Рощин—Характеристика Творчества П. А. Кропоткина.

Ж. Грав.—Будущее Общество.

Его-же.—Синдикализм в общественном развитии.

Виктор Дав и Жорж Ивто.—Фернанд Пеллутье и Революционный Синдикализм во Франции.

С. Заяц—Как мужики остались без начальства.

Ж. Ивто.—Азбука Синдикализма (разошлось).

М. Корн.—Революционный Синдикализм и Анархизм; Борьба с Капиталом и Властью и др.

П. Кропоткин.—Записки Революционера. Под редакцией автора и с предисловием Георга Брандеса.

Его-же—Речи бунтовщика, с предисловием и послесловием автора к новому изданию.

Его-же.—Хлеб и Воля, с предисловием автора к новому изданию. (Второе издание).

Его-же. - Современная Наука и Анархия (перевод под редакцией автора).

Р. В. Ц. № 347 3.000 экз.
Тип. „ГОЛОС ТРУДА“ Петроград Ярославская 1/9

От переводчика.

В настоящем издании „Кнуто-Германская Империя“ впервые появляется на русском языке в полном об‘еме.

Душеприказчик М. А. Бакунина, Джемс Гильом, в своем предисловии подробно останавливается на обстоятельствах, вызвавших опубликование этого сочинения по частям. По тем же причинам и на русском языке имелись лишь переводы „Бога и Государства“ изданного Неттлау, „Бога и Государства“, изд. Реклю и Кафиеро и „Кнуто-Германской империи“, представляющей собою лишь один из отрывков настоящего труда. Предлагаемый перевод сделан целиком с издания 1907 г. Таким образом вторая часть настоящего издания впервые становится доступным русскому читателю.

Переводчик не гнался за „легкостью и красотою слога“ перевода приводящим часто к искажению мысли и духа оригинала. Ему представлялось предпочтительнее при соблюдении точности, правильности передачи мыслей автора и их оттенков, сохранить несколько тяжеловатый для русского уха и глаза стиль французского оригинала с длинными периодами и многочисленными придаточными предложениями. Читатель не посетует за необходимость употребить порою некоторое напряжение, чтобы проследить до конца мысль автора и будет с избытком вознагражден результатом своих усилий.

Вл. З.

Предисловие.

29 сентября 1870 г. Покидая Лион в сопровождении Валенция Ланкиевича*) и направляясь в Марсель после неудачи только что имевшего место революционного движения, Бакунин написал Паликсу**) письмо. Приводим существенные выдержки из него: ***)

„Мой дорогой друг.

Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего „прости“. Осторожность не позволяет мне придти пожать тебе в последний раз руку. Мне больше нечего делать здесь. Я приехал в Лион, чтобы сражаться или умереть с вами. Я приехал потому, что глубоко убежден, что дело Франции в этот торжественный час, когда поставлен вопрос о самом ее существовании, снова сделалось делом человечества...

Я принял участие во вчерашнем движении и подписал свое имя под резолюциями Комитета Спасения Франции****)

---

*) Валенций Ланкиевич—молодой поляк, типограф, убит во время Коммуны в Париже. (*Прим. пер.*).

**) Луи Паликс—портной, квартирохозяин Бакунина, один из благороднейших представителей французских социалистов. (*Прим. пер.*).

***) Это письмо было взято у Паликса при аресте в октябре 1870 г. и Оскар Тестю напечатал его (за исключением конца, имевшего отношение к личным делам) в 1872 г. во II томе своей книге „L'Internationale et le Jacobinisme au ban de l'Europe“ стр. 280. Бакунин сохранил черновик, что позволило Неттлау дать конец письма (опущенный Тестю) на стр. 512 своей биографии Бакунина.

****) Комитет Спасения Франции, наиболее смелым и деятельным членом коего был Бакунин, сорганизовался в видах попытки революционного восстания. Программа этого восстания была изложена за подписями делегатов от городов: Лиона, С.-Етьена, Таррара и Марселя, в воззвании, отпечатанном на красной бумаге и расклеенном 26 сентября. Бакунин хотя и иностранец, не задумался присоединить свою подпись к подписям своих друзей, дабы разделить с ними риск и ответственность. Воззвание об'являя, что „административная и правящая государственная машина, пришедшая в негодность, уничтожается“ и что „народ Франции вступает в полное распоряжение самим собою“, предлагало образовать во всех отдельных общинах комитеты Спасения Франции и немедленно послать в Лион по два делегата от каждого Комитета, „чтобы образовать революционный Конвент Спасения Франции“. (*Прим. пер.*).

потому, что для меня очевидно, что после действительного, фактического разрушения всей административной и правящей машины лишь непосредственная и революционная деятельность народа может спасти Францию... Вчерашнее движение, если бы оно победило—а оно было бы победоносным, если бы генерал Клюзере не предал дело народа—это движение, заместив Лионский муниципалитет, наполовину реакционный и наполовину неспособный, революционным Комитетом, выражающим непосредственно волю народа, могло спасти Лион и Францию... Дорогой друг, я покидаю Лион, с сердцем, полным печали и мрачных предчувствий. Я начинаю теперь думать, что с Францией покончено. Она сделается немецким вице-королевством.

Вместо ее живого и реального социализма, у нее будет доктринерский социализм немцев, которые скажут лишь то, что им разрешат сказать немецкие штыки. Бюрократическое и военное разумение Пруссии в союзе с кнутом С.-Петербургского царя*) обеспечат спокойствие и общественный порядок на всем Европейском континенте по меньшей мере в продолжении пятидесяти лет. Прощай свобода, прощай социализм, справедливость для народа и торжество человечности. Все это могло бы явиться результатом современного бедствия Франции. Все это должно было бы вытекать из него, если бы только народ Франции, народ Лиона захотел!

Но не будем больше говорить об этом. Моя совесть подсказывает мне, что я выполнил свой долг до конца. Мои лионские друзья также знают это, а остальным я пренебрегаю. Теперь, дорогой друг, перехожу к чисто личному вопросу...**). Мне остается лишь расцеловать тебя и вместе с тобой пожелать всего наилучшего бедной Франции, покинутой даже ее собственным народом".

В Марселе Бакунин надеялся найти элементы для другой революционной попытки; он думал даже, что новое движение было бы возможно в Лионе. 8 октября он писал одному молодому другу, Эмилю Баллерио: „Дело только отложено. Друзья, сделавшись более осторожными, более практичными, деятельно работают как в Лионе, так и в Марселе и скоро

---

*) В этой фразе уже выражена идея, которая несколько месяцев позже сделается заголовком: Кнуто-Германская Империя.

**) Здесь, в неопубликованном Тестю отрывке, Бакунин говорит о своем временном аресте накануне и о своем кошельке, украденном у него друзьями порядка.

мы добьемся реванша под носом у пруссаков... Все, что я вижу здесь, лишь подтверждает мое прежнее мнение о буржуазии: степень ее глупости и подлости превосходит всякое воображение. Народ готов умереть в решительной битве с пруссаками. Они же, напротив, они хотят, они призывают пруссаков в тайниках своего сердца, в надежде, что пруссаки освободят их от патриотизма народа... Я заканчиваю очень подробную брошюру обо всех этих событий и скоро пришлю ее вам. Выслали ли вам из Женевы, как я просил, мою брошюру под заглавием: Письма к французу?"

Несколько дней спустя, он отправил в Лион Ланкиевича с письмом к своим лионским друзьям, в котором писал:

„Дорогие друзья, Марсель поднимется лишь когда восстанет Лион или же когда пруссаки будут в двух днях пути до Марселя. Значит, еще раз спасение Франции зависит от Лиона. Вам остается три или четыре дня, чтобы делать революцию, которая может все спасти... Если вы думаете, что мое присутствие может быть полезно, телеграфируйте в Лион Комбу следующие слова: *Nous attendons Etienne* (мы ждем Этьена). Я сейчас же выеду".

Но Ланкиевич был арестован *) и бумаги, взятые у него, повели к аресту многих лионских революционеров. Вследствие этого неприятного обстоятельства и ввиду того, что его марсельские друзья также находились под угрозой ареста, Бакунин написал 16 октября Огареву, прося у него денег, чтобы иметь возможность, в случае надобности, самому ускользнуть от розыска полиции, в Барселоне или Генуе. В ожидании, он использовал вынужденный досуг в своем убежище (маленькая квартирка в квартале Фаро) для составления брошюры, о которой писал Баллерио; она должна была быть продолжением „Писем к французу". Он уничтожил стр. 81 bis—125 первоначальной рукописи, считая их устаревшими. И для начала этой второй брошюры, в 114 стр., он воспользовался самым текстом начала действительного письма, написанного им Паликсу 29 сентября:

„Мой дорогой друг,

„Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего „прости" и т. д.

23 октября, он написал своему другу Сентиньону, пе-

*) Он был освобожден четыре месяца спустя, в феврале 1871 г.

ребравшемуся из Барселоны в Лион, чтобы принять участие в новом революционном движении, которое рассчитывали вызвать там.

В этом письме, извещая о своем от'езде из Марселя, он говорит:

„Я должен покинуть это место потому, что мне тут решительно нечего делать, и я сомневаюсь, чтобы ты нашел какое нибудь дело в Лионе. Мой дорогой, я больше совсем не верю в революцию во Франции. Сам народ сделался там доктринером, резонером и буржуа, не хуже настоящих буржуа... Я покидаю эту страну с глубоким отчаянием в сердце. Напрасно я стараюсь убедить себя в противном,—я действительно думаю, что Франция потеряна, сданная пруссакам вследствие неспособности, подлости и скаредности буржуазии“.

На другой день, 24-го, Бакунин переодетый отправился в Генную: „он сбрил бороду и свои длинные волосы, писал один друг, провожавший его до корабля *), и напялил на глаза синие очки. Преображенный таким образом, он взглянул в зеркало и сказал, говоря о своих преследователях: „*Эти иезуиты заставляют меня принять их облик*“. Три или четыре дня спустя, он прибыл в Локарно.

В своем убежище Бакунин сейчас же предпринял новый труд, оставив незаконченной рукопись в 114 стр., начатую в Марселе.

Это новое сочинение должно было также быть продолжением „Писем к французу“ и тоже начиналось воспроизведением письма Паликсу от 29-го сентября. Он условился со своими женевскими друзьями, чтобы книга, над которой он работал, могла быть напечатана в этом городе в кооперативной типографии. Из одного русского письма, адресованного Огареву 19 ноября, видно, что к этому времени он уже послал ему часть рукописи и что он закончил еще около сорока других листков. Он писал: „Если я не посылаю их тебе сейчас же, так это потому, что мне необходимо иметь их под рукой пока я не закончу изложение одного очень деликатного вопроса **) и я еще далеко не предвижу

---

*) Шарль Алерини, сперва профессор Барселонского Колледжа, а позже, в 1871 г. политический эмигрант в Испании. Из испанской тюрьмы в сентябре 1876 г. Алерини прислал мне описание от'езда Бакунина из Марселя, в качестве материала для будущей биографии великого революционного агитатора.

**) Речь шла, как сейчас увидим, о метафизическом обсуждении идеи Бога.

конца моей работы... Это будет не брошюра, но целый том Знают ли об этом в кооперативной типографии?.. Озеров *) пишет мне, что ты берешь на себя корректуру. Прошу тебя, мой друг, попроси Жуковского помочь тебе... и немедленно передай ему прилагаемое письмо.“

Жуковскому **) он писал: „Я пишу и печатаю теперь не брошюру, но целую книгу. Огарев взялся напечатать ее и править корректуру. Но у него одного не хватит сил, помоги ему, прошу тебя, во имя нашей старой дружбы“.

Однако Бакунин, не продумав предварительно план своей книги, пустился в одно из тех отступлений, которые были для него так привычны и порою заставляли его забывать отправную точку: начиная с 105 листка, рукопись получила заглавие (надписанное автором позже, когда он решил дать этим страницам другое назначение): *Приложение*, „*философское рассуждение о божественном призраке, о реальном мире и о человеке*“. (Appendice, considérations philosophiques sur le fantôme divin, sur le monde réel et sur l'homme).

Он довел эту рукопись до 256 листка, затем, заметив, без сомнения, что зашел в тупик, он изменил свой план, отказавшись от продолжения начатой философской диссертации (это было в большой своей части, исследование системы Огюста Конта).

Из написанного он сохранил 80 первых страниц и, отложив в сторону листки 81 — 256, приложил к стр. 80-й новый листок 81-й, сделавшийся отправным пунктом иного развития этих идей ***), после чего продолжал свою работу в этом новом направлении. Это изменение произошло лишь в феврале 1871 г.

Когда, после почти четырехмесячного перерыва наших письменных сношений, я снова вступил в переписку с Бакуниным,—около середины января 1871 г. — я предложил ему свои услуги по части наблюдения за печатанием его труда. Так как книга печаталась в Женеве, он просил меня,

---

*) В. Озеров—русский эмигрант, бывший офицер, принимавший участие в польском восстании 1863 г. Потом он жил несколько лет в Париже, занимаясь сапожным ремеслом, и был известен под именем *Альбера-сапожника*. Во время Нечаевского дела он переехал из Парижа в Женеву и был одним из близких друзей Бакунина.

**) Николай Жуковский, молодой русский дворянин, эмигрировавший и основавшийся в Женеве; в течение многих лет был очень близок с Бакуниным.

***) Листки 82—256 первой редакции (листок 81 не сохранился) до сих пор еще не изданы.

вместо чтения корректуры, просмотреть рукопись до набора. И с 9-го февраля 1871 г. он высылал мне, по мере того, как писал, новые листки, следующие на 80-й стр. Я прочел их и сделал несколько грамматических исправлений. Эти присылки продолжались до 18-го марта, когда я получил листки 273—285. Таким образом были набраны только двести десять первых листков. Сочинение должно было называться: „*La Rèvolution Sociale ou la dictature militaire*“ (Социальная революция или военная диктатура).

18-го марта Бакунин отправился во Флоренцию, куда его призывали личные дела. Он вернулся в Локарно 3-го апреля. 5-го апреля он писал Огареву (по русски, письмо напечатанное в переписке) по поводу Парижской Коммуны: „Что думаешь ты об этом движении отчаяния Парижан? Каков бы ни был его исход, нужно признать, что они—молодцы. В Париже нашлось то, чего мы тщетно искали в Лионе и в Марселе: организация и люди, решившиеся идти до конца“.

Затем он говорил о своей книге, несколько отпечатанных листов которой он получил через Огарева: „Почему печатают мою книгу на такой серой и грязной бумаге? Я хотел бы дать ей другое название: *Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция.* Если выпуск еще не закончен,—перемените.“ 9-го апреля он писал: „Первый выпуск должен состоять из восьми листов... Продолжают ли их печатать и достаточно ли денег, чтобы оплатить эти восемь листов? Если нет, какие шаги предприняты для того, чтобы добыть их? Ты, старый друг, наблюдай за тем, чтобы печатание шло хорошо, без ошибок.“

16-го апреля он снова написал Огареву одно из самых интересных писем. Стоит привести целиком ту часть его, которая относится к печатавшемуся труду. Из нее видно мнение самого автора о сущности и о значении этого труда. Характерно и то, как Бакунин отзывается о себе самом (это письмо—по какой то странной случайности—опущено во французском переводе его Переписки):

„Ты пишешь мне, что решили сделать первый выпуск в пять листов, Но ты написал это до получения моего последнего письма *), в котором я умолял, советовал, просил,

*) Речь идет, как видно из последующего, не о письме от 9 апреля а о другом письме, которое потеряно, если только не допустить, что отрывок из письма от 9 апреля, содержавший просьбу Бакунина, был уничтожен издателем Переписки.

требовал, наконец, чтобы первый выпуск заключал в себе также всю историю Германии, до крестьянского бунта включительно и чтобы этот выпуск заканчивался перед главою, которую я окрестил: *Исторические софизмы немецких коммунистов.* Я указывал также, что возможно, что это заглавие было изменено или зачеркнуто Гильомом, но не настолько же, конечно, чтобы вы не могли прочесть его. Одним словом, выпуск должен оканчиваться там, где начинаются или, скорее, раньше, чем начинаются философские рассуждения о свободе, человеческом развитии, идеализме и материализме и т. д. Умоляю тебя, Огарев, и вас всех, принимающих участие в издании тома, сделайте, как я вас прошу: это для меня абсолютно необходимо.

Вмещая таким образом в себе всю историю Германии, с крестьянским бунтом, первый выпуск будет в шесть, семь и, может быть, восемь листов. Я не могу высчитать здесь, но вы легко это сделаете. Если он будет больше, чем вы думали раньше,—неважно, ибо ведь ты сам говоришь, что денег имеется на десять листов. Но что может случиться, так это, что материала, предназначенного мною для первого выпуска, не хватит для совершенного заполнения последнего листа (6-го, 7-го или 8-го). Тогда вот что следует сделать:

1) Вышлите мне обратно весь остаток рукописи, т.-е. все, что не войдет в первый выпуск, до 285 листка включительно.

2) Пришлите мне в то же время *последний листок* той части, которая должна составить первый выпуск (оригинал или копию с указанием нумерации, если кто нибудь будет настолько любезен, что перепишет этот листок). В то же время, попросите в типографии, чтобы сделали подсчет числа моих листков, необходимых для окончания листа. Я тотчас же прибавлю все, что нужно *) и два дня спустя, не позже, я вам вышлю то, что напишу. Но не забудь прислать мне этот последний листок, без которого мне будет невозможно писать продолжение.

Прошу тебя, Огарев, сделай милость, удовлетвори мою

*) Это означает, что Бакунин, возвращаясь к теме, трактуемой в последнем листке, прибавит новое развитие ее, чтобы снабдить типографию материалом для окончания и заполнения последнего листа выпуска. Без этого были бы вынуждены для заполнения его, поместить начало главы *Исторические софизмы немецких коммунистов*“, припасенной для второго выпуска.

просьбу, мое законное требование и устрой точно и быстро то, о чем я тебя прошу, и так, как прошу.

Еще раз: это мне необходимо, я тебе об‘ясню почему— при нашем свидании, которое, надеюсь, произойдет скоро.

Ты все требуешь у меня конец· Дорогой друг, я незамедлительно вышлю тебе материал для второго выпуска в восемь листов *) и все же это еще не будет концом. Пойми же, что я начал, думая написать брошюру, а кончаю книгой. Это чудовищно, да что же делать, раз я сам чудовище? Но книга, хотя и чудовищна, будет жизненной и полезной для чтения. Она почти целиком написана. Остается лишь отделать ее. Это моя первая и последняя книга, мое завещание. Поэтому, мой дорогой друг, не противоречь мне Ты знаешь, невозможно отказаться от дорогого проекта, от последней идеи, или даже изменить их. Гони природу в дверь, она войдет в окно. Остается лишь вопрос денежный. Набрали всего на десять листов, будет же не менее двадцати четырех. Но не беспокойся: я принял меры для того чтобы собрать необходимую сумму. Существенно, что сейчас есть достаточно денег для напечатания первого выпуска в восемь листов. Итак, печатайте и издавайте смело этот первый выпуск, таким, как я вас прошу (а не таким, как вы проектировали). Бог посылает день, Бог даст и хлеба.

Мне кажется, это ясно. Сделайте же, как я прошу, быстро и точно, и все будет хорошо.

... И если возможно еще изменить, назовите мою книгу так: *Кнуто-Гэрманская Империя и Социальная Революция*".

Автору не понадобилось писать еще, распространяя содержание последнего листка части рукописи, предназначенной для первого выпуска. Случилось так, что этот листок, помеченный—138, соответствовал 119 странице печатного текста, посередине восьмого листа, так, что можно было разрезать его на указанном месте.

Итак, в последних числах апреля закончили выпуск брошюры в тысяче экземпляров, сделав его в семь с половиной листов.

Увы, когда Бакунин получил этот первый выпуск, он

*) Т.-е., вступив во владение частью своей рукописи, которая не была предназначена для первого выпуска, он пошлет Огареву для второго выпуска достаточное количество листков этой рукописи, уже просмотренных мною и которые он сам хотел пересмотреть перед напечатанием.

отступил в ужасе. Отчаянные опечатки громоздились на каждой странице *).

Бакунин попросил меня немедленно отпечатать список опечаток (Errata), который он, в порыве гнева, не хотел даже заказывать в кооперативной типографии. Я отдал в набор и печать перечень опечаток, который он мне прислал Затем, по получении из Женевы рукописи выпуска, о чем я просил, чтобы иметь возможность сравнить печатное с оригиналом, я сделал еще добавление к Errata, указав лишь наиболее необходимые исправления. Кроме того, я отпечатал по просьбе автора, красную обложку, с заглавием: „*Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция*", Михаила Бакунина. Первый выпуск. Женева, у всех книготорговцев 1871". И этой обложкой была заменена прежняя—простая цветная рубашка, подклеенная к брошюре в Женеве.

Бакунин, живший в Швейцарской Юре (в Сонвилье и в Локле) с 23 апреля по 29 мая, вернулся в Локарно 1 июня 1871 г. Он взял у меня листки 139—285 своей рукописи, чтобы обработать их **), и немного дней спустя после своего возвращения он принялся,—как видно из его записной книжки,—за составление *Предисловия* для второго выпуска *Кнуто-Германской Империи.* Он написал всего четырнадцать листков.

Необходимые для издания этого второго выпуска деньги не могли, к сожалению, быть собраны в то время. И скоро, увлеченный другими занятиями, своей полемикой с Мадзини, затем своей борьбой с Карлом Марксом, Бакунин отказался от продолжения издания этого труда, который одно время был так близок его сердцу и о котором он сказал Огареву, что это „его завещание".

Одиннадцать лет спустя, в 1882 г., шесть лет после смерти Бакунина, листки 149—247 рукописи (за исключением потерянных листков 211—213) были напечатаны в Женеве заботами Карло Кафиеро и Элизе Реклю, под заглавием их собственного изобретения: „*Бог и Государство*". Два издателя и не подозревали, что листки, озаглавленные

*) Выпускаем ряд примеров чудовищных опечаток. (*Прим. пер.*).

**) Содержание листков 139—210 этой рукописи было набрано в Женеве в кооперативной типографии, но не должно было войти в первый выпуск. Этот набор (оставшийся неиспользованным—корректурные оттиски его сохранились в бумагах Бакунина) содержал главу под названием: *Исторические Софизмы доктринерской школы немецких коммунистов.*

ими так, были отрывком того, что должно было образовать второй выпуск *„Кнуто-Германской Империи“*. Листки 248—285 еще не изданы. Бакунин написал еще, я не знаю когда именно, пятьдесят пять новых листков, помеченных 286—340, которые представляют из себя длинное примечание, относящееся к последней фразе 285 листка. Содержание этих пятидесяти пяти листков было издано в 1895 г. д-ром Максом Неттлау—под тем же заглавием *„Бог и Государство“*, которое выбрали и издатели 149—247 листков на страницах 263—326 тома, озаглавленного *Michel Bakounine: Œuvres* (Paris, Stock).

Что же касается четырнадцати листков, написанных в июне—июле 1871 г. для *Предисловия ко второму выпуску*, начало этого предисловия появилось под заглавием *„Парижская Коммуна и понятие о Государствэнности“*, благодаря Элизе Реклю, в Женевском „Travailleur“ („Работник“) в 1878 г.

Полное содержание 14 листков было издано затем в Париже в 1892 г., под тем же заглавием, Бернардом Лазар в *„Политических и Литературных Разговорах“*. Другая маленькая незаконченная рукопись (48 рукописных страниц), названная *„Предостережение“* также была предназначена служить предисловием либо для второго выпуска *Кнуто-Германской Империи*, либо, скорее, ко всему труду на случай полного издания с перепечаткой первого выпуска. Она также была составлена во второй половине 1871 г., после Коммуны; она осталась неизданной.

Дж. Гильом.

1907 г,

Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция *).

29 Сентября 1870 г. Лион.

Мой дорогой друг,

Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего прости. Осторожность не позволяет мне притти еще раз пожать тебе руку. Мне больше нечего делать здесь. Я приехал в Лион, чтобы сражаться или умереть с вами. Я приехал потому, что глубоко убежден, что дело Франции снова сделалось ныне делом Человечества и что ее падение, ее порабощение режимом, который будет навязан ей прусскими штыками, было бы, с точки зрения свободы и человеческого прогресса, величайшим несчастьем, какое только может постигнуть Европу и весь мир.

Я принял участие в минувшем движении и подписал свое имя под резолюциями *Центрального Комитета Спасения Франции,* потому что для меня очевидно, что после действительного и полного разрушения всей административной и правящей машины вашей страны, для Франции не остается больше другого средства спасения, как самопроизвольные, немедленные и революционные восстания, организация и федерация ее коммун вне какой бы то ни было оффициальной опеки и руководства.

Все эти обломки прежней администрации страны, эти муниципалитеты, составленные в большей части из буржуа или обуржуазившихся рабочих; людей практической сноровки если только таковая была у них, лишенных интел-

*) Как видно из предисловия, заглавие напечатанное первоначально в брошюре, на этом месте, но затем исправленное в „опечатках", было: „*Социальная Революция или военная диктатура.* Михаила *БАКУНИНА.* Женева, Кооперативная Типография, route de Carouge, 8. 1871".

лигентности, энергии и страдающих отсутствием добросовестности; все эти прокуроры Республики, префекты, супрефекты и особенно—эти чрезвычайные комиссары, снабженные военными и гражданскими полномочиями, призрачной и роковой властью этого обломка правительства, заседающего в Туре, в час бессильной диктатуры,—все это годно лишь для того, чтобы парализовать последние усилия Франции и сдать ее Пруссакам.

Вчерашнее движение, если бы оно осталось победоносным,—а оно осталось бы таковым, если бы генерал Клюзере, слишком стремившийся угодить всем партиям, не покинул так скоро дела народа,—это движение, которое, опрокинуло бы бездарный, бессильный и на три четверти реакционный муниципалитет Лиона, заместило бы его революционным комитетом,—всемогущим, ибо он был бы не фиктивным, а непосредственным и истинным выражением народной воли; это движение, говорю я, могло бы спасти Лион, а с Лионом и Францию.

Вот уже двадцать пять дней истекло со времени провозглашения Республики, а что сделано для того, чтобы подготовить и организовать защиту Лиона? Ничего, решительно ничего!

Лион—вторая столица Франции и ключ Юга. Помимо задачи своей собственной обороны, на нем лежит двойной долг: организовать вооруженное восстание Юга и освободить Париж.

Он мог, он может еще сделать и то и другое. Если Лион восстанет, он неизбежно увлечет за собой весь Юг Франции. Лион и Марсель сделаются двумя полюсами чудовищного национального и революционного движения; движения, которое, разом поднимая деревни и города, возбудит сотни тысяч сражающихся и противопоставит по военному—организованным силам нашествия всемогущество революции.

Напротив того, для всех должно быть очевидно, что если Лион попадет в руки пруссакам, Франция безвозвратно потеряна. От Лиона до Марсели они не встретят больше препятствий. А что тогда? Тогда Франция сделается тем же чем так долго—слишком долго—была Италия по отношению к вашему бывшему императору: вассалом Его Величества императора Германии. Можно ли пасть ниже?

Только Лион может уберечь Францию от такого падения и такой постыдной смерти. Но для этого нужно было

бы, чтобы Лион пробудился, чтобы он действовал, не теряя ни дня, ни мгновения. Пруссаки к несчастью, не теряют больше времени. Они разучились спать: систематические, как истые немцы, преследуя с безнадежной точностью свои искусно скомбинированные планы и присоединяя к этому классическому качеству своей расы быстроту действий, до сих пор считавшуюся исключительной принадлежностью французских войск, они решительно и более чем когда либо, угрожающе, продвигаются вперед, к самому сердцу Франции. Они идут на Лион. Что же делает Лион для своей защиты? Ничего.

И однако, с тех пор, как Франция существует, никогда еще она не находилась в более безнадежном, более ужасном положении.

Вся армия ее разрушена. Большая часть ее военного материала, благодаря честности императорского правительства и администрации, существовала лишь на бумаге, остальная же часть, благодаря их осторожности, была так хорошо запрятана в крепостях Метца и Страсбурга, что послужит, вероятно, гораздо больше вооружению наступающих пруссаков, нежели национальной обороне. Эта последняя во всех уголках Франции нуждается ныне в пушках, снарядах, ружьях, и—что еще хуже—ей не хватает денег для покупки всего необходимого. Не то чтобы буржуазия Франции испытывала нужду в деньгах. Напротив, благодаря покровительственным законам, которые позволяли ей широко эксплоатировать труд пролетариата, ее карманы хорошо набиты. Но деньги буржуа отнюдь не патриотичны и упорно предпочитают в настоящее время эмиграцию, и даже насильственную реквизицию пруссаками, риску быть призванными содействовать спасению отечества в опасности. Наконец, я должен сказать, что у Франции нет больше администрации. Та, что существует еще и которую правительство Национальной обороны имело преступную слабость удержать, есть лишь бонапартистская машина, созданная для специального обслуживания разбойников Второго Декабря. Она, как я уже сказал в другом месте, способна не организовать, но лишь до конца предать Францию и выдать ее пруссакам.

Лишенная всего, что составляет могущество Государств, Франция уже больше не государство. Это — огромная страна, богатая, интеллигентная, исполненная возможностей и природных сил, но совершенно дезорганизованная и осуж-

денная, при всей этой ужасной дезорганизации, защищаться против самого убийственного нашествия, какое только когда либо обрушивалось на нацию, Что она может противопоставить Пруссакам? Одну лишь внезапную организацию огромного народного востания, *Революцию.*

Здесь я слышу всех сторонников общественного порядка во что бы то ни стало, доктринеров, адвокатов, всех этих эксплоататоров в желтых перчатках буржуазного республиканства и даже изрядное количество так называемых представителей народа, как например ваш гражданин Бриалу, перебежчиков от народного дела, которых жалкое, вчера рожденное честолюбие, сегодня толкает в стан буржуазии;—я слышу, как они восклицают:

„Революция! Подумайте, ведь это было бы верхом несчастия для Франции! Это было бы междуусобным раздором, гражданской войной в виду давящего, уничтожающего нас врага! Самое абсолютное доверие правительству Национальной обороны; полнейшее послушание военным и гражданским чиновникам, коих оно облекло властью; самый тесный союз между гражданами самых различных политических, религиозных и социальных воззрений, между всеми классами и всеми партиями, — вот единственное средство спасти Францию!“.

Доверие порождает единение, а единение создает силу, вот истины, которых, конечно, никто не будет пытаться отрицать. Но, чтобы это были истины, необходимы две вещи: нужно, чтобы доверие не было глупостью и чтобы единение, одинаково искреннее со стороны всех, не было самообманом, ложью или лицемерной эксплоатацией одной партии другою. Нужно, чтобы все об‘единяющиеся партии, совершенно забывая — конечно, не навсегда, но на все время, пока будет длиться их союз — свои частные и необходимо противоположные интересы, — интересы и цели, разделяющие их в обычное время, в равной мере были поглощены преследованием общей цели. Иначе что произойдет? Искренняя партия поневоле сделается жертвой и будет одурачена тою, которая будет менее искреннею или совершенно неискреннею. Она увидит себя принесенной в жертву не ради торжества общего дела, но в ущерб этому делу и ради исключительной выгоды партии, которая сумеет лицемерно эксплоатировать этот союз.

Разве не необходимо для того, чтобы единение было действительно возможным, чтобы по крайней мере цель, во

имя которой партии должны об'единиться, была одна и та же. А так-ли это ныне? Можно ли сказать, что буржуазия и пролетариат хотят абсолютно одного и того же? Отнюдь нет!

Рабочие Франции хотят спасения Франции любою ценою: даже если бы для спасения ее пришлось бы из Франции сделать пустыню, взорвать все дома, разрушить и сжечь все города, разорить все, что так дорого буржуа: собственность, капиталы, промышленность и торговлю. Одним словом превратить целую страну в одну огромную могилу, чтобы похоронить пруссаков.

Они хотят войны до последней крайности, варварской войны на ножах, если нужно. Не имея никаких материальных благ для принесения в жертву, они отдают свою жизнь. Многие из них и именно -- большая часть тех, кто состоит членом Международной Ассоциации Рабочих, вполне сознают высокую миссию, выпавшую ныне на долю пролетариата Франции. Они знают, что если Франция падет, дело человечества в Европе погибнет по крайней мере на полвека. Они знают, что они ответственны за спасение Франции не только перед Францией, но перед целым миром.

Эти идеи распространены, конечно, лишь среди наиболее передовых рабочих, но все рабочие Франции, без всякого различия, инстинктивно понимают, что порабощение их страны под иго пруссаков было было бы смертью их надежд на будущее. И они решились скорее умереть, чем завещать своим детям существование жалких рабов. Они хотят следовательно, спасения Франции любой ценой и во что бы то ни стало.

Буржуазия, или по меньшей мере громадное большинство этого почтенного класса, хочет совершенно противоположного. Что ей важнее всего, так это сохранность, во что бы то ни стало, ее домов, ее собственности и ее капиталов. Не столько целостность национальной территории, сколько целость ее карманов, наполненных благодаря труду пролетариата, эксплоатировавшегося ею под сенью национальных законов. В глубине души своей, не смея публично признаться в этом, она хочет, следовательно мира во что бы то ни стало, хотя бы пришлось купить его ценою уменьшения, упадка и порабощения Франции.

Но если буржуазия и пролетариат Франции преследуют не только различные, но и абсолютно противоположные цели, каким чудом действительный и искренний союз

мог бы установиться между ними? Ясно, что, столь рьяно проповедуемое соглашение всегда останется чистейшей ложью. Ложь убила Францию. Неужели надеются. что ложь же вернет ей жизнь? Сколько бы не осуждали рознь, она не перестанет фактически существовать. А раз она существует, раз самою силою вещей она должна существовать, было бы мальчишеством, скажу даже больше, было бы гибельно с точки зрения спасения Франции игнорировать ее, отрицать ее, совершенно не признавать открыто ее существование. Итак, раз спасение Франции призывает вас к единению, забудьте, принесите в жертву все ваши интересы, все ваши честолюбия и все ваши личные разделения. Забудьте и принесите в жертву, на сколько возможно будет сделать это, все партийные разногласия. Но во имя этого самого спасения, остерегайтесь всяких иллюзий, ибо в нынешнем положении вещей иллюзии смертельны. Ищите союз, лишь с теми, кто так же серьезно, так же страстно, как вы сами, хочет спасти Францию *любою ценою.*

Когда идут навстречу огромной, опасности, не лучше ли итти в малом количестве, с полной уверенностью не быть покинутым в момент борьбы, нежели тащить за собой целую толпу ложных союзников, которые предадут вас при первой же стычке?

С дисциплиной и доверием дело обстоит так же, как и с единением.

Все эти прекрасные вещи, когда они направлены надлежащим образом. Но они пагубны, когда ими наделяют незаслуживающих их людей. Страстный поклонник свободы, я признаюсь, что отношусь с большим недоверием к тем, у кого слово дисциплина не сходит с языка. Она в высшей степени опасна, особенно во Франции, где дисциплина чаще всего означает, с одной стороны — деспотизм с другой,—автоматизм. Во Франции мистический культ власти, любовь к командованию и привычка подчиняться командованию разрушили в обществе, равно как и в огромном большинстве индивидов всякое чувство свободы, всякую веру в самопроизвольный и живой порядок, который создать может одна лишь Свобода. Скажите им о свободе и они сейчас же завопят об анархии. Ибо им кажется, что едва перестанет действовать дисциплина государства, всегда угнетающая и насильственная, все общество должно заняться междуусобной бранью и рухнуть. В этом то и кроется

секрет поразительного рабства, которое французское общество переносит с того времени, как оно произвело свою Великую Революцию. Робеспьер и Якобинцы завещали ему культ дисциплины Государства. Этот культ, вы его обрящете целиком во всех ваших буржуазных республиканцах —оффициальных и оффициозных,—а он то и губит ныне Францию.

Он ее губит, парализуя единственный источник и единственное средство освобождения, остающиеся для нее; свободное приложение народных сил. Он губит ее также, заставляя ее искать свое спасение во власти и призрачном действии государства, которое ныне представляет собою лишь тщетные деспотические претензии, сопровождаемые абсолютным бессилием.

При всей своей враждебности к тому, что во Франции зовется дисциплиной, я признаю тем не менее, что известная дисциплина, не автоматическая, но добровольная и продуманная, прекрасно согласуемая со свободой индивидов необходима и всегда будет необходима когда многие индивиды, свободно об'единившись, предпримут какую нибудь работу или какие либо коллективные действия. При таких условиях такая дисциплина ни что иное, как добровольное и обдуманное согласование всех индивидуальных условий, направленных к общей цели.

В момент действия, в разгар борьбы, роли, конечно, распределяются, сообразно способностям каждого, оцененным и выясненным целым коллективом: одни управляют и распоряжаются, другие исполняют распоряжения. Но никакая роль не окаменевает, не закрепляется и не остается неотемлемой принадлежностью кого бы то ни было. Иерархический строй и повышения не существуют, так что вчерашний распорядитель, сегодня может сделаться подчиненным. Никто не возвышается над другими, или, если возвышается, то лишь для того, чтобы немного спустя, снова пасть подобно морской волне, вечно возвращаясь к спасительному уровню равенства.

В этой системе, в сущности, нет больше власти. Власть растворяется в коллективе и делается действительным выражением свободы каждого, верным и серьезным осуществлением воли всех: каждый повинуется лишь потому, что дежурный начальник приказывает ему лишь то, чего он сам хочет.

Вот истинно человеческая дисциплина, дисциплина не-

обходимая для организации свободы. Совсем не такова дисциплина, проповедуемая вашими республиканскими государственными людьми. Они хотят старой французкой дисциплины, автоматической, рутинной, слепой.

Начальник — не выбранный свободно и лишь на один день, но навязанный Государством надолго, если не навсегда, — приказывает и нужно подчиняться. Спасение Франции, говорят вам они, и даже свобода Франции, возможна лишь этой ценою. Пассивное повиновение — основа всех деспотизмов, будет, следовательно, также краеугольным камнем, на коем вы будете основывать вашу республику.

Но если мой начальник приказывает мне обратить оружие против этой самой республики или выдать Францию Пруссакам, должен я повиноваться ему или нет? Если я буду ему повиноваться, я предам Францию; а если ослушаюсь, я нарушу, разобью дисциплину, которую вы хотите мне навязать, как единственное средство спасения для Франции.

И не говорите, что эта дилемма, которую я прошу вас разрешить, праздная дилемма. Нет, она животрепещущей злободневности, ибо как раз над разрешением ее бьются сейчас ваши солдаты. Кто не знает, что их начальники, их генералы и громадное большинство их высших офицеров преданы душой и телом императорскому режиму? Кто не видит, что они открыто и повсюду составляют заговоры против республики? Что должны делать солдаты? Если они будут повиноваться, они предадут Францию. А если ослушаются, они разрушат то, что у вас остается от правильно организованных войск.

Для республиканцев, сторонников Государства, общественного порядка и дисциплины во что бы то ни стало, эта дилемма не разрешима. Для нас, революционеров-социалистов, она не представляет никакой трудности. Да, они должны ослушаться, они должны взбунтоваться, они должны разбить эту дисциплину и разрушить современную организацию регулярных войск, они должны во имя спасения Франции разрушить этот призрак государства, бессильный для добра, могущественный для зла. Потому что спасение Франции может притти теперь лишь от единой действительной силы, остающейся у Франции,—от Революции.

Что же сказать об этом доверии, которое вам рекомендуют ныне, как наивысшую добродетель республиканцев? Некогда, в бытность их подлинными республиканцами, они рекомендовали демократии быть недоверчивой. Впрочем, не было даже нужды советовать это: демократия недоверчива по своему положению, по природе, а также и вследствие исторического опыта: ибо во все времена она была жертвой и бывала обманута всеми честолюбцами, всеми интриганами, как целыми классами так и отдельными индивидами, которые под предлогом направления и ведения ее к надежной пристани, вечно эксплоатировали и обманывали ее. Она до сих пор только и делала, что служила ступенькой для их под'ема.

Теперь господа республиканцы от буржуазного журнализма советуют ей доверять. Но кому и чему? Кто они такие, чтобы сметь рекомендовать доверие и что они сделали, чтобы заслужить его сами? Они писали фразы слабоокрашенные республиканизмом, насквозь пропитанные узкобуржуазным духом по столько то за строчку. И сколько маленьких Оливье в зародыше между ними! Что общего между ними, корыстными и рабскими защитниками интересов имущего, эксплоатирующего класса и—пролетариатом? Разделили ли они когда-нибудь страдания рабочего люда, к которому осмеливаются пренебрежительно обращать свои выговоры и советы? Сочувствовали ли хотя бы они этим страданиям? Защищали ли они когда-нибудь интересы и права работников от буржуазной эксплоатации? Наоборот, всякий раз, как великий вопрос века, экономический вопрос бывал поставлен, они становились апостолами буржуазной доктрины, осуждающей пролетариат на вечную нищету и на вечное рабство, в пользу свободы и материального процветания привиллегированного меньшинства.

Вот каковы люди, считающие себя вправе рекомендовать народу доверие. Посмотрим же, кто заслуживал и кто заслуживает ныне доверия?

Не буржуазия ли?—Но, не говоря даже о реакционном бешенстве, которое этот класс выказал в июне 1848 и об угодливой и раболепной подлости, доказательства коей она давала двадцать пять лет подряд, во время президентства, равно как и царствования Наполеона III: не говоря о безжалостной эксплоатации, при помощи которой они перевели в свои карманы весь продукт народного труда,

оставив едва самое необходимое несчастным наемникам; не говоря о ненасытимой жадности и о той жестокой и подлой скупости, которые, основывая все процветание буржуазного класса на нищете и на экономическом рабстве пролетариата, делают этот класс непримиримым врагом народа,— посмотрим, каковы могут быть *нынешние* права этой буржуазии на доверие народа?

Несчастия Франции не переродили ли ее разом? Не сделалась ли она снова истинно-патриотической, республиканской, демократической, народной и революционной?

Выказала ли она расположение подняться массами и отдать свою жизнь и свой кошелек для спасения Франции? Раскаялась ли она в своих прежних несправедливостях, в своих бесчестных недавних изменах и бросилась ли она снова откровенно в об'ятия народа, полная доверия к нему? Не встала ли она в сердечном порыве, во главе народа, чтобы спасти страну?

Мой друг, не правда ли,—достаточно поставить эти вопросы, чтобы при виде того, что происходит ныне, быть вынужденным ответить на них отрицательно.

Увы! буржуазия отнюдь не изменилась, не исправилась, не раскаялась. Ныне, как вчера и даже больше, чем вчера, выведенная на чистую воду обличительным светом, который события бросают как на людей, так и на вещи, она выказала себя черствой, эгоистической, жадной, узкой, глупой, одновременно грубой и раболепной, свирепой, когда она считает возможным быть таковой без большой опасности для себя, как в скверной памяти июньские дни, всегда распростертою ниц перед властью и публичной силой, от которой она ждет своего спасенья, и—врагом народа всегда и во чтобы то ни стало.

Буржуазия ненавидит народ по причине всего того зла, которое она сделала ему; она ненавидит его потому, что видит в нищете, невежестве и рабстве этого народа свое собственное осуждение, ибо она знает, что она слишком заслужила народный гнев и потому что она чувствует себя угрожаемой во всем своем существовании этим гневом, который день ото дня становится более напряженным и более раздраженным. Она ненавидит народ потому, что он страшен ей; она его ненавидит ныне вдвойне, потому что единственный искренний патриот, разбуженный от своего оцепенения несчастьем Франции, которая, впрочем, как и все отечества мира, были лишь мачехой для него,

народ—осмелился подняться. Он сознает себя подсчитывает свои силы, организуется, начинает говорить громко, петь *Марсельезу* на улицах и производимым им шумом, угрозами, которые он уже бросает по адресу изменников Франции, нарушает общественный порядок, смущает нечистую совесть и лишает спокойствия господ буржуа.

Доверие приобретается лишь доверием. Оказала ли буржуазия хоть малейшее доверие к народу? Далеко нет! Все, что она сделала, все, что она делает, доказывает, напротив того, что ее недоверчивость к нему, переходит всякие пределы. До такой степени, что в момент, когда интерес и спасенье Франции с очевидностью требует, чтобы весь народ был вооружен, она не хотела дать ему оружие.

Когда народ пригрозил взять его силою, она должна была уступить. Но выдав ему ружья, она сделала все возможные усилия, чтобы не дать ему патронов. Она должна была еще раз уступить. И вот теперь когда народ вооружен, он сделался от этого лишь более опасным и более ненавистным в глазах буржуазии.

По причине ненависти к народу и страха перед ним буржуазия отнюдь не хотела и не хочет республики. Не забудем никогда, дорогой друг: в Марселе, Лионе, Париже, во всех крупных городах Франции отнюдь не буржуазия, но народ, рабочие провозгласили республику. В Париже это даже были не мало ревностные, неустойчивые республиканцы Законодательного Корпуса, ныне почти все— члены правительства Национальной Обороны; это были рабочие кварталов Виллет и Бельвиль, которые провозгласили ее против желания и ясно выраженного намерения этих своеобразных вчерашних республиканцев. Красный призрак, знамя революционного социализма, преступление, совершенное господами буржуа в июне, заставили их потерять вкус к республике. Не забудем, что 4 сентября, когда рабочие Бельвиля встретили г. Гамбетта и приветствовали его возгласами: „Да здравствует Республика!“, он ответил им такими словами: „Да здравствует Франция, *говорю я вам*“.

Г. Гамбетта, как и все другие, отнюдь не хотел республики. Революции он хотел еще меньше. Мы знаем впрочем это по всем речам, произнесенным им с тех пор, как его имя привлекло к нему внимание публики. Г. Гамбетта очень хочет называться государственным человеком, *умным, умеренным, консервативным, рациональным и позити-*

истским республиканцем *), но он в ужасе перед революцией. Он хочет управлять народом, но отнюдь не быть управляемым им. Поэтому не направлялись ли 3 и 4 сентября все усилия г. Гамбетта и его коллег радикальной левой Законодательного Корпуса к одной единственной цели: избежать всеми силами установления правительства, исшедшего из народной революции. В ночь с 3 на 4 сентября, они употребили неслыханные усилия, чтобы заставить бонапартистскую правую и Министерство Паликао принять проект г. Жюля Фавра, представленный накануне и подписанный всей радикальной левой; проект, который требовал ни больше, ни меньше, как установления *Правительственной Комиссии,* легально назначенной Законодательным Корпусом, соглашаясь даже на то, чтобы бонапартисты были в ней в большинстве и не ставя другого условия, кроме вхождения в эту комиссию нескольких членов радикальной левой.

Все эти махинации были разбиты народным движением, которое вспыхнуло вечером 4 сентября. Но даже в разгаре восстания рабочих Парижа, в то время, как народ наводнил трибуны и залу Законодательного Корпуса, г. Гамбетта, верный своей мысли систематически-антиреволюционной, рекомендовал еще народу хранить молчание и уважать *свободу прений* (!), *чтобы не могли сказать, что правительство, которое должно было быть избрано голосованием Законодательного Корпуса, составлено под насильственным давлением народа.*

Как истый адвокат, сторонник легальной фикции во что бы то ни стало, г. Гамбетта думал, без сомнения, что правительство, которое будет назначено этим Законодательным Корпусом, вышедшим из императорского подлога и заключающим в своих недрах самые примечательные бесчестия Франции, было бы в тысячу раз более внушительно и более почтенно, чем правительство, приветствуемое отчаянием и негодованием проданного народа. Эта любовь к конституционной лжи до такой степени ослепила г. Гамбетту, что он, несмотря на весь свой ум, не понял, что никто не смог бы и не захотел бы верить в свободу голоса, имевшего место при подобных обстоятельствах. К счастью, бонапартистское большинство, перепуганное все более и более угрожающими проявлениями народного гнева и пре-

*) См. письмо в *Progrès de Lyon.* (Примеч. Бакунина).

зрения, разбежалось; и г. Гамбетта, оставшись в зале Законодательного Корпуса один со своими коллегами радикальной левой, увидел себя вынужденным, конечно, против своей воли, отказаться от своей мечты о легальной власти и примириться с тем, что народ передал в руки этой левой власть революционную. Я скажу сейчас, какое жалкое употребление сделал он и его коллеги в течение четырех недель, истекших с 4 сентября из этой власти, доверенной им народом Парижа для того, чтобы они вызвали во всей Франции спасительную революцию, но которою до сего времени они пользовались напротив, лишь для того, чтобы повсюду парализовать революцию.

В этом отношении г. Гамбетта и все его коллеги по Правительству Национальной Обороны были лишь слишком верным выражением чувств и преобладающей мысли буржуазии. Соберите всех буржуа Франции и спросите их, что они предпочитают: освобождение их отечества Социальною Революциею—а иной революции, кроме социальной, в настоящее время быть не может,—или же порабощение его под игом пруссаков? Если они осмелятся быть искренними, лишь бы они находились в положении, которое позволило им без риска высказать всю их мысль, девять десятых... что я говорю! девяносто девять сотых или даже девятьсот девяносто девять тысячных, ответят вам, не колеблясь, что революции они предпочитают порабощение. Спросите их еще: в случае, если бы для спасения Франции оказалось необходимым пожертвовать значительной частью их собственности, их благ, их движимого и недвижимого имущества, чувствуют ли они себя расположенными к такой жертве? Или же, употребляя риторическую фигуру г. Жюля Фавра, они действительно готовы скорее быть погребенными под развалинами своих вилл и домов, нежели отдать их пруссакам? Они вам единодушно ответят, что они предпочитают выкупить их у Пруссаков. Думаете ли вы, что если бы парижские буржуа не находились на глазах и под рукой—всегда угрожающей—парижских рабочих, Париж оказал бы Пруссакам столь славное сопротивление?

Не клевещу ли, однако, я на буржуазию?

Дорогой друг, вы хорошо знаете, что нет. И к тому же, теперь существует, очевидное и ясное, неотразимое доказательство истинности, справедливости всех моих обвинений против буржуазии. Недобросовестность и равнодушие

буржуазии слишком ярко проявились в денежном вопросе. Всем известно, что финансы страны раззорены; что нет ни одного су в кассах того самого правительства Национальной Обороны, которое господа буржуа будто бы поддерживают теперь так ревностно и горячо. Все понимают, что это правительство не может наполнить кассы обычными способами займов и налогов. Непризнанное правительство не может найти кредита; что же касается дохода от налогов, доход этот свелся к нулю. Часть Франции, включающая в себя наиболее промышленные, наиболее богатые провинции, занята пруссаками, и систематически ими грабится. Повсюду в других местах торговля, промышленность, все деловые сделки остановились. Косвенные налоги не дают больше ничего или почти ничего. Прямые налоги уплачиваются с безграничными трудностями и безнадежной медленностью. И все это в такой момент, когда Франция нуждалась бы во всех своих рессурсах и во всем своем кредите, чтобы оплачивать чрезвычайные, неисчислимые, гигантские расходы национальной обороны. Самые неопытные в делах люди должны понять, что если Франция не найдет немедленно денег, большого количества денег, ей невозможно будет продолжать свою защиту против нашествия Пруссаков.

Лучше, чем кто бы то ни было, должна понять это буржуазия, проводящая всю жизнь в возне с делами и не признающая иного могущества, кроме денежного. Она должна также понять, что, так как Франция не может больше добыть себе всех необходимых для своего спасения денег обычными для государства средствами, она вынуждена,— это ее право и обязанность,—брать их там, где они имеются. А где же они имеются? Конечно, не в карманах несчастного пролетариата, которому буржуазная скупость едва оставляет чем питаться; следовательно—единственно, исключительно в несгораемых шкафах господ буржуа. Они одни обладают деньгами, необходимыми для спасения Франции. Предложили ли они свободно, по собственному почину, хотя бы малую часть своих капиталов?

Я возвращусь еще, дорогой друг, к денежному вопросу, являющемуся главным вопросом, когда нужно оценить искренность чувств, принципов и патриотизма буржуа. Общее правило: хотите вы безошибочно узнать, серьезно ли хочет буржуа того или иного? Спросите, готов ли он для достижения этого на денежную жертву. Ибо будьте

уверены, когда буржуа страстно хочет чего нибудь, он не отступит ни перед какой денежной жертвой. Не затратили ли они безграничные суммы, чтобы убить, задушить республику 1848 г.? И позже не вотировали ли они с увлечением все налоги и займы, предложенные Наполеоном III и не нашли ли они в своих несгораемых ящиках баснословные суммы, чтобы подписаться на все эти займы? Наконец предложите им, укажите им способ восстановить во Франции хорошую монархию—весьма реакционную, весьма сильную, которая вернула бы им, вместе с дорогим общественным порядком и спокойствием улиц, экономическое господство, ценную привиллегию эксплоатировать нищету пролетариата без жалости, без стыда, легально, систематически, и—вы увидите, останутся ли они глухи!

Обещайте им только, что, по изгнании Пруссаков с французской территории, восстановят эту монархию с Генрихом ли V, или с Дюком Орлеанским или даже с одним из отпрысков бесчестного Бонапарта и будьте уверены, их несгораемые ящики сейчас же раскроются, и они найдут там все необходимые для изгнания Пруссаков средства. Но им обещают Республику, царство демократии, власть народа, освобождение народной черни. Они совсем не хотят ни вашей республики, ни подобного освобождения и доказывают это, держа закрытыми свои сундуки и не жертвуя ни одного су.

Вы знаете лучше, чем я, дорогой друг, какова была участь несчастного займа для организации обороны Лиона, выпущенного муниципалитетом этого города. Сколько человек подписалось? Такое ничтожное количество, что сами проповедники буржуазного патриотизма почувствовали унижение, отчаяние, безутешность.

И после этого рекомендуют народу иметь доверие к буржуазии! У нее самой хватает нахальства, цинизма, просить,—что я говорю—требовать доверия! Она имеет претензию одна править и вести дела республики, которую в глубине сердца проклинает. Во имя республики она старается установить и усилить свой авторитет и свое исключительное господство, поколебленное на момент. Она завладела всеми должностями, она заполнила все места, оставив лишь некоторые для рабочих перебежчиков, которые так счастливы восседать среди господ буржуа. Какое же употребление делают они из захваченной таким образом власти? Об этом можно судить, рассматривая деяния вашего муниципалитета.

Но, мне скажут, вы не имеете права нападать на муниципалитет, ибо избранный после революции самим народом путем прямого голосования он есть создание всеобщего избирательного права! В качестве такового он должен быть священным для вас.

Признаюсь вам откровенно, дорогой друг, я не разделяю ни в малейшей мере суеверного преклонения перед всеобщим избирательным правом ваших радикальных буржуа или ваших буржуазных республиканцев. В другом письме я изложу вам причины, не позволяющие мне восторгаться им. Здесь мне достаточно принципиально установить истину, которая мне кажется неоспоримой, и которую мне не трудно будет позже доказать как путем рассуждения, так и большим количеством фактов, почерпнутых в политической жизни всех стран, пользующихся в настоящий момент республиканскими и демократическими учреждениями. А именно: *пока избирательное право будет осуществляться в обществе, где народ, рабочая масса* экономически *подчинены меньшинству, владеющему собственностью и капиталом, насколько бы независимым или свободным ни был или скорее ни казался народ в политическом отношении, выборы никогда не могут быть иными, как призрачными, антидемократическими и абсолютно противоположными нуждам, инстинктам и действительной воле населения.*

Не были ли все выборы, непосредственно произведенные народом Франции со времени Декабрьского переворота, диаметрально противоположными интересам этого народа, и последнее голосование императорского плебисцита не дало ли семь миллионов „да" императору? Скажут, конечно, что при империи всеобщее голосование никогда не было свободно осуществляемо, ибо свобода прессы, союзов и собраний—основные условия политической свободы—были отменены, и беззащитный народ предоставлен развращающему воздействию субсидируемой прессы и бесчестной администрации. Пусть так. Но выборы 1848 г. в Учредительное Собрание и выборы президента, равно как и выборы в мае 1849 г. в Законодательное Собрание, были, я полагаю, абсолютно свободны. Они производились помимо какого бы то ни было давления или даже оффициального вмешательства, при соблюдении всех условий самой абсолютной свободы. И однако что они дали? Ничего кроме реакции.

„Один из первых актов Временного Правительства, говорит Прудон *), акт, за который оно себе больше всего апплодировало, это—применение всеобщего избирательного права. В самый день обнародования декрета мы писали эти самые слова, которые тогда могли сойти на парадокс: *Всеобщее избирательное право это—конт-революция.* Можно судить по событиям, ошибались ли мы. Выборы 1848 г. были произведены в подавляющем большинстве священниками, легитимистами, приверженцами династии, всем, что только имеется во Франции наиболее реакционного, наиболее отсталого. И иначе быть не могло".

Да, это не могло, и ныне в настоящий момент это еще не может быть иначе, пока неравенство экономических и социальных условий жизни будет попрежнему преобладать в общественной организации, пока общество будет попрежнему разделено на два класса, из которых один, эксплоатирующий и привилегированный, будет пользоваться всеми преимуществами состояния, образования и досуга, а другой, включающий в себя всю массу пролетариата, на свою долю будет получать лишь насильственный, убивающий ручной труд, невежество, нищету с их неизбежным спутником—рабством—не по закону, но на деле.

Да, это есть рабство, ибо, как бы широки ни были политические права, которые вы предоставляете этим миллионам наемных пролетариев, подлинных каторжников голода, вы никогда не дойдете до того, чтобы их оградить от порочного влияния, от естественного господства различных представителей привилегированного класса, начиная от священника и до самого якобинского, самого красного буржуазного республиканца: представителей, которые как бы ни казались или как бы на самом деле ни были несогласны между собою в вопросах политических, тем не менее об'единены в общем и высшем интересе: эксплоатации нищеты, невежества, политической неопытности и доверчивости пролетариата на пользу экономического господства владеющего класса.

Как мог бы противостоять интригам клерикальной, дворянской и буржуазной политики пролетариат деревни и города? Для самозащиты у него лишь одно оружие—инстинкт, который почти всегда стремится к истинному и справедливому, потому что он сам есть главная, если не единственная, жертва несправедливости и обмана, царствующих

*). *Революционные идеи.*

в современном обществе, и потому что угнетенный привилегиями он естественно требует равенства для всех.

Но инстинкт — не достаточное оружие для спасения пролетариата от реакционных махинаций привилегированных классов. Инстинкт, предоставленный самому себе, и поскольку он не превратился еще в сознательно обдуманную, ясно определенную мысль, легко дает сбить себя с пути, подменить и обмануть. Подняться же до сознания себя самого для него невозможно без помощи образования, науки; а наука, знание дел и людей, политический опыт совершенно отсутствуют у пролетариата. Последствия этого предвидеть легко: пролетариат хочет одного; а ловкие люди, пользуясь его невежеством, заставляют его делать другое, так что он даже и не подозревает, что делает совсем противоположное тому, что хочет. И когда, наконец, он замечает это, обыкновенно бывает слишком поздно исправить сделанное зло, первой и главной жертвой которого он естественно, необходимо и всегда является.

Таким то путем священники, дворяне, крупные собственники и вся эта бонапартистская администрация, которая, благодаря преступной глупости правительства, именующего себя правительством Национальной Обороны*) может спокойно продолжать ныне свою империалистскую пропаганду в деревнях; таким то путем все это творцы открытой реакции, пользуясь закоренелым невежеством французского крестьянства, стремятся поднять его против республики, в пользу Пруссаков. Увы! Они слишком преуспевают в этом. Ибо разве не видим мы коммуны, не только раскрывающие свои врата пруссакам, но еще и доносящие и изгоняющие партизанские отряды, являющиеся для их освобождения.

Разве крестьяне Франции перестали быть французами? Совсем нет. Я даже думаю, что патриотизм, взятый в наиболее узком и наиболее исключительном смысле слова, только среди них и сохранился таким могущественным и таким искренним. Ибо они больше, чем какая либо другая часть населения, обладают той привязанностью к земле, питают тот культ земли, которые составляют основную предпосылку патриотизма. Как же случилось, что они не хотят или что они колеблются еще подняться для защиты этой земли от пруссаков? О, это потому, что они были обмануты

*) Не справедливее ли было бы называть его правительством разорения Франции?

и, что их продолжают еще обманывать. При помощи Маккиавелевской пропаганды, начатой в 1848 г. легитимистами и орлеанистами в согласии с умеренными республиканцами вроде г. Жюля Фавра и К-о, затем продолжаемой с большим успехом бонапартистской прессой и администрацией, их удалось убедить, что социалисты-рабочие, сторонники раздела, мечтают ни больше ни меньше, как о конфискации их земель; что один лишь император хотел защищать их против этого грабежа, и что революционеры-социалисты выдали его и его армию пруссакам из мести, но что прусский король примирился с императором и вновь введет его, победоносного, чтобы восстановить порядок во Франции.

Это очень глупо, но это так. Во многих, — что я говорю?—в большинстве французских провинций крестьянин вполне искренне верит во все это. И это даже единственное основание его инертности и его враждебности к Республике. Это большое несчастье, ибо ясно, что если деревни останутся инертными, если крестьяне Франции, соединившись с рабочими городов, не встанут массами, чтобы выгнать пруссаков, Франция потеряна. Как бы ни был велик героизм, проявляемый городами,—а в нужный момент все города его проявляют в изобилии—города, отделенные от деревень, будут изолированы, как оазисы в пустыне. Они необходимо должны пасть.

Если что доказывает в моих глазах глубокую неспособность этого своеобразного правительства Национальной Обороны, так это то, что с первого же дня, когда оно оказалось у власти, оно отнюдь не приняло немедленно же необходимых мер, чтобы просветить деревни насчет современного порядка вещей, и чтобы вызвать, чтобы возбудить повсюду вооруженное восстание крестьян. Неужели так трудно было понять эту столь простую, столь очевидную для всех истину, что от массового восстания крестьян, об‘единенного с восстанием народа в городах, зависело и еще поныне зависит спасение Франции? Но сделало ли до сего дня хоть единственный шаг, предприняло ли какие либо меры правительство Парижа и Тура, чтобы вызвать восстание крестьян? Оно ничего не сделало, чтобы вызвать его, и, напротив, сделало все, чтобы это восстание стало невозможным. Таково его безумие и его преступление,—безумие и преступление, могущие убить Францию.

Оно сделало восстание деревень невозможным, поддерживая во всех коммунах Франции муниципальную администрацию Империи:—тех же самых мэров, мировых судей, полевых стражников, разумеется и попов, которые были профильтрованы, выбраны, поставлены и покровительствуемы г.г. префектами и супрефектами, равно как и императорскими епископами с единственной целью: обслуживать интересы династии, хотя бы и вопреки интересам всех и вся, и даже самой Франции. Эти самые чиновники, которые провели все выборы империи, в том числе и последний плебисцит, и которые в истекшем августе под управлением г. Шевро, министра внутренних дел в правительстве Паликао, подняли против либералов и демократов, всех оттенков в пользу Наполеона III, в тот самый момент, когда этот негодяй предавал Францию пруссакам, кровавый крестовый поход, жестокую пропаганду, распространявшую во всех коммунах клевету, столь же смешную, как и гнусную, якобы республиканцы, толкнувши императора в эту войну, об'единились теперь против него с солдатами Германии.

Таковы люди, которых правительство Национальной Обороны по своему тупоумию или равнодушию—одинаковы преступному—оставило до сего дня во главе всех сельских коммун Франции. Могут ли эти люди, до такой степени скомпрометированные, что всякая перемена курса для них уже стала невозможной, могут ли они оправдаться теперь и, разом переменив направление, мнения и речи, действовать как искренние сторонники республики и спасения Франции? Да ведь крестьяне стали бы смеяться им в лицо! Они, следовательно, *вынуждены* говорить и действовать ныне, как вчера; вынуждены отстаивать и защищать интересы императора против республики, интересы династии против Франции и интересы пруссаков,—нынешних союзников императора и династии, против национальной обороны. Вот, чем об'ясняется, что все коммуны, вместо того, чтобы оказывать сопротивление пруссакам, раскрывают им свои об'ятья.

Повторяю еще раз; это великий позор, великое несчастье и огромная опасность для Франции. И вся вина за это падает на правительство Национальной Обороны. Если все пойдет тем же порядком, если в ближайшем будущем не переменят настроения деревень, если не поднимут крестьян против пруссаков,—Франция безвозвратно потеряна.

Но как их поднять? Я подробно разработал этот вопрос в другой брошюре *). Здесь я скажу об этом лишь несколько слов. Первым условием, конечно, является немедленное и массовое отозвание теперешних коммунальных чиновников, ибо пока эти бонапартисты останутся на местах, ничего нельзя будет сделать. Но это отозвание будет лишь отрицательной мерой. Она абсолютно необходима, но не достаточна. На крестьянина по природе реалиста и скептика, можно успешно воздействовать лишь средствами положительными. Достаточно сказать, что декреты и прокламации, хотя бы и подписанные всеми членами правительства Национальной Обороны—совершенно ему незнакомыми—равно как и газетные статьи, на него не производят никакого впечатления. Крестьянин не занимается чтением. Его воображение, его сердце закрыты для идей, пока они появляются в литературной или отвлеченной форме. Чтобы он мог схватить их, идеи должны выявляться ему живым словом живых людей и мощью фактов. Тогда он слушает, понимает и кончает тем, что дает себя убедить.

Следует ли послать в деревни пропагандистов, апостолов республики? Это средство было бы не плохо; только оно представляет некоторую трудность и двойную опасность. Трудность заключается в том, что правительство национальной обороны, тем более хватающееся за свою власть, что власть эта ничтожна, и верное своей несчастной системе политической централизации при таких обстоятельствах, когда эта централизация сделалась абсолютно невозможной, захочет само выбирать и назначать всех этих апостолов или поручить это своим новым префектам и чрезвычайным комиссарам. Все же они, или почти все, принадлежат к тому же политическому лагерю, как и само правительство то есть—все они или почти все—буржуазные республиканцы, адвокаты или редакторы газет, либо платонические (и такие еще лучше из них, хотя и не самые разумные), либо весьма заинтересованные поклонники республики, идею которой они усвоили не из жизни, но почерпнули из книжек, и которая сулит одним славу и мученический венец, а другим—блестящую карьеру и доходное место.

При всем том, это весьма умеренные республиканцы, *консерваторы, рационалисты и позитивисты*, вроде г. Гам-

*) Lettres à un Français sur la crise actuelle. Septembre 1870 (Письма к французу о современном кризисе. Сентябрь 1870).

бетты, и как таковые—ожесточенные враги революции и социализма и поклонники государственной власти во что бы то ни стало.

Эти почетные чиновники новой республики захотят, разумеется, послать миссионерами в деревни лишь людей собственного закала и абсолютно разделяющих их собственные политические убеждения. Для всей Франции таковых понадобилось бы по меньшей мере несколько тысяч.

Где, чорт побери, возьмут они их? Буржуазные республиканцы ныне редки, даже среди молодежи! Так редки, что в городе, как Лион, например, их не наберется в достаточном количестве для заполнения важнейших должностей, которые должны бы быть доверены лишь искренним республиканцам.

Первая опасность заключается в следующем: если даже префекты и супрефекты нашли бы в своих департаментах, достаточное количество молодых людей, чтобы заполнить пропагандистские должности в деревнях, эти новые миссионеры неизбежно были бы почти всегда и везде ниже—и по своей революционной интеллигентности, и по энергии своего характера,—нежели сами пославшие их префекты и супрефекты, подобно тому, как эти последние ниже выродившихся и более или менее оскопленных детей великой революции, которые, замещая ныне высшие должности членов правительства национальной обороны, осмелились взять в свои слабые руки судьбы Франции.

Так, спускаясь все ниже и ниже, от ничтожеств к еще большим ничтожествам, не нашлось бы для посылки пропагандистами республики в деревни никого лучше республиканцев, вроде г. Андрие, прокурора Республики, или г. Евгения Верон, редактора *Прогресса* в Лионе, людей, которые во имя республики станут пропагандировать реакцию. Думаете ли вы, дорогой друг, что это могло бы привить крестьянам вкус к республике?

Увы, я опасаюсь обратного. Между бледными поклонниками невозможной отныне буржуазной республики и крестьянином Франции—не *позитивистом и рационалистом*, как г. Гамбетта, но человеком весьма положительным и обладающим здравым смыслом нет ничего общего. Даже если бы они были воодушевлены лучшими намерениями в мире, они увидели бы, как рушится перед лукавой замкнутостью этих грубых деревенских работников вся их литературная, доктринерская и крючкотворная реторика. Воодушевить кре-

стьянина не невозможно, но чрезвычайно трудно. Для этого следовало бы прежде всего носить в себе самом ту глубокую и могучую страсть, которая волнует души и вызывает и производит то, что в обыденной жизни, в однообразном повседневном существовании называют чудесами преданности, самопожертвования, энергии и победоносного действия. Люди 1792 и 1793 г.г. особенно Дантон, обладали этой страстью и с нею и благодаря ей обладали силой творить чудеса. Они были бесноватыми и достигли того, что сделали бесноватою всю нацию. Или, скорее, они сами были наиболее энергичным выражением страсти, воодушевлявшей всю нацию.

Среди всех нынешних и вчерашних людей, составляющих буржуазно-радикальную партию Франции, встречали ли вы или слышали ли хотя бы об одном, о ком можно было бы сказать, что он носит в самом сердце нечто, хоть немного приближающееся к той страсти и к той вере, которые воодушевляли людей Великой революции? Ни одного нет, не правда ли?

Позже я изложу вам причины, которым по моему мнению следует приписать этот прискорбный упадок буржуазного республиканизма. Я удовольствуюсь теперь констатированием и общим утверждением, которое докажу позднее, —что буржуазный республиканизм был морально и интеллектуально оскоплен, сделан глупым, бессильным, лживым, подлым, реакционным и в качестве такового окончательно выкинут с исторической арены появлением революционного социализма.

Мы изучали вместе с вами, дорогой друг, представителей этой партии в самом Лионе. Мы видели их за работой. Что они говорили, что они делали, что они делают среди ужасного кризиса, угрожающего поглотить Францию? Всего лишь жалкую, маленькую реакцию! Они не осмеливаются еще делать большую. Две недели достаточны были для них, чтобы показать Лионскому народу, что республиканские и монархические властители различаются лишь по имени. Тоже ревнивое оберегание власти, презирающей и боящейся народного контроля, то же недоверие к народу, таже снисходительность и те же поблажки для привилегированных классов. И однако г. Шальмель-Лакур, префект и ныне, благодаря низкопоклонной подлости Лионского муниципалитета, диктатор этого города, — задушевный друг г-на Гамбетты, его любимый избранник, конфиденциальный

делегат и верный выразитель самых интимных мыслей этого великого республиканца, этого *homme viril* (мужественного человека), от которого Франция наивно ждет ныне своего спасения. И однако, г. Андрие, нынешний прокурор Республики и прокурор действительно достойный этого имени, ибо обещает скоро превзойти своим ультраюридическим рвением и своей неизмеримой любовью к общественному порядку самых ревностных прокуроров империи,—г. Андрие выставлял себя при предыдущем режиме свободомыслящим, фанатическим врагом попов, преданным сторонником социализма и другом Интернационала. Я думаю даже, что незадолго до падения империи ему выпало особое счастье быть заключенным в тюрьму в качестве такового, и он был извлечен оттуда победоносным народом.

Как случилось, что эти люди изменились, и что—вчерашние революционеры—они сделались ныне такими решительными реакционерами? Результат ли это удовлетворенного честолюбия? Не было ли это потому, что получив благодаря народной революции достаточно прибыльные, достаточно высокие теплые местечки, они больше всего стараются сохранить их за собой? Ах, конечно, честолюбие и корысть являются сильными мотивами, и они развратили многих, но я не думаю, чтобы пребывание у власти в течение двух недель было достаточно, чтобы развратить души этих новых чиновников Республики. Обманывали ли они народ, когда представлялись ему при империи как сторонники революции? Откровенно говоря я не могу этому поверить. Они сами обманывались насчет самих себя, воображая себя революционерами. Они приняли свою ненависть очень искреннюю хотя не очень страстную и энергичную к империи за горячую любовь к революции, и построив себе такую иллюзию относительно самих себя, они не догадывались, что они являются партизанами революции и реакционерами в то же самое время.

„Реакционная идея“ сказал Прудон:*) — „пусть народ не забывает этого,—зародилась в недрах республиканской партии“. И далее он прибавляет, что первоисточником этой мысли является „ее (партии) *правительственное рвение*“, крючкотворное, мелочное, фанатическое, полицейское и тем более деспотическое, что оно считает все себе позволенным,

*) „Общая идея Революции“

так как ее деспотизм всегда имеет предлогом самое спасение республики и свободы.

Буржуазные республиканцы совершенно ошибочно отожествляют *свою* республику со свободой. В этом главный источник всех их иллюзий, когда они находятся в оппозиции, их разочарований и их непоследовательностей, когда они получают власть в свои руки. Их республика всецело основана на этой идее власти и сильного правительства, правительства, которое должно выказать себя тем энергичнее и могущественее, что оно поставлено народным избранием. И они не хотят понять такой простой истины, подтвержденной опытом всех времен и всех стран, что всякая власть, организованная, установленная, воздействующая на народ, необходимо исключает свободу народа. Так как политическое государство не имеет иного назначения, кроме как покровительствовать эксплоатации экономически привилегированными классами народного труда, то и государственная власть может быть совместима лишь исключительно с свободой этих классов, интересы которых оно представляет, и по той же самой причине оно должно быть враждебно свободе народа. Кто говорит, государство или власть, тот говорит господство. Но всякое господство предполагает существование масс, над которыми господствуют. Государство, следовательно, не может иметь доверия к самодеятельности и к свободному движению масс, самые заветные интересы коих противны его существованию. Оно их естественный враг, их обязательный угнетатель, и—остерегаясь всеми мерами от признания этого, оно должно всегда действовать, как таковое.

Вот, чего не понимает большая часть молодых сторонников авторитетной или буржуазной республики, поскольку они остаются в опозиции, пока они еще сами не отведали власти. До глубины сердец презирая со всей страстностью своих бледных ублюдочных, изнервничавшихся натур монархический деспотизм, они воображают, что ненавидят деспотизм вообще. Желая иметь силу и храбрость, чтобы низвергнуть трон, они считают себя революционерами. И они не подозревают, что ненавидят вовсе не деспотизм, но лишь его монархическую форму, и что этот самый деспотизм, едва лишь он примет республиканскую форму, найдет в них самых наиболее ревностных приверженцев.

Они не знают, что деспотизм заключается не столько *в форме* государства и власти, сколько в самом *принципе*

государства и политической власти, и что, следовательно республиканское государство должно быть по своей сущности так же деспотично, как и государство, управляемое государем или королем. Между этими двумя государствами имеется лишь одно действительное различие. Оба одинаково имеют своей главной основой и целью экономическое порабощение масс в пользу владеющих классов. Разница же между ними та, что для достижения этой цели монархическая власть, которая в наши дни повсюду стремится превратиться в военную диктатуру, не допускает свободы ни одного класса, ни даже того, которому она покровительствует в ущерб народу. Она очень хочет и вынуждена служить интересам буржуазии, но не позволяет ей сколько нибудь серьезно вмешиваться в управление делами страны.

Когда эта система осуществляется неопытными или слишком нечестными руками, или когда она ставит в слишком наглядную оппозицию интересы династии с интересами эксплоататоров промышленности и торговли страны, как это только что случилось во Франции, она может сильно скомпрометировать интересы буржуазии. Она представляет собою другую невыгоду, очень серьезную с точки зрения буржуа: она задевает их тщеславие и их гордость. Правда, она защищает их и предлагает им, с точки зрения эксплоатирования народного труда, совершенную безопасность, но в то же время она их унижает, ставя слишком узкие границы их мании резонировать, и когда они осмеливаются протестовать, она с ними не церемонится. Естественно, это нервирует наиболее пылкую и, если хотите, наиболее великодушную и наименее рассуждающую партию буржуазного класса. И таким путем в среде его формируется из ненависти к этому угнетению буржуазно-республиканская партия.

Чего хочет эта партия? Уничтожения государства? Прекращения официально покровительствуемого и гарантируемого государством эксплоатирования народных масс? Действительной и полной эмансипации всех посредством экономического освобождения народа? Совсем нет. Буржуазные республиканцы—самые отчаянные и самые страстные враги социальной революции. В моменты политического кризиса, когда они нуждаются в мощных руках народа, чтобы низвергнуть трон, они действительно снисходят до обещания материальных улучшений этому, *столь заслуживающему интереса* классу работников; но так как в то же время они воодушевлены самой твердой решимостью сохранить и под-

держать все принципы, все *священные основы* современного общества. все эти экономические и-юридические институты необходимым следствием которых является действительное рабство народа, то их обещания рассеиваются, конечно, всегда, как дым. Народ, разочарованный, ропщет, угрожает, бунтует, и тогда, чтобы сдержать взрыв народного недовольства, они видят себя вынужденными,—они, буржуазные революционеры,—прибегнуть к всемогущей репрессии государства. Отсюда следует, что республиканское государство совершенно также угнетает, как и государство монархическое. Только оно угнетает отнюдь не владеющие классы но лишь народ.

Поэтому, никакая форма правительства не является столь благоприятной интересам буржуазии и столь же любимою этим классом, как республика, если бы только она имела силы удержаться при современном экономическом положении Европы против все более и более угрожающих социалистических вожделений рабочих масс. Следовательно буржуазия опасается совсем не доброты республики, которая целиком ей на пользу, но ее недостаточной мощи, как государства, или ее способности удержаться и защищатся против бунтов пролетариата. Нет буржуа, который не сказал бы вам: „Республика—прекрасная вещь, к несчастью она невозможна; она не может долго существовать, ибо никогда не найдет в себе необходимой силы, чтобы стать серьезным почтенным государством, способным заставить уважать себя и внушить массам почтение к нам“. Обожая республику платонически, но сомневаясь в ее возможности или по меньшей мере в ее длительности, буржуа всегда, следовательно, стремится стать под защиту военной диктатуры, которую он презирает, которая его оскорбляет, унижает и которая рано или поздно кончает тем, что разоряет его, но которая все таки доставляет ему все условия силы спокойствия на улицах и общественного порядка.

Это роковое предпочтение огромного большинства буржуазии к режиму штыка приводит в отчаяние буржуазных республиканцев. Поэтому они делали и делают как раз ныне „*сверхчеловеческие*“ усилия, чтобы заставить его полюбить республику, чтобы доказать ему, что отнюдь не вредя интересам буржуа, она напротив того, будет вполне благоприятна им, или что то-же—что она всегда будет противна интересам пролетариата, и что она будет обладать необходимой силой для внушения народу уважения к законам,

гарантирующим спокойное экономическое и политическое господство буржуазии.

Такова ныне главная забота всех членов правительства Национальной Обороны, точно также как и всех префектов супрефектов, адвокатов Республики и генеральных комиссаров, делегированных ими в департаменты. Это делается не столько ради защиты Франции от нашествия пруссаков сколько для того, чтобы доказать буржуа, что они, республиканцы и настоящие обладатели государственной власти имеют всю добрую волю и всю желательную власть, чтобы сдержать бунты пролетариата. Встаньте на такую точку зрения, и вы поймете все иначе необ'яснимые поступки этих своеобразных защитников и спасителей Франции.

Воодушевленные таким духом и преследуя такую цель, они поневоле катятся к реакции. Как могли бы они делать и вызывать революцию, даже тогда, когда революция—как это очевидно ныне—единственное средство спасения Франции? Как они, носящие в себе оффициальную смерть и паралич всякого народного действия, разнесли бы движение и жизнь по деревням? Что могли бы они сказать крестьянам чтобы поднять их против вторжения пруссаков, перед лицом всех этих бонапартистских попов, мировых судей, мэров и полевых стражников, уважать которых заставляет их безудержная любовь к общественному порядку, и которые с утра до вечера, вооруженные влиянием и несравненно большею способностью действовать, чем они сами, ведут и будут продолжать вести в деревнях совершенно противоположную пропаганду. Попытаются ли они тронуть крестьян фразами когда все факты будут опровергать эти фразы?

Знайте же, крестьянин ненавидит всякое правительство Он терпит его из осторожности; он регулярно выплачивает налоги и терпит, когда берут его сыновей в солдаты, потому что не видит, как он мог бы сделать иначе. И он не желает содействовать никакой перемене правительства, потому что говорит себе, что все правительства стоят друг друга, и что новое правительство, как бы оно ни называлось, не будет лучше прежнего; а также и потому, что хочет избежать риска и расходов, связанных с бесполезной переменой. Впрочем, из всех режимов республиканское правительство наиболее ненавистно для него, ибо напоминает ему во-первых, добавочные сантимы 1848 г. и затем потому что в течение двадцати лет не переставая республику чернили и ругали в его глазах. Она для него—пугало, потому

что отождествляется с режимом сплошного насилия, и притом она не дает ему никакой выгоды, а наоборот связана с материальным разрушением. Республика для него—это царство того, что он ненавидит больше всего—диктатуры адвокатов и городских буржуа и, выбирая между диктатурами, он имеет „дурной вкус“ предпочитать диктатуру штыка.

Как же надеяться в таком случае, что *оффициальные* представители республики смогут склонить крестьянина к республике? Когда он почувствует себя сильнее, он посмеется над ними и прогонит их из своей деревни. А когда он окажется слабейшим, он замкнется в самом себе—молча и инертно. Посылать буржуазных республиканцев, адвокатов редакторов газет в деревни, чтобы вести там пропаганду в пользу республики, было бы следовательно смертельным ударом для республики.

Но что же в таком случае делать? Есть только одно средство, это—революционизировать деревни точно так же как и города. А кто может сделать это? Единственный класс который действительно, открыто носит ныне в своих недрах революцию, есть класс городских рабочих.

Но как рабочие возьмутся за революционизирование деревень? Пошлют ли в каждую деревню отдельных рабочих в качестве апостолов республики? Но где они возьмут деньги, необходимые на покрытие расходов этой пропаганды? Правда, г.г. префекты, супрефекты и генеральные комиссары могли бы послать их за счет государства. Но тогда эти посланцы не были бы больше делегатами рабочего мира, но делегатами Государства, что коренным образом изменило бы характер, роль и самое содержание их пропаганды уже не революционной, но поневоле реакционной. Ибо первое, что они вынуждены были бы делать, это—внушить крестьянам доверие ко всем вновь установленным или сохраненным республикой властям; следовательно также доверие к властям бонапартистским, зловредная деятельность коих продолжает еще тяготеть над деревнями. Впрочем очевидно, что г.г. супрефекты, префекты и генеральные комиссары, согласно естественному закону, заставляющему каждого предпочитать то, что соответствует, а не противоположно его природе, выбрали бы для выполнения этой роли пропагандистов республики рабочих наименее революционных, наиболее послушных или наиболее угодливых. Это опять была бы реакция под рабочим флагом. А мы

сказали, что только революция может революционизировать деревни.

Наконец, следует прибавить, что индивидуальная пропаганда, будь она даже производима самыми революционными в мире людьми, не сможет оказать слишком большого влияния на крестьян. Красноречие совсем не очаровывает их, и слова, когда они не являются проявлением силы и не сопровождаются немедленно делами, остаются для них лишь словами. Рабочий, который один выступил бы с речью в деревне, сильно рисковал бы быть поднятым на смех и изгнанным, как буржуа.

Что же надо делать?

Нужно послать в деревни в качестве пропагандистов вольные отряды.

Общее правило: кто хочет пропагандировать революцию, должен сам быть действительно революционным. Чтобы поднять людей, нужно быть одержимым бесом; иначе будут произносится безрезультатные речи, производиться бесплодный шум, но дела не будет. Итак, прежде всего пропагандистские вольные отряды должны быть сами революционно вдохновлены и организованы. Они должны носить революцию в своей груди, чтобы быть в состоянии вызвать и возбудить ее вокруг себя. Затем они должны наметить себе систему, линию поведения, сообразную с поставленной себе целью.

Какова эта цель? Не навязать революцию деревням, но вызвать и возбудить ее там.

Революция, навязанная декретами или вооруженной рукой, уже не есть революция, но противоположность революции, ибо она неизбежно вызывает реакцию. В то же время вольные отряды должны явиться в деревни, как внушительная сила, способная заставить уважать себя, не для того, конечно, чтобы производить насилия над крестьянами, но чтобы отнять у них всякое желание смеяться над ними и дурно обращаться с ними прежде даже, чем выслушают их, что могло бы случиться с индивидуальными пропагандистами, не сопровождаемыми внушительной силой Крестьяне несколько грубы, а грубые натуры легко могут быть увлечены престижем и проявлениями силы, хотя и могут потом взбунтоваться, если эта сила навязывает им условия, слишком противные их инстинктам и их интересам.

Вот, чего должны очень остерегаться вольные отряды Они ничего не должны навязывать но все возбуждать. Что они могут и что должны естественно делать, это—с самого

начала отстранить все, что могло бы препятствовать успеху пропаганды. Так они должны начать с раскассированья без кровопролития всей коммунальной администрации, неизбежно пропитанной бонапартистским, легитимистским или орлеанистским ядом; захватить, выслать или, или в случае необходимости, арестовать г.г. коммунальных чиновников, точно так же, как и всех крупных реакционных собственников—и господ попов вместе с ними,—ни по какой иной причине, *как за их тайное соглашательство с пруссаками.* Легальный муниципалитет должен быть замещен революционным комитетом, образованным из небольшого числа наиболее энергичных и наиболее искренне преданных революции крестьян.

Но прежде, чем создать этот комитет, нужно произвести действительный переворот в настроениях, если не всех крестьян, то по меньшей мере значительного большинства крестьян. Нужно, чтобы это большинство воодушевилось идеей революции. Как произвести это чудо? На основе выгоды. Говорят, что французский крестьянин корыстолюбив. Ну что же. Нужно, чтобы самое его корыстолюбие заинтересовалось в революции. Нужно ему предложить и немедленно дать крупные материальные преимущества.

Пусть не кричат о безнравственности подобной системы. По нынешним временам и при наличии примеров, даваемых нам всеми милостивыми властителями, держащими в руках судьбы Европы,—их правителями, генералами, их министрами, их высшими и низшими чиновниками, и всеми привилегированными классами, духовенством, дворянством, буржуазией—право же было-бы некрасиво возмущаться этой системой. Это было бы напрасным лицемерием. В настоящее время выгода управляет всем, об'ясняет все. И так как материальные интересы и корыстолюбие крестьян губят ныне Францию, почему бы не спасти ее выгодами же и корыстолюбием крестьян? Тем более, что они уже спасли ее однажды а именно в 1792 году.

Послушайте, что говорит по этому поводу великий историк Франции Мишлэ, которого никто, конечно, не обвинит в безнравственном материализме *):

„Никогда не было такой октябрьской пахоты, как в

*) История французской революции Мишлэ, т. III.

91 году, когда пахарь, серьезно наученный Вареннoм и Пильнитцем *), впервые обдумал опасности, угрожавшие ему, и все завоевания Революции, которые хотели отнять у него. Его работа, одушевленная воинственным негодованием, была уже сражением в его воображении. Он пахал, как солдат, шел за сохой военным шагом и, стегая свой скот более суровыми ударами хворостины, кричал то: „Ну, Пруссия!“, то „Ну, пошла, Австрия!“. Бык шагал, словно лошадь, лезвие жадно и быстро врезалось в землю, черная борозда дымилась, наполненная дыханием жизни.

„Дело в том, что этот человек не мог терпеливо перенести, что его *недавним приобретениям* грозит опасность, едва проснулось в нем его человеческое достоинство. *Свободный, попирая свободное поле, он чувствовал, шагая, под собою землю свободную от податей, от десятины, землю, которая уже принадлежит или будет завтра принадлежать ему... Долой господ!* Каждый господин себе. Все короли. Каждый на своей земле. Старая поговорка сбывается: *Бедняк—король в своем доме.*

„В своем доме и вне его. Разве вся Франция теперь не его дом?“.

И дальше, говоря о впечатлении, произведенном на крестьян вторжением герцога Брауншвейгского:

„Вступив в Вердэн, герцог Брауншвейгский почувствовал себя там так хорошо, что пробыл целую неделю. Уже там, эмигранты, окружавшие прусского короля, начали напоминать ему о данных им обещаниях. Этот принц сказал при от'езде следующие странные слова (Гарденберг слышал их): „он не будет вмешиваться в управление Францией, он лишь вернет королю абсолютную власть“. Вернуть королю королевство, церкви священникам, *имения помещикам*, в этом заключалось все его честолюбие. Чего требовал он от Франции за все эти благодеяния? Никакой территориальной уступки, ничего кроме оплаты издержек, связанных с войной, предпринятой ради ее спасения.

„Эта маленькая фраза: *„возвратить имения“* заключала в себе многое. Крупным помещиком было духовенство. Ему следовало вернуть *имений на четыре миллиарда, признать недействительными запродажные сделки*, уже к январю 1792 г. произведенные *на один миллиард*, а за

*) В Варенне был узнан и задержан убегавший Людовик XVI, в Пильнитце он был заключен.

истекшие с тех пор десять месяцев бесконечно возросшие. Что сталось бы с бесчисленным множеством контрактов, прямо или косвенно связанных с этими операциями? Ведь пострадали бы не только интересы приобретателей, но и интересы тех, кто ссужал их деньгами, и тех, кто купил у них земли, целого множества третьих лиц... целого народа *действительно связанного с Революцией* почтенными выгодами. *Революция снова призвала к настоящему назначению—служить для поддержки бедняков,—эти имения*, втечение многих уже веков служившие совсем иным целям, нежели те, ради которых их завещали благочестивые жертвователи. *Они перешли от мертвой руки в живые руки*, от лентяэв к труженикам, *от развратных аббатов, от пузатых настоятелей, от чванных епископов к честному землепашцу. Новая Франция возникла за этот короткий промежуток времени.* А эти невежды (эмигранты), ведшие иностранца, и не подозревали этого...

„При этих многозначительных словах о восстановлении священников, о возвращении имений и т. д. крестьянин насторожился и понял, что во Францию вступает контр-революция, что должно произойти громадное изменение *порядка вещей* и людей. Не у всех были ружья, но те, у кого они были, взяли их; и у кого были вилы, взял вилы, а у кого коса,—косу. Необычайные вещи стали твориться на французской земле. Она казалось пустыней. Хлеб исчез, словно ураган унес его, и перевезен был на запад. На пути врага остались лишь—зеленый виноград, болезнь и смерть“.

Несколько дальше Мишлэ рисует такую картину крестьянского восстания во Франции:

„Население рвалось к бою с таким увлечением, что власти начали пугаться и удерживали его. Беспорядочные массы, почти безоружные, устремлялись к одному и тому же пункту; не знали, как их разместить, чем накормить. На востоке, особенно в Лотарингии, холмы и все господствующие возвышенности, сделались грубо укрепленными при помощи срубленных деревьев лагерями, на подобие наших древних лагерей времен Цезаря. Верцингеторикс подумал бы, видя все это, что он находится в сердце Галлии. Немцам пришлось сильно призадуматься, когда они проходили, оставляя позади себя эти народные лагери. Каково то будет их возвращение? Во что превратилось бы отступление сквозь эти враждебные массы, которые со всех

сторон, словно вешние воды, во время великого таяния снега, неизвергнутся на них?.. Они должны были понять:— им приходилось иметь дело не с армией, но с целой Францией“.

Увы, не противоположное ли этому мы видим теперь? Почему же та же самая Франция, которая в 1792 г. поднялась целиком, чтобы помешать чужеземному нашествию, почему не встает она теперь, когда ей угрожает гораздо бо̀льшая опасность, чем в 1792 г.? Ах, это потому, что в 1792 г. она была наэлектризована Революцией, а ныне парализована Реакцией, покровительствуемой и воплощаемой своим правительством так называемой Национальной Обороны.

Почему крестьяне массами поднялись против Пруссаков в 1792 г. и почему ныне они остаются не только инертными, но скорее даже более благожелательными к тем же самым Пруссакам, чем к той же самой Республике? Ах, это потому, что для них Республика уже больше не та, что была раньше. Республика, основанная Национальным Конвентом 22 сентября 1792 г., была Республикой в высшей степени народной и революционной. Она предоставляла народу огромные, или, как говорит Мишлэ, *почтенные* выгоды. Путем сперва массовой конфискации церковных имений, а затем конфискации имений эмигрировавшего, или взбунтовавшегося, или заподозренного и обезглавленного дворянства, она дала ему землю и, чтобы сделать невозможным возвращение этой земли ее прежним владельцам народ поднялся массами.—Между тем, как нынешняя Республика, отнюдь не народная, но напротив того, полная враждебности и недоверия к народу, Республика адвокатов, несчосных доктринеров и даже буржуазная не дает ему ничего, кроме фраз, увеличения налогов и риска, без малейшего материального за то вознаграждения.

Крестьянин тоже не верит в эту республику, но по другим соображениям, чем буржуа. Он не верит в нее именно потому, что находит ее слишком буржуазною, слишком благоприятною интересам буржуазии, а в глубине своего сердца он питает тайную ненависть против буржуа. И хотя эта ненависть проявляется в иных формах, нежели ненависть городских рабочих против этого класса, ставшего ныне столь мало почтенным, она от этого не менее сильна.

Никогда не следует забывать, что крестьяне, бесконечное большинство крестьян по меньшей мере, хотя и сделались собственниками во Франции, *тем не менее живут трудом рук своих* Вот, что существенно отличает их от буржуазного класса, бо̀льшая часть коего живет *выгодной эксплоатацией труда народных масс.* И это, с другой стороны, об'единяет крестьян с рабочими городов, несмотря на различие их положений—к невыгоде рабочих,—на различие идей и, к сожалению слишком часто вытекающих отсюда принципиальных недоразумений.

Что особенно отдаляет крестьян от городских рабочих, это некоторый умственный *аристократизм,* очень плохо впрочем, обоснованный, который рабочие часто выставляют на показ перед ними. Конечно, рабочие более начитаны, их ум, их знания, их идеи лучше развиты. Во имя этого то маленького научного превосходства, им случается порою свысока обращатся с крестьянами, выказывать им свое пренебрежение. И, как я уже заметил в другом произведении *) рабочие весьма неправы, ибо по этим же самым соображениям и с гораздо бо̀льшим основанием, буржуа, которые гораздо ученее и развитее рабочих, имели бы еще больше права презирать этих последних. И, как известно, они не упускают случая подчеркнуть свое превосходство.

Позвольте мне, дорогой друг, повторить здесь несколько страниц из моей только что упомянутой работы: „Крестьяне, сказал я в этой брошюре, рассматривают городских рабочих, как *дольщиков,* и боятся, как бы социалисты не явились конфисковать их земли, которые они любят больше всего в мире.

— Что же должны сделать рабочие, чтобы победить это недоверие и эту враждебность к ним крестьян? Прежде всего, перестать выражать им свое презрение, перестать их. Это необходимо для спасения революции, ибо ненависть крестьян представляет из себя громадную опасность. Если бы не было этого недоверия и ненависти, революция давно уже была бы совершена, ибо враждебность, которая, к сожалению, существует в деревнях против городов, является не только во Франции, но во всех странах основой и главной силой реакции. И так, в интересах революции, которая

*) Письма к Французу о современном кризисе. Сентябрь.

должна освободить их, рабочие должны перестать возможно скорее выказывать это презрение к крестьянам. Они должны сделать это по справедливости, ибо право же, у них нет никакого основания презирать и ненавидеть крестьян. *Крестьяне не тунеядцы, они суровые труженики, как и сами рабочие*, только они трудятся в различных условиях. Вот и все. *Перед лицом буржуа-эксплоататора рабочий должен чувствовать себя братом крестьянина.*

„Крестьяне пойдут вместе с городскими рабочими на спасение отечества, как только они убедятся, что *городские рабочие не собираются навязать им свою волю, ни какой бы то ни было политический и социальный порядок, изобретенный городами для вящего благополучия деревень; как только они получат уверенность, что рабочие отнюдь не имеют намерения отобрать у них их землю.*

„Ну, так самое необходимое теперь, чтобы рабочие действительно отказались от этой претензии и от этого намерения и отказались так, чтобы крестьяне узнали и действительно убедились в этом. Рабочие должны от этого отказаться, ибо даже, если бы подобные притязания были осуществимы, они были бы в высшей степени *несправедливы и реакционны;* и теперь, когда их осуществление сделалось абсолютно невозможным, они представляют собою лишь преступное безумие.

„По какому праву рабочие навязали бы крестьянам какую бы то ни было форму правительства или организации? По праву революции, говорят. Но революция перестает быть революцией, когда вместо того, чтобы вызывать свободные проявления масс, она возбуждает реакцию в их недрах. Средство и условие, если не главная цель революции, это—уничтожение принципа власти во всех его возможных проявлениях; это полное уничтожение политического и юридического Государства, потому что Государство, младший брат Церкви, как это прекрасно доказал Прудон, есть историческое освящение всех деспотизмов и всех привилегий, политическое основание всех экономических и социальных порабощений, самая сущность и центр всякой реакции. Когда во имя революции хотят создать Государство, будь это даже лишь временное государство, творят реакцию и работают для деспотизма, а не для свободы, для учреждения привилегий и против равенства.

„Это ясно как день. Но социалистические рабочие Франции, воспитанные на политических традициях Яко-

бинцев, никогда не хотели этого понять. Теперь они вынуждены будут понять это к счастью для революции и их собственного. Откуда явилось у них это столь же смешное как и наглое, столь же несправедливое, как пагубное притязание навязать свой политический и социальный идеал десяти миллионам крестьян, не желающим его? Очевидно, это буржуазное наследие, политический завет буржуазного революционаризма. Каково же обоснование, об'яснение, какова теория этого притязания? Мнимое или действительное превосходство интеллигентности, образования, словом цивилизации рабочей над цивилизацией деревенской. Но знаете ли вы, что с таким принципом можно узаконить любое завоевание, освятить любое угнетение? Буржуазия никогда и не пользуется другим принципом для доказательства своей миссии *править*, или, что то же самое, эксплоатировать рабочий мир. Переходя от нации к нации, точно также, как и от одного класса к другому, этот роковой принцип, представляющий собой ничто иное, как принцип власти, об'ясняет и оправдывает все нашествия, все завоевания. Разве не им же пользовались немцы, чтобы оправдать все свои покушения против свободы и против независимости славянских народов, и чтобы узаконить насильственное и жестокое онемечивание.

„Это, говорят они, победа цивилизации над варварством. Берегитесь! Немцы начинают замечать также, что протестантская, германская цивилизация гораздо выше цивилизации католической, представленной, главным образом, народами латинской расы, и в частности—цивилизации французской. Берегитесь, чтобы они не вообразили в скором времени, что их миссия—цивилизовать вас и сделать вас счастливыми,—совершенно так же, как вы воображаете, что ваша миссия цивилизовать и освобождать ваших же земляков, ваших братьев, крестьян Франции. По моему, и то и другое притязание одинаково постыдны, и я об'являю вам, что как в международных отношениях, так и в отношениях одного класса к другому, я всегда буду на стороне тех, кого захотят цивилизовать подобным способом. Я восстану вместе с ними против всех этих наглых цивилизаторов, как бы они ни назывались—рабочими или немцами, и, восстав против них, я послужу революции против реакции.

„Но в таком случае, скажут мне, нужно по вашему предоставить невежественных и суеверных крестьян всяким влияниям и всем интригам реакции? Отнюдь нет. Следует

раздавить реакцию и в деревнях, и в городах; но нужно для этого поразить ее на деле, а не вести с ней войну при помощи декретов. Я уже сказал, что ничего нельзя искоренить декретами. Напротив, декреты и всяческие акты власти укрепляют то, что они хотели бы разрушить.

„Вместо того, чтобы хотеть отобрать у крестьян земли, которыми они сейчас владеют, предоставьте им следовать их естественному инстинкту. Знаете ли, что тогда произойдет? Крестьянин хочет, чтобы *вся земля* принадлежала ему. Он считает чужаками и узурпаторами знатного вельможу и богатого буржуа,—чьи обширные владения, возделанные наемными руками, уменьшают его поля. Революция 1789 г. дала крестьянам церковные земли; *они захотят воспользоваться другой революцией, чтобы овладеть землями дворянства и буржуазии.*

„Но если бы это случилось, если бы крестьяне наложили свою руку на всякую частицу земли, еще не принадлежащей им, не укрепился ли бы от этого досадным образом принцип индивидуальной собственности и не оказались ли бы крестьяне, более, чем когда-либо враждебными социалистическим рабочим городов?

„Совсем нет, ибо *раз государство уничтожено, юридическое и политическое освящение, гарантия собственности Государством будет отсутствовать. Собственность не будет уже правом, она будет низведена до простого факта.*

„Тогда настанет гражданская война, скажете вы. Раз частная собственность не будет более гарантирована никакой высшей политической властью, но лишь защищаема усилиями владельца,—каждый захочет овладеть имуществом другого и более сильные ограбят слабых.

„Конечно, в начале не все пойдет совершенно мирным путем, будт борьба. *Общественный порядок,* эта высшая святыня буржуа, будет нарушен, и первые явления, вытекающие из подобного положения вещей, могут представить из себя то, что принято называть гражданской войной. Но предпочтете ли вы вместо того отдать Францию пруссакам.

„Впрочем, не бойтесь, что крестьяне пожрут друг друга. Если бы они даже и захотели сделать это в начале, они не замедлили бы убедиться в материальной невозможности упорствовать на этом пути, и тогда можно быть уверенным, что они постараются согласиться между собою, договориться и с'организоваться. Потребность питаться и питать свою

семью и, следовательно, необходимость продолжать полевые работы, необходимость охранять свои дома, свои семьи и самую жизнь их от непредвиденных нападений,—все это несомненно вынудит их скоро вступить на путь взаимных сделок.

И не думайте также, что в этих сделках, *происходящих помимо какой бы то ни было оффициальной опеки* единственно силою вещей, более сильные, более богатые будут оказывать преобладающее влияние. Богатство богатых, не гарантированное более юридическими установлениями, перестанет быть могуществом. Богатые так влиятельны ныне лишь потому, что в силу заигрываний перед ними государственных чиновников они специально покровительствуемы государством. Как только они не смогут больше опираться на государство, их могущество сразу изчезнет. Что же касается более упорных, более сильных, они будут сведены на нет коллективной мощью бедных и беднейших крестьян, равно как и сельских батраков, всей этой массы, ныне обреченной на немые страдания, и которую революционное движение вооружит непреодолимой мощью.

„Заметьте себе хорошенько: я не утверждаю, что деревни, которые переорганизуются таким образом снизу вверх, создадут с первого же раза идеальную организацию, во всех пунктах согласную с нашими мечтами. Но в чем я убежден, так это в том, что это будет организация *жизненная*, и как таковая в тысячу раз высшая сравнительно с ныне существующей. Впрочем, эта новая организация, оставаясь всегда открытой для пропоганды городов, и не могущая более быть закрепленной и, так сказать, окаменелой вследствие юридической санкции государства, будет свободно прогрессировать, развиваясь и совершенствуясь не по намеченному плану, но всегда свободно и жизненно, никогда не декретированная и не легализированная, пока не достигнет такой степени целесообразности, какой можно надеяться в наши дни.

„Так как жизнь и самопроизвольная деятельность, прекращенные на протяжении веков все поглощающей деятельностью государства будут вновь предоставлены коммунам, естественно, что каждая коммуна за отправный пункт своего нового развития возьмет не то умственное и нравственное состояние, какое предполагает за нею оффициальная фикция, но действительный уровень своей цивилизации; и так как степень действительной цивилизации весьма различна у ком-

мун Франции, равно как и у Европы вообще, отсюда неизбежно будет вытекать большое различие в развитии; но взаимное соглашение, гармония, равновесие, установленные с общего согласия, заменят искусственное и насильственное единство Государств. Будет новая жизнь и новый мир.

„Вы скажете мне: „Но эти революционные волнения, эта внутренняя борьба, которая естественно должна родиться из разрушения политических и юридических установлений,—не парализуют ли они национальной обороны и вместо того, чтобы способствовать отражению пруссаков, не облегчат ли, напротив, завоевание Франции?“

„Отнюдь нет. История доказывает нам, что никогда нации не выказывали себя столь могущественными вовне, как когда внутри они чувствовали себя глубоко потрясенными и взволнованными, и что, наоборот, они никогда не были столь слабыми, как когда они казались об‘единенными и спокойными под эгидой какой либо власти. По существу нет ничего естественнее: борьба это—деятельная мысль, это жизнь, и эта активная и жизненная мысль — сила. Чтобы убедиться в этом, сравните несколько эпох вашей собственной истории. Взгляните на Францию, какой она была во дни молодости Людовика XIV, пережившую Фронду, развившуюся окрепшую благодаря борьбе, и Францию времен его старости, монархию прочно установленную, об‘единенную, умиротворенную *великим королем*: первая—вся блиставшая победами и вторая—идущая от поражения к поражению и к разрушению. Сравните также Францию 1792 г. с современной Францией. Если когда либо Франция была раздираема гражданской войной, так это именно в 1792—1793 г.г.; движение, борьба,—борьба не на жизнь, а на смерть — происходила во всех пунктах Республики, и однако Франция победоносно отразила нашествие Европы, почти целиком об‘единившейся против нее. В 1870 г. об‘единенная и умиротворенная Франция Империи побита немецкими армиями и выказывает себя до такой степени деморализованной, что приходится дрожать за ее существование“.

Здесь является вопрос: Революция 1792 и 1793 г.г. могла дать крестьянам, правда не даром, но по очень низким ценам национальные имения, т.-е. земли церкви и эмигрировавшего дворянства, конфискованные государством. Теперь же, возразят мне, им больше нечего дать. О, най-

дется! Разве церковь, религиозные ордена обоего пола, благодаря преступному сообщничеству легитимистской монархии и особенно второй империи, не сделались снова очень богатыми?

Правда наибольшая часть их богатств была весьма предусмотрительно мобилизована в предвидении возможных революций. Церковь, которая наряду со своими небесными заботами не пренебрегала никогда своими материальными интересами и всегда отличалась остроумностью своих экономических спекуляций, поместила, конечно, большую часть своих земных благ, которые она непрерывно приумножала изо дня в день для вящего блага бедных и несчастных,— во всякого рода торговые, промышленные и банковские предприятия, как частные, так и общественные, и в ренты всех стран. Так что нужно по меньшей мере всемирное банкротство, которое явится неизбежным следствием всемирной социальной революции, чтобы лишить ее этих богатств, составляющих ныне главное орудие ее могущества, увы! еще слишком чудовищного. Но остается не менее верным и то, что она обладает в настоящее время особенно на юге Франции, огромным имуществом, в земле и постройках, равно как в церковных украшениях и утвари — настоящих сокровищах из золота и серебра, украшенных драгоценными камнями. Ну, так вот, все это может и должно быть конфисковано — не в пользу государства, но коммунами.

Имеются затем имения тысяч собственников-бонапартистов, которые в течении двадцати лет императорского режима отличились своим рвением, и которые были всячески покровительствуемы империей. Конфисковать эти имения было не только правом, но было и остается долгом, ибо бонапартистская партия—совсем не обыкновенная историческая партия, вышедшая органически правильным путем из постепенного, религиозного, политического и экономического развития страны, покоющаяся на каком либо правильном или ложном национальном принципе. Это—просто банда разбойников, убийц, воров, которая, опираясь с одной стороны *на реакционную подлость трепещущей перед красным призраком буржуазии, которая сама еще красна от крови рабочих Парижа, пролитой ее руками*,—с другой стороны на благословения священников и на преступное честолюбие высшего офицерства, ночью овладела Францией: „Дюжина светских

Robert-Macaire,ов из высшего света, об'единенных пороком и общей им нуждой, раззоренных, потерявших репутацию и обремененненных долгами, в видах восстановления своего положения и состояния, не отступили перед одним из самых отвратительных покушений, известных в истории". Вот, в немногих словах вся правда о декабрьском перевороте. Разбойники восторжествовали. Они безраздельно царствуют втечение восемнадцати лет над прекраснейшей страной Европы, которую Европа считает вполне основательно центром цивилизованного мира. *Они создали оффициальную Францию по своему образцу и подобию.* Они сохранили почти нетронутой видимость учреждений и вещей, но перевернули основу их, низведя их до своего собственного умственного и нравственного уровня. Все прежние слова остались. По прежнему говорят о свободе, справедливости, достоинстве, праве, цивилизации и человечности; но смысл этих слов совершенно изменился в их устах, каждое слово означает в действительности совершенно противоположное тому, что оно должно бы выражать: это похоже на разбойничью шайку, которая по какой то кровавой иронии употребляет самые благородные выражения при обсуждении самых отвратительных намерений и поступков. Не таковы ли еще и ныне отличительные черты императорской Франции?

„Есть ли что нибудь более отвратительное, более подлое, чем, например, императорский Сенат, составленный, по выражению Конституции *из всех знаменитостей страны*? Не является ли он, заведомо для всех, богадельней для всех соучастников преступления, для всех гнусных декабристов? Есть ли что либо более бесчестное, чем правосудие империи, чем все эти трибуналы и чиновники, не знающие другого долга, как поддерживать при всякой оказии и во что бы то ни стало бесчестность продажных тварей империи*)".

Вот что в марте месяце, в то время, как империя еще процветала, писал один из моих самых близких друзей**). То, что говорил он о сенаторах и о судьях было одинаково приложимо ко всему оффициальному и оффициозному миру, к военным и статским чиновникам, коммунальным и департаментальным,—ко всем преданным избирателям, равно как

*) *Бернские Медведи и Медведь С.-Петербургский,* патриотическая жалоба отчаявшегося и униженного швейцарца. Невшатель 1870.

**) Сам Бакунин.—Дж. Г.

и ко всем бонапартистским депутатам. Банда разбойников, сперва не слишком многочисленная, но все увеличивающаяся год от года, привлекая в свои недра выгодами все извращенные и прогнившие элементы, затем удерживая их у себя солидарностью в бесчестьи и преступлении, кончила тем, что покрыл собою всю Францию, охватив ее своими звеньями, как огромная гадина.

Вот, что называется бонапартистской партией. Если когда либо существовала во Франции преступная и роковая партия,—это была именно она. Она не только насиловала ее свободу, испортила ее характер, развратила ее совесть, оподлила ее ум, обесчестила ее имя; она разрушила безудержным грабежом, длившимся подряд восемнадцать лет, ее состояние, ее силы, и затем выдала ее дезорганизованную на завоевание пруссаков. И даже теперь, когда она должна бы терзаться угрызениями совести, умирать от стыда, чувствовать себя раздавленной грузом своей подлости, униженной всеобщим презрением, она снова, после нескольких дней наружного бездействия и молчания, поднимает голову, она снова осмеливается говорить и открыто устраивать заговор против Франции в пользу бесчестного Бонапарта, отныне союзника пруссаков, покровительствуемого ими.

Это непродолжительное молчание и бездействие было вызвано не раскаянием, но единственно жестоким страхом, который причинил ей первый взрыв народного возмущения. В первые дни сентября бонапартисты поверили в революцию и, зная слишком хорошо, что нет такого нападения, которого они не заслуживали бы, они бежали и попрятались, как трусы, дрожа перед справедливым народным гневом. Они знали, что революция не любит фраз, и что раз она пробудилась и действует, она не остановится на полдороге. Бонапартисты думали следовательно, что они политически уничтожены, и в течение первых дней, последовавших за провозглашением Республики, они только и мечтали о том, чтобы спрятать в надежном месте свои приобретенные кражей богатства и свои драгоценные особы.

Они были приятно поражены, видя, что могли еще сделать и то и другое без малейшего затруднения и без малейшей опасности. Как и в феврале и марте 1848 г., буржуазные доктринеры и адвокаты, находящиеся во главе нового временного правительства Республики, вместо того, чтобы принять меры к спасению, изрекали фразы. Невежественные относительно революционной практики и истинного положе-

ния Франции, как и их предшественники, испытывая, как и они, ужас перед Революцией, г.г. Гамбетта и К-о хотели поразить мир рыцарским великодушием, оказавшимся не только неуместным, но и преступным. Оно было настоящей изменой Франции, ибо вручило доверие и оружие ее наиболее опасному врагу,—шайке бонапартистов.

Воодушевленное этим тщеславным желанием, этой фразой, правительство Национальной Обороны приняло поэтому все необходимые меры, — и на этот раз даже самые энергичные, — чтобы господа бонапартистские разбойники, грабители и воры могли спокойно покинуть Париж и Францию, увозя с собой все свое движимое состояние, и оставляя под совершенно особым покровительством свои дома и свои земли которые они не могли захватить с собой. Оно довело даже свою удивительную заботливость к этой банде убийц Франции до того, что рисковало всей своей популярностью, защищая их от слишком законного народного возмущения и недоверия. А именно, во многих провинциальных городах народ, который ничего не понимает относительно этого смешного столь плохо направленного великодушия, и который, когда поднимается для действия, идет всегда прямо к своей цели, арестовал нескольких высших чиновников империи, особенно отличившихся бесчестностью и жестокостью своих поступков, как оффициальных, так и частных. Как только правительство Национальной Обороны и особенно г. Гамбетта, министр внутренних дел, узнали об этом, как ссылаясь на диктаторские полномочия, которые по его мнению были вручены ему народом Парижа, но которыми по странному противоречию он счел своим долгом пользоваться лишь против народа, но не в своих дипломатических сношениях с вторгающимся иностранцем, — он поспешил приказать самым высокомерным и самым решительным образом немедленно выпустить на свободу всех этих негодяев.

Вы помните, конечно, дорогой друг, сцены, происходившие в Лионе во второй половине сентября, вследствие освобождения бывшего префекта, генерального прокурора и городовых империи.

Эта мера, предписанная самим г. Гамбетта, и с рвением и радостью приведенная в исполнение г. Андрие, прокурором Республики, при помощи муниципального Совета тем сильнее возмутила народ Лиона, что в тоже самое время в крепости этого города сидело много заключенных солдат, закованных в кандалы, единственным преступлением коих

было громкое выражение своих симпатий к Республике. И их освобождения народ тщетно добивался в течение многих дней.

Я еще вернусь к этому инциденту, бывшему первым проявлением раскола, который неизбежно должен был произойти между народом Лиона и республиканскими властями, как муниципальными, выборными, так и назначенными правительством Национальной Обороны. Я ограничусь теперь, дорогой друг, указанием на более чем странное противоречие, существующее между чрезвычайной, непомерной,—скажу даже непростительной—терпимостью этого правительства по отношению к людям раззорившим, обесчестившим, продавшим и продолжающим еще и ныне продавать страну, и драконовской строгостью, проявляемой им по отношению к республиканцам, которые были гораздо более республиканцами, и революционерами, чем оно само. Можно подумать, что диктаторская власть была дана ему не революцией, но реакцией, чтобы свирепствовать против революции, и что лишь ради продолжения маскарада империи оно называет себя республиканским правительством.

Можно подумать, что оно освободило и выпустило из тюрем самых ревностных и наиболее скомпрометированных слуг Наполеона III лишь для того, чтобы очистить место для республиканцев. Вы были свидетелем, а отчасти также и жертвой той готовности и той грубости, с какими они их преследовали, изгоняли, арестовывали и заключали в тюрьмы. Они не удовольствовались этими *легальными и оффициальными* преследованиями; они прибегли к самой бесчестной клевете. Они осмелились заявить, что эти люди, которые среди оффициальной лжи, уцелевшей от империи и продолжающей разрушать последние надежды Франции, отважились сказать народу правду, всю правду, что эти люди были подкупленные пруссаками агенты.

Они освобождали бонапартистов, этих заведомых, уличенных „французских пруссаков“ — ибо кто может теперь усомниться в явном союзе Бисмарка с сторонниками Наполеона III? Они сами устраивают делишки наступающего врага; во имя, я не знаю какой смешной легальности и правительственного курса, существующего лишь на бумаге да в их фразах, они повсюду парализуют народное движение, самопроизвольное восстание, вооружение и организацию коммун, которые одни только и могут спасти Францию в тех ужасных обстоятельствах, в каких находится страна. И тем

самым они „Национальные Оборонцы“, сами неизбежно выдают Францию пруссакам. И не довольствуясь арестом людей, явных революционеров, коих единственное преступление заключается в том, что они осмеливаются выяснить их неспособность, беспомощность и недобросовестность и указывают единственное средство спасения для Франции, они позволяют еще себе бросать им в лицо это гнусное прозвище пруссаков!

О, как был прав Прудон, говоря: (позвольте мне привести целый отрывок, который слишком прекрасен и слишком справедлив, чтобы можно было выкинуть из него хоть слово) „Увы, именно свои и оказываются всегда предателями! В 1848 г., как в 1793, ограничивали революцию сами представители ее. Наша республика, как и старый якобинизм, все так же ничто иное, как *дурное настроение буржуазии*, без принципа и без плана, *которая хочет и не хочет*; которая вечно ворчит, подозревает и тем не менее остается в дураках; *которая повсюду за пределами своей шайки только и видит, что крамольников и анархистов*; которая, роясь в архивах полиции, только и умеет открыть там действительные или предполагаемые слабости патриотов; которая, запрещает культ Шателя и заставляет парижского архиепископа служить обедни; *которая на все вопросы избегает называть вещи своими именами из страха скомпрометтировать себя, воздерживается во всем, никогда ни на что не решается, подозрительно относится к ясным доводам и определенным позициям.* Не тот же ли это все Робеспьер, *говорун без инициативы*, считающий Дантона слишком деятельным, порицающий великодушное дерзание, на которое чувствует сам себя неспособным; воздерживающийся 10 августа (подобно Гамбетта и К-о до 4 сентября), не одобряющий и не порицающий сентябрьскую резню (как эти самые граждане — об‘явление республики народом Парижа); вотирующий конституцию 1793 г. и отсрочку ее применения до заключения мира; громящий праздник *Разума* и устраивающий праздник *Высшего Существа*; преследующий Каррье и поддерживающий Фукье-Тэнвиля; дающий поцелуй мира Камиллу Дэмулэну утром, а ночью дающий приказ арестовать его; предлагающий отмену смертной казни и редактирующий закон 22 прэриаля; превозносящий по очереди аббата Сийэса, Мирабо, Барнава, Петиона, Дантона Марата, Эбера, и затем посылающий на гильотину и ссылающий одного за другим, Эбера, Дантона, Петиона, Бар-

нава — первого, как анархиста, второго, как снисходительного, третьего, как федералиста, четвертого, как конституционалиста; *неуважающий никого кроме правящей буржуазии* и строптивого духовенства; *дискредитирующий революцию* то, по поводу церковной присяги, то путем ассигнаций; щадящий лишь тех, кто находил прибежище в молчании или самоубийстве, и умирающий, наконец, в тот день, когда, оставшись почти один с людьми золотой середины, он пытается в сообществе с ними опутать в свою пользу Революцию цепями"*).

О, да, что отличает всех этих буржуазных республиканцев, истинных учеников Робеспьера, это их любовь к государственной власти, во что бы то ни стало, и ненависть к Революции.

Эта ненависть и эта любовь у них общая с монархистами всех оттенков, вплоть до бонапартистов, и это торжество чувств, это инстинктивное и тайное сочувствие, оно то их и делает столь терпимыми и столь удивительно великодушными к самым преступным слугам Наполеона III.

Они признают, что среди государственных людей Империи, имеются действительно крупные преступники, и что все они причинили Франции огромное, едва поправимое зло. Но, в конце концов, это были государственные люди; комиссары полиции,—эти патентованные и украшенные орденами шпионы, доносившие постоянно для навлечения императорских преследований на все, что оставалось честного во Франции,—даже городовые, эти привилегированные избиватели публики, разве они не были в конце концов слугами Государства? А государственные люди должны же относиться с почтением друг к другу, ибо оффициальные и буржуазные республиканцы прежде всего — государственные люди и были бы очень сердиты на того, кто позволил бы себе усомниться в этом. Прочтите все их речи, особенно речи г. Гамбетта. Вы найдете в каждом слове эту постоянную заботу о Государстве, эту смешную и наивную претензию выставлять себя государственным человеком.

Никогда не следует упускать это из вида, ибо этим все об'ясняется: и их снисходительность к разбойникам Империи, и их строгости против республиканцев революционеров. Государственный человек, будь он монархист или республиканец, не может не испытывать ужаса перед

*) Прудон. Общие идеи Революции. (Прим. Бакунина).

Революцией и революционерами, ибо Революция это—ниспровержение государства; революционеры же—разрушители буржуазного строя, общественного порядка.

Не думаете ли вы, что я преувеличиваю? Я докажу это фактами.

Те буржуазные республиканцы, которые в феврале и в марте 1848 г. апплодировали великодушию временного правительства, которое покровительствовало бегству Луи Филиппа и всех министров, и которое, уничтожив смертную казнь за политические преступления, приняло великодушное решение не преследовать никакого общественного чиновника за проступки, совершенные при предыдущем режиме,—эти самые буржуазные республиканцы, включая сюда, разумеется, г. Жюля Фавра, одного из наиболее фанатических—как известно—представителей буржуазной реакции в 1848 г. в Учредительном Собрании и в 1849 г. в Законодательном Собрании, а ныне члена правительства Национальной Обороны и представителя республиканской Франции для заграницы, эти самые буржуазные республиканцы, что говорили, что декретировали и делали они в июле? Употребляли ли они ту же снисходительность по отношению к рабочим массам, которых голод толкает на восстание?

Г. Луи Блан, тоже государственный человек, но социалистический государственный человек, ответит вам *):

„Пятнадцать тысяч граждан были арестованы после июньских событий, и четыре тысячи триста сорок восемь сосланы без суда *в целях общей безопасности*. Втечение двух лет они требовали суда; к ним послали комиссию *помилования*, и их освобождение было также произвольно, как их аресты. Кто бы поверил, что найдется человек, который в девятнадцатом веке осмелится произнести перед Собранием следующие слова: „Было бы невозможно судить сосланных на Белль-Иль, против многих из них не существует материальных улик“. И так как по утверждению этого человека, который был никто иной, как Барош (Барош Империи и в 1848 г. соучастник Жюля Фавра и многих других республиканцев в преступлении, совершенном в июне против рабочих),—*не существовало материальных улик*, которые заранее дали бы уверенность, что суд закон-

*) История Революции 1848 г., Луи Блан, т. II (Примеч. Бакунина).

чится осуждением, без суда присудили четыреста шестьдесят восемь человек, заключенных на понтонах, к ссылке в Алжир. Среди них фигурировал Лагард, председатель Люксембургских делегатов. Он писал из Бреста рабочим Парижа следующее прекрасное и трогательное письмо:

„Братья, тот, кто вследствие февральских событий 1848 г. был призван к завидной чести идти во главе вас, тот, кто втечение девятнадцати месяцев мог переносить вдали от своей многочисленной семьи муки самого чудовищного пленения, тот, наконец, кто только что *без суда* приговорен к десяти годам каторжных работ в чужой земле—в силу применения *обратной силы закона, придуманного, голосованного и обнародованного под влиянием ненависти и страха* (буржуазными республиканцами), не захотел покинуть почву родины, не узнав мотивов, по которым смелый министр осмелился взгромоздить самое ужасное изгнание.

„Вследствие этого он обратился к коменданту понтона „La Guerrière", который дал ему следующую справку, *дословно* извлеченную из заметок, приложенных к его делу:

„*Лагард, делегат Люксембурга*, человек *неоспоримой честности*, человек *очень мирный*, образованный, всеми любимый и вследствие этого *очень опасный* для пропаганды".

„Я представляю оценке моих сограждан только один этот факт, убежденный, что их совесть сумеет прекрасно рассудить, кто больше заслуживает их сочувствия—палачи или жертвы.

„Что же касается вас, братья, позвольте мне сказать вам: Я уезжаю, но я не побежден, знайте это! Я уезжаю, но я не прощаюсь с вами.

„Нет, братья, я не прощаюсь с вами. Я верю в здравый смысл народа; я верю в святость дела, которому я посвятил все мои умственные способности; я верю в Республику, ибо она, как самый мир, не может погибнуть. Вот, почему я говорю вам: до свиданья и особенно: *единение и благоразумение*.

Да здравствует Республика!

На рейде Бреста, понтон „La Guerrière".

Лагард,
бывший председатель Люксембургских
делегатов".

Есть ли что красноречивее этих фактов! И не тысячу ли раз были правы, говоря и повторяя, что буржуазная реакция июня—жестокая, кровавая, ужасная, циничная, бесстыдная—была истинной матерью декабрьского переворота! Принцип был один и тот же, императорская жестокость была только подражанием жестокости буржуазной и лишь превосходила ее количеством жертв, сосланных и убитых. Что касается числа убитых, это даже еще и недостоверно, ибо июньская резня, массовые расстрелы безоружных рабочих буржуазными национальными гвардейцами без всякого суда и даже не в самый день победы, а на другой день ее—были ужасны. Что же касается числа сосланных, разница весьма значительна. Буржуазные республиканцы арестовали пятнадцать тысяч и выслали четыре тысячи триста сорок восемь рабочих. Декабрьские разбойники, в свою очередь, арестовали около двадцати шести тысяч граждан и выслали почти половину—около тринадцати тысяч.

Очевидно, с 1848 по 1851 годы прогресс был, но он выразился лишь в количестве, не в качестве. Относительно же качества, т. е. принципа, следует признать, что поведение разбойников Наполеона III было много простительнее, чем буржуазных республиканцев 1848 г. Те были разбойниками, наемниками деспота; следовательно, убивая преданных республиканцев, они практиковали свое ремесло. И можно даже сказать, что, высылая половину своих пленников, а не убивая всех сразу, они в некотором роде проявили великодушие. Между тем, как буржуазные республиканцы, ссылая без всякого суда и *в видах общественной безопасности* четыре тысячи триста сорок восемь граждан, попрали свою совесть, оплевали свои собственные принципы и, подготовляя и *узаконивая* декабрьский государственный переворот, убили Республику.

Да, я говорю это открыто по чистой совести и смотря прямо в глаза: Морни, Бароши, Персиньи, Флери, Пиетри и все их товарищи по участию в кровавой императорской оргии гораздо менее виновны, чем г. Жюль Фавр, ныне член правительства Национальной Обороны; менее виновны, чем все другие буржуазные республиканцы, которые в Учредительном и Законодательном Собраниях с 1848 по 1851 г.г. голосовали вместе с ними. Не это ли чувство виновности и преступной солидарности с бонапартистами делает их ныне столь снисходительными и столь великодушными к этим последним?

Есть еще другое обстоятельство, достойное быть отмеченным и обдуманным. За исключением Прудона и г. Луи Блан, почти все историки Революции 1848 г. и декабрьского государственного переворота точно так же, как и наиболее крупные писатели буржуазного радикализма— Виктор Гюго, Кине и др. много говорили о преступлении и преступниках декабря, но никогда не удостоили остановиться на преступлении и преступниках июня! *). И однако очевидно, что декабрь был ничем иным, как роковым следствием июля и его повторением в увеличенном масштабе.

Почему же это молчание относительно июня? Не потому ли, что июньские преступники были буржуазные республиканцы, и вышеупомянутые писатели морально были в большей или меньшей степени их сообщниками? Сообщниками принципиальными и в таком случае неизбежно косвенными сообщниками их деяний? Это весьма правдоподобно. Но есть еще и другая причина, уже достоверная. Преступление июня было совершено лишь над рабочими, социалистами революционерами, следовательно *чуждыми* классу и естественными врагами принципов, представляемых всеми этими почтенными писателями. Между тем, как преступление Декабря задело и изгнало тысячи буржуазных республиканцев, их братьев с социальной и их единомышленников с политической точки зрения. И притом они сами все явились более или менее жертвами его. Отсюда их крайняя чувствительность к Декабрю и равнодушие к июню.

Общее правило: Буржуа, каким бы красным республиканцем он ни был, будет гораздо более живо потрясен, взволнован и поражен неудачей, жертвой которой окажется другой буржуа, будь то отчаянный империалист,—чем несча-

---

*) Они не могли назвать „преступлением“ подавление июньского восстания и „преступниками“ тех, кто предоставил свои услуги для этого кровавого дела, ибо они сами были в числе палачей. Виктор Гюго был „один из шестидесяти представителей, посланных Учредительным Собранием чтобы подавить восстание и направить аттакующую колонну“, и 25 июня „он стоял лицом к лицу с повстанцами на одной из соседних с Вогезской площадью улиц“. (В. Гюго, *Действия и речи со времени изгнания*. V. Hugo, Actes et paroles depuis l'exil). Что же касается Кине, он говорит: „в качестве полковника одиннадцатого легиона, стоявшего на страже Собрания, я охранял его. *Бонапартисты были душой восстания* (sic); я же защищал республику.. Может быть Луи Бонапарт вернулся с триумфом, если бы июньское восстание восторжествовало“ *(Edgar Quinet, avant l'exil)*.—Дж. Г.

ствием рабочего, человека из народа. В этом различении есть, конечно, великая несправедливость, но эта несправедливость отнюдь не предумышленная, она—инстинктивная. Она происходит от того, что условия и привычки жизни, всегда оказывающие на людей более могущественное влияние, чем их идеи и политические убеждения, эти условия и эти привычки, эта специальная манера существовать, развиваться, думать и действовать, все эти социальные отношения, столь многочисленные и в то же время столь правильно сводящиеся к одной и той же цели, составляющей буржуазную жизнь, буржуазный мир,—устанавливают между людьми. принадлежащими к этому миру, каковы бы ни были различия их политических мнений, бесконечно более реальную, более глубокую, более могущественную, и, в особенности, более искреннюю солидарность, чем та, какая могла бы установиться между буржуа и рабочими, вследствие более или менее глубокой общности убеждений и идей.

Жизнь господствует над мыслью и определяет волю. Вот истина, которую никогда не следует терять из вида, когда хотят понять что-либо в политических и социальных явлениях. Если хотят установить искреннюю и совершенную общность мыслей и воли между людьми, нужно основывать их на одинаковых жизненных условиях, на общности интересов. А так как самые условия существования мира буржуазного и мира рабочего создают между ними пропасть, ибо один мир—есть мир эксплоатирующий, другой же—эксплоатируемый и жертва, я заключаю, что, если человек, рожденный и воспитанный в буржуазной среде, хочет сделаться искренне и не на словах только другом и братом рабочих, он должен отказаться от всех условий своего прошлого существования, от всех своих буржуазных привычек, порвать все свои отношения с буржуазным миром—в области чувства, тщеславия и ума и, повернувшись спиной к этому миру, ставши его врагом и об'явив ему непримиримую войну, броситься целиком без ограничений и без возврата в рабочий мир.

Если он не испытывает этой страстной жажды справедливости, достаточной для того, чтобы внушить ему такую решимость, влить в него такое мужество,—пусть он не обманывает самого себя и не обманывает рабочих; он никогда не сделается их другом. Его отвлеченные мысли, его мечты о справедливости могут еще увлечь его на сторону

мира эксплоатируемых в моменты спокойного теоретического размышления, когда все тихо кругом. Но пусть наступит великий социальный кризис, когда два эти непримиримо противоположные мира встретятся в решительной битве, и все привязанности его жизни неизбежно отбросят его в мир эксплоататоров. Это уже случалось раньше со многими из наших бывших друзей, и это всегда будет происходить со всеми буржуазными республиканцами и социалистами.

Социальная ненависть, как и ненависть религиозная, гораздо напряженнее, гораздо глубже, чем ненависть политическая. Вот об'яснение снисходительности ваших буржуазных демократов к бонапартистам и их чрезмерной строгости к революционерам социалистам. Они ненавидят гораздо меньше первых, чем вторых; и необходимым последствием этого является их об'единение с бонапартистами в общей реакции *).

Бонапартисты, сперва чрезвычайно перепуганные, скоро заметили, что в лице правительства Национальной Обороны и всего этого нового мнимо-республиканского и оффициального люда, созданного на спех этим правительством, они имеют могущественных союзников. Они должны были весьма удивиться и обрадоваться,—они, которые, за отсутствием других качеств, обладают по меньшей мере качеством действительно практических людей, желающих средств, которые ведут к их цели,—когда они увидели, что это правительство не только пощадило их самих и предоставило им пользоваться на полной свободе плодами их грабежа, но даже сохранило повсюду, в военной, юридической и гражданской администрации новой Республики старых чиновников Империи, довольствуясь лишь замещением префектов и супрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, но оставляя все канцелярии префектур точно так же, как и самые министерства, переполненными бонапартистами и громадное большинство коммун Франции под развращающим игом муниципалитетов, назначенных правительством Наполеона III,—тех самых муниципалитетов, которые произвели последний плебисцит, и которые при ми-

---

*) До сих пор Бакунин сохранял за своим произведением характер письма, адресованного лично к некоему другу. Начиная с следующего абзаца, он покидает форму послания.—Дж. Г.

нистерстве Паликао и при иезуитском управлении Шевро развили в деревнях такую чудовищную пропаганду в пользу бесчестного.

Они должны были много смеяться над этой глупостью, действительно непостижимой, со стороны умных людей, составляющих теперешнее временное правительство, что они могли надеяться, что, как только они, республиканцы, встанут во главе власти, то вся эта бонапартистская администрация сделается тоже республиканской. Бонапартисты действовали совсем по иному в Декабре. Их первой заботой было сменить и изгнать, до последнего мелкого чиновника, всех, кто не хотел дать себя совратить, выгнать всю республиканскую администрацию и поставить на все должности от самых высоких до самых низших и ничтожных питомцев бонапартистской банды. Что же касается до республиканцев и революционеров, они массами ссылали и заключали в тюрьмы последних и высылали из Франции первых, оставляя внутри страны лишь наиболее безвредных, наименее решительных, наименее убежденных, наиболее глупых или же тех, кто согласились так или иначе продать себя. Вот, так то им удалось добиться власти над страной и надругаться над нею впродолжение больше, чем двадцати лет без всякого сопротивления с ее стороны. Ибо, как я уже заметил, бонапартизм ведет свое начало с июня, а не с декабря, и г. Жюль Фавр и его друзья, буржуазные республиканцы Учредительного Собрания, были его истинными основателями.

Нужно быть справедливым ко всем, даже к бонапартистам. Конечно, это негодяи, но негодяи весьма практичные. Повторяю еще раз, они обладали пониманием и желанием средств, ведших к их цели, и в этом отношении они выказали себя гораздо выше республиканцев, которые делают вид, будто они правят ныне Францией. Даже в настоящее время, после своего поражения бонапартисты выказывают себя более тонкими и много более могущественными политиками, нежели все эти оффициальные республиканцы, занявшие их места. Это они, а не республиканцы правят Францией еще и по сию пору. Ободренные великодушием правительства Национальной Обороны, утешившись созерцанием царящей всюду правительственной реакции вместо Революции, которой они опасаются, найдя снова во всех отраслях администрации Республики своих старых друзей, своих сообщников, неразрывно с ними связанных

той *солидарностью бесчестия и преступления,* о которой я уже говорил, и к которой я возвращусь еще позже, сохраняя в своих руках ужасное орудие—все эти бесконечные богатства, которые они собрали на протяжении двадцати лет отчаянного грабежа,—бонапартисты решительно подняли голову.

Их скрытое и могущественное влияние—в тысячу раз более могущественное, чем влияние коллективного короля Ивто, (Vvetot) правящего в Туре, чувствуется повсюду. Их газеты—„Отечество", „Конституционалист", „Страна", „Народ", принадлежащий г. Дювернуа, „Свобода" г. Эмиля де Жирардена, и еще многие другие, продолжают появляться.

Они предают правительство Республики и говорят открыто, без страха и без стыда, как если бы они не были наемные предатели, развратители, продавцы, могильщики Франции. К г. Эмилю де Жирарден, осипшему было в первые дни сентября, снова вернулся его голос, его цинизм, его не подражаемое вероломство. Как в 1848 г., он великодушно предлагает правительству Республики „ежедневно по идее". Ничто его не смущает, ничто не удивляет; с того момента как он понял, что не тронут ни его особу, ни его карман, он осмелел и чувствует себя снова хозяином положения: „Установите только Республику, пишет он, и вы увидите, какие великолепные политические, экономические и философские реформы я вам предложу". Газеты империи вновь создают открыто реакцию в пользу империи. Органы иезуитизма вновь начинают говорить о благодеяниях религии.

Бонапартистская интрига не ограничивается этой пропагандой посредством прессы. Она сделалась всемогущей в деревнях, а также и в городах. В деревнях, поддерживаемая целой толпой крупных и средних собственников бонапартистов, господ попов и всех этих бывших имперских муниципалитетов нежно сохраненных и покровительствуемых правительством Республики, она проповедует с большей, чем когда либо страстностью ненависть к Республике и любовь к империи. Она учит крестьян не принимать никакого участия в национальной обороне и советует им, напротив, принять получше пруссаков, этих новых союзников императора. В городах поддерживаемые бюро префектур и супрефектур, если не самими префектами и супрефектами,—судьями империи, если не генеральными адвокатами и прокурорами Республики, генералами и почти всеми высшими офицерами армии, если не солдатами, которые хотя и патриоты, но свя-

заны старой дисциплиной; поддержанные также большей частью муниципалитетов и бесчисленным большинством крупных и мелких коммерсантов, промышленников, собственников и лавочников; поддержанные даже этой толпой буржуазных республиканцев, умеренных, боязливых, все же антиреволюционных, которые, находя в себе энергию лишь против народа, помогают делу бонапартизма, не зная и не желая этого; поддержанные всеми этими элементами бессознательной и сознательной реакции, бонапартисты парализуют всякое движение, самодеятельность и организацию народных сил, и тем самым несомненно выдают как города, так и деревни пруссакам, а через пруссаков—главе своей банды—императору. Наконец,—я могу сказать—они выдают пруссакам крепости и армии Франции, доказательство—бесчестная капитуляция Седана, Страсбурга и Руана *), Они убивают Францию.

Должно ли и могло ли правительство Национальной Обороны сносить это? Мне кажется, что на этот вопрос может быть дан лишь один ответ,—нет, тысячу раз нет! Его первая, его самая главная обязанность, с точки зрения спасения Франции, состояла в том, что оно должно было вырвать с корнем заговор и зловредную деятельность бонапартистов. Но как вырвать ее? Было лишь одно средство: это сперва арестовать и заключить в тюрьму всех, целиком, в Париже и в провинциях, начиная с Императрицы Евгении и ее двора, всех военных чиновников, военных и гражданских сенаторов, государственных советников, бонапартистских депутатов, генералов, полковников, в случае надобности, даже капитанов, архиепископов и епископов, префектов, супрефектов, мэров, мировых судей, весь административный и юридический корпус, не забывая полицию, всех заведамо преданных империи собственников, всех одним словом, кто составляет бонапартистскую банду.

Были ли возможны эти массовые аресты? Ничего небыло легче. Достаточно было Правительству Национальной Обороны и его делегатам в провинциях дать знак, рекомендуя при этом населению не обижать никого, и можно было быть уверенным, что в немного дней, без особого насилия и без всякого кровопролития, огромное большинство бона-

*) Слова „Руана" нет в рукописи: оно прибавлено в корректуре. Руан был занят пруссаками 8 декабря 1870 г.—Дж. Г.

партистов, особенно все богатые, влиятельные и почетные члены этой партии, на всем пространстве Франции были бы арестованы и посажены в тюрьму. Разве само население департаментов не арестовало многих по своей инициативе в первой половине сентября и—заметьте это хорошенько,—не причинив никому никокого зла, самым вежливым и самым гуманным образом в мире?

Нравы французского народа уже больше не грубы и не жестоки, особенно нравы пролетариата городов Франции. Если еще и остались некоторые пережитки, их надо искать отчасти у крестьян, главным же образом у столь же тупого, как многочисленного класса лавочников. О, эти действительно жестоки! Они доказали это в июне 1848 г. *), и

*) Вот, в каких выражениях г. Луи Блан описывает положение на другой день после победы, одержанной в июне буржуазными национальными гвардейцами над рабочими Парижа:

„Ничто не смогло бы изобразить положение и вид Парижа в течение часов, предшествовавших и немедленно следовавших за окончанием этой неслыханной драмы. Едва осадное положение было об'явлено, как полицейские комиссары отправились по всем направлениям, приказывая прохожим итти по домам. И горе тому, кто вновь появится до нового приказа на пороге дома! Если декрет застиг вас одетыми в буржуазный фрак далеко от вашего жилища, вас препровождали домой от поста до поста и требовали больше не выходить. Так как были арестованы женщины с записками спрятанными в прическе, и патроны были найдены за обшивкой фиакров, то все давало повод к подозрению. Гроба могли содержать порох: к похоронам относились недоверчиво, и трупы на пути к вечному упокоению были отмечены, как подозрительные. Напитки, доставляемые солдатам (национальной гвардии, разумеется), могли быть отравлены: из предосторожности арестовывали несчастных продавцев лимонада, и пятнадцатилетние маркитанки внушали страх. Гражданам было запрещено показываться у окна и даже оставлять открытыми ставни; ибо шпионство и убийство было там, на страже, разумеется! Лампа, перемещающаяся за стеклом, отблеск луны на черепице крыши, были достаточны, чтобы распространить ужас. Оплакивать ошибки повстанцев; плакать среди стольких побежденных, среди тех, кого любили, никто не смел безнаказанно. *Расстреляли одну молодую девушку за то, что она щипала корпию* в лазарете восставших для своего возлюбленного, может быть, для своего мужа, для отца!

„Париж в течении нескольких дней имел вид города, взятого приступом. Количество разрушенных домов и зданий с брешами, пробитыми пушечным ядром, *свидетельствовали в достаточной мере о могуществе этого великого усилия, сделанного народом, доведенным до крайности.* Улицы были перерезаны шеренгами буржуа и мундирах; перепуганные патрули бродили по мостовой... Говорить ли о репрессиях?

„Рабочие! И все вы, кто держит еще оружие, направленное против Республики! В последний раз, во имя всего, что есть почитаемого, святого и священного для людей, сложите ваше оружие! Национальное Собрание, вся нация целиком просит вас об этом. *Вам говорят, что вас*

многие факты доказывают, что по природе они не переменились и ныне. Что особенно делает лавочника столь жестоким, это на ряду с его безнадежной тупостью низость, страх и ненасытимая жадность. Он мстит за страх, который ему пришлось испытать, и за риск, которому подвергался его кошелек, который вместе с его непомерным тщеславием составляет, как известно, самую чувствительную часть его бытия. Он мстит лишь тогда, когда может сделать это без малейшей опасности для самого себя. Да, но уже тогда он жалости не знает.

Кто знает рабочих Франции, тот знает также и то, что если где еще сохранились истинные человеческие качества, столь сильно пониженные, а еще больше извращенные в наши дни оффициальным лицемерием и буржуазной чувствительностью, так сохранились они среди рабочих. Это ныне единственный класс общества, о котором можно сказать, что он действительно великодушен, слишком великодушен порою и слишком забывчив к ужасным преступле-

---

ждет кровавая месть: это наши враги, ваши враги говорят так! Придите к нам, придите как братья, раскаявшиеся и подчинившиеся закону, и об'ятья Республики готовы принять вас".

Такова была прокламация, с которой генерал Кавеньяк обратился к восставшим 26-го июня. Во второй прокламации, обращенной 26-го к национальной гвардии и к армии, он говорил так: „В Париже я вижу победителей и побежденных. Пусть имя мое будет проклято, если я соглашусь видеть в нем жертвы". Никогда, по истине, более прекрасные слова не были произнесены, особенно в подобный момент! Но как это обещание было выполнено, Боже праведный!.. Репрессии во многих местах носили дикий характер: так *пленники скученные* в саду Тюильри, в глубине подземелья на берегу пруда, *были убиваемы на удачу* пулями, ибо в них стреляли через отдушины; *так пленные были на скоро расстреляны* на площадке Грэнель, на кладбище Монпарнас, в каменноломнях Монмартра, во дворе отеля Клюни, в монастыре Св. Бенуа... так, после окончания борьбы ужасный террор воцарился в раззоренном Париже.

„Один штрих дополнит картину.

3-го июля, довольно большое количество пленных было взято из подвалов Военной Школы, чтобы быть препровожденными в префектуру полиции и оттуда в форты. *Их связали по-четверо, руки с руками, очень сильно скрутив веревки. Затем, так как эти несчастные, истощенные голодом, не могли двигаться, для них принесли миски с супом. Со связанными руками они были вынуждены лечь на животы и ползти к мискам как животные, при громких взрывах смеха конвойных офицеров, которые называли это социализмом на практике!* Этот факт сообщен мне одним из подвергнувшихся этой пытке". (История Революции 1848 г. Луи Блана, т. II).

„Вот, какова буржуазная гуманость, и мы видели, как позже правосудие буржуазных республиканцев проявилось в виде высылки *без суда, просто как мера общественной безопасности,* четырех тысяч трехсот сорока восьми из пятнадцати тысяч арестованных. (Примеч. Бакунина).

ниям и гнусным изменам, жертвою коих он был слишком часто. Он неспособен к жестокости. Но в то же время в нем есть верный инстинкт, направляющий его прямо к цели; здравый смысл, который говорит ему, что, когда хотят положит конец злодеяниям, нужно сперва парализовать злодеев. Франция, очевидно, была предана, следовало помешать предателям предавать ее еще больше. Вот, почему почти во всех городах Франции первым движением рабочих было арестовать и заключить в тюрьмы бонапартистов.

Правительство Национальной Обороны заставило повсюду выпустить их. Кто был неправ—рабочие или правительство? Конечно—это последнее. Оно не только было неправо, оно совершило преступление, выпуская их. Почему же кстати оно не выпустило в то же время всех убийц, воров и преступников всякого рода, содержащихся в тюрьмах Франции? Какая разница между ними и бонапартистами? Я не вижу никакой, и если она и существует, то она целиком говорит в пользу уголовных преступников и против бонапартистов. Первые воровали, нападали, обижали, убивали отдельных людей. Часть последних совершила буквально те же самые преступления, и все вместе они ограбили, изнасиловали, обесчестили, убили, предали и продали Францию, целый народ. Какое преступление больше? Без сомнения — преступление бонапартистов.

Могло ли бы Правительство Национальной Обороны причинить больше зла Франции, если бы оно освободило всех преступников и каторжников, заключенных в тюрьмах и работающих на каторге, — чем оно причинило ей тем, что уважало и заставляло других уважать свободу и собственность бонапартистов и оставляло их свободно довершать разрушение Франции? Нет, тысячу раз нет! Освобожденные каторжники убили бы несколько десятков, скажем, несколько сотен или даже несколько тысяч человек (пруссаки ежедневно убивают гораздо больше),—затем они были бы быстро снова захвачены и заключены в тюрьму самим народом. Бонапартисты убивают народ, и стоит им дать делать это еще некоторое время, они посадят в тюрьму весь народ — всю Францию.

Но как арестовать и удержать в тюрьме столько людей без всякого суда? О, за этим дело не станет! Лишь бы нашлось во Франции достаточное количество добросовестных судей, и лишь бы они дали себе труд порыться в старых законах прислужников Наполеона III, они без сомне-

ния легко найдут за что присудить три четверти их к каторге и многих даже к смерти, просто применяя к ним без всякой чрезвычайной строгости уголовный кодекс, как он есть.

Впрочем разве сами бонапартисты не дали примера? Разве они не арестовали и не заключали в тюрьмы во время и после декабрьского переворота более двадцати шести тысяч и не сослали в Алжир и в Кайенну более тринадцати тысяч граждан—патриотов? Скажут, что им было позволительно действовать так, потому что они были бонапартисты, т. е. люди без убеждений, без принципов, разбойники; но что республиканцы, борящиеся во имя права, и желающие торжества принципа справедливости, не должны, не могут попирать их элементарные и основные условия. Тогда я приведу другой пример:

В 1848 г., после вашей июньской победы, господа буржуазные республиканцы, выказывающие себя ныне столь щепетильными в этом вопросе о правосудии, ибо теперь речь идет о применении его к бонапартистам, — т. е. к людям, которые по своему рождению, воспитанию, привычкам, общественному положению и манере рассматривать социальный вопрос, вопрос освобождения пролетариата, принадлежат к вашему классу, являются вашими братьями; — так вот, после победы, одержанной вами в июне над рабочими Парижа, разве Национальное Собрание, — в котором заседали вы, господин Жюль Фавр, и вы, господин Кремье, и в рядах которого, по меньшей мере, вы, г. Жюль Фавр, вместе с г. Паскалем Дюпра, вашим земляком, были одним из самых красноречивых ораторов бешеной реакции,— разве это Собрание буржуазных республиканцев не позволяло в течение трех дней взбесившейся буржуазии расстреливать без всякого суда сотни, если не тысячи безоружных рабочих? И сейчас же вслед за тем, не благодаря ли ему было отправлено на каторгу пятнадцать тысяч рабочих *без всякого суда, лишь в видах общественной безопасности*? И после того, как они оставались долгие месяцы, тщетно прося того самого правосудия, во имя которого вы произносите теперь столько красивых фраз в надежде, что эти фразы могут маскировать вашу связь с реакцией, — не тоже ли самое Собрание буржуазных республиканцев, с вами, г. Жюль Фавр, во главе способствовало осуждению к ссылке четырех тысяч трехсот сорока восьми человек *снова без суда* и снова *в качестве меры общественной безопасности*? Чего там, все вы — лишь гнусные лицемеры!

Как это случилось, что г. Жюль Фавр не нашел в себе и не счел полезным употребить против бонапартистов немножко той *гордой энергии*, немножко той безжалостной жестокости, которые он так широко проявлял в июне 1848 г. когда дело шло об усмирении рабочих социалистов? Или может быть он думает, что рабочие, которые требуют своего права на жизнь, на человеческие условия существования, которые с оружием в руках требуют равной для всех справедливости, более виновны, чем бонапартисты, которые убивают Францию?

Именно так! Такова неоспоримо—не выражаемая мысль, конечно, — в такой мысли не решаются признаться самому себе,— но глубоко буржуазный и — по этой самой причине единодушный инстинкт, вдохновляющий все декреты правительства Национальной Обороны, точно так же как и действия большей части его провинциальных делегатов: генеральных комиссаров, префектов, супрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, которые, принадлежа либо к сословию адвокатов, либо к республиканской прессе, представляют, так сказать, цвет молодого буржуазного радикализма. В глазах всех этих пламенных патриотов, точно так же, как *в исторически закрепленном* мнении г. Жюль Фавра, *Социальная Революция составляет для Франции еще большую опасность, чем самое иностранное нашествие.* Я очень хотел бы верить, что если не все, то по крайней мере наибольшая часть этих достойных граждан охотно пожертвовали бы своей жизнью, чтобы спасти славу, величие и независимость Франции; но я равным образом и даже еще больше уверен, что еще более крупное большинство из них предпочло бы скорее видеть эту благородную Францию подпавшею под временное иго пруссаков, чем быть обязанною своим спасением настоящей народной революции, которая неизбежно одним ударом уничтожила бы и экономическое и политическое господство их класса. Отсюда их возмутительная, но вынужденная снисходительность к столь многочисленным и к сожалению еще слишком могущественным сторонникам бонапартистской измены и их страстная строгость, их неумолимые преследования социалистов революционеров, представителей тех рабочих классов, которые одни ныне принимают в серьез освобождение страны.

Очевидно, что это вовсе не напрасная щепетильность в вопросах правосудия, но просто страх вызвать и ободрить социальную революцию мешает правительству принять меры

строгости против открытого заговора бонапартистской партии. Чем иначе об'яснить, что оно не приняло их еще 4-го Сентября? Могло ли оно, осмелившееся принять на себя ужасную ответственность спасения Франции, хоть на мгновение усомниться в своем праве и в своем долге прибегнуть к самым энергичным мерам против бесчестных сторонников режима, который, не довольствуясь тем, что сверг Францию в бездну, до сих пор старается парализовать все ее средства защиты, в надежде быть в состоянии восстановить императорский трон с помощью и покровительством пруссаков?

Члены правительства Национальной Обороны ненавидят Революцию. Пусть так. Но, если доказано и день ото дня становится все очевиднее, что в бедственном положении, в котором находится Франция, ей не остается другого выбора, как: *либо Революция, либо иго Пруссаков,* то, рассматривая вопрос лишь с точки зрения патриотизма, разве не ясно, что эти люди, принявшие на себя диктаторскую власть во имя спасения Франции, станут преступниками, и сделаются сами предателями своего отечества, когда из ненависти к Революции, они выдадут или хотя бы лишь допустят выдачу ее пруссакам?

Вот уже скоро месяц, как императорский режим, опрокинутый прусскими штыками, низвергнут в прах. Временное правительство, составленное из более или менее радикальных буржуа, заняло его место. Что же сделало оно для спасения Франции?

Таков должен быть главный и единственный вопрос. Что же касается до законности правительства Национальной Обороны и до его права,—я скажу более, — до его обязанности принять власть из рук народа, после того, как он смел, наконец, бонапартистских паразитов, то этот вопрос может быть поставлен на завтра, после постыдной Седанской катастрофы, лишь соучастниками Наполеона III или, что то же самое, врагами Франции. Г-н Эмиль де Жирарден, конечно, принадлежит к их числу*).

---

*) Никто лучше не олицетворяет собою политическую и социальную безнравственность буржуазии нашего времени, чем г. Эмиль де Жирарден. Умственный шарлатан, под маской серьезного мыслителя обманувший многих, даже самого Прудона, который имел наивность думать, будто г. де Жирарден мог искренне и серьезно отстаивать какой нибудь принцип,—этот бывший редактор газет „*Пресса*“ и „*Свобода*“ („La Presse“ и „La Liberté“) хуже, чем софист, это—разыгрывающий из себя софиста

Если бы момент не был так ужасен, можно было бы посмеяться над несравненной наглостью этих людей. Они превосходят ныне Робер Макэр'а, духовного главу их церкви, и самого Наполеона III-го, их главу во плоти.

Как! Они убили Республику и возвели на трон достойного императора при помощи известных всем средств. В течение двадцати лет подряд они были весьма корыстным и добровольным орудием самых циничеслих насилий над

фальсификатор всех принципов. Достаточно, чтобы он прикоснулся к самой простой, самой правильной, самой полезной идее чтобы она немедленно стала извращенной и отравленной. Впрочем, он никогда ничего не изобрел, его роль всегда заключается в фальсификации чужих изобретений. В известной среде на него смотрят, как на самого ловкого основателя и редактора газет Конечно, его природная натура эксплоататора и фальсификатора чужих идей и его бесстыдный шарлатанизм должны были сделать его очень пригодным для этого ремесла. Вся натура его, все его существо резюмируются двумя словами: *реклама и шантаж*. Журнализму он обязан всем своим состоянием; а журналистикой не обогащаются, если честно придерживаются одних и тех же убеждений, одного и того же знамени. И в самом деле никто не подвинул так далеко искусство ловко и во время менять свои убеждения и свое знамя. Он был, поочередно, орлеанистом, республиканцем и бонапартистом и он стал бы, в случае надобности, легитимистом или коммунистом. Можно подумать, что он одарен инстинктом крысы, ибо он всегда умел покинуть государственный корабль накануне крушения. Так он повернулся спиной к правительству Луи-Филиппа за несколько месяцев до Февральской революции, но не по тем причинам, которые толкнули Францию на низвержение Июльского трона, а по своим личным мотивам, из коих главными были, конечно, неудовлетворенное мелочное честолюбие и обманутая любовь к наживе. На другой день после Февральской революции он заявляет себя пламенным республиканцем,—более республиканцем, чем республиканцы не со вчерашнего дня; он предлагает свои идеи и свою особу: каждый день по идее, разумеется украденной у кого нибудь, но приготовленной, видоизмененной самим г. Эмилем де Жирарден так, чтобы отравить того, кто примет ее из его рук,— под внешним видом правды идеи эти прикрывают целое море лжи. Предлагает он и свою особу — естественного носителя этой лжи и—вместе с собой несет провал и несчастье для всякого дела, которому он отдается. И идеи и его особа были отвергнуты народным презрением. Тогда г. Жирарден становится непримиримым врагом Республики Никто так зло не устраивал заговоров против нее, никто не способствовал в такой мере,—по крайней мере в своих намерениях,— ее падению. Он не замедлил стать одним из самых деятельных и самых интригующих агентов Бонапарта. Этот журналист и этот „государственный человек" были созданы для того, чтобы столковаться друг с другом. В самом деле, Наполеон III олицетворял собою мечты г. Эмиля де Жирарден. Это был сильный человек, как и он играющий всеми принципами и одаренный достаточно обширным сердцем, чтобы возвыситься над излишней щепетильностью совести, над всеми узкими и смешными предрассудками честности, деликатности, чести, личной и общественной морали, над всеми чувствами гуманности, правилами, предрассудками и взглядами, ко-

всеми возможными правами и законностями, они систематически развращали, отравляли и дезорганизовали Францию, они отупляли ее. Наконец, они навлекли на эту несчастную жертву их алчности и постыдного честолюбия такие несчастия, глубина коих превосходит все, что могло бы представить себе самое пессимистическое воображение. Перед лицом столь ужасной катастрофы, главными творцами которой

торые могут лишь помешать политической деятельности. Это был, одним словом, человек своей эпохи, очевидно призванный править миром. В первые дни после государственного переворота, было нечто вроде легкого облачка между *августейшим* государем и *суровым* журналистом. Но это была лишь размолвка любовников, а не принципиальные разногласия. Г. Эмиль де Жирарден отнюдь не чувствовал себя достаточно вознагражденным. Он, конечно, весьма любит деньги, но ему нужны также и почести, участие во власти. Вот, чего Наполеон III при всем своем желании никогда не мог ему доставить. Всегда около него был какой нибудь Морни, какой нибудь Фери, какой нибудь Бийо, какой нибудь Руэ, которые мешали ему в этом. Так что лишь к концу своего царствования он пожаловал Эмилю де Жирарден звание сенатора империи. Если бы г. Эмиль Оливье, ближайший друг, приемный сын и в некотором роде креатура г. Эмиля де Жирарден, не пал так рано, мы видели бы, конечно, великого журналиста министром. Г. Эмиль де Жирарден был одним из главных основателей министерства Оливье. С того момента его политическое влияние все возрастало. Он был вдохновителем и усердным советником двух последних политических актов императора, которые погубили Францию: плебисцита и войны. Обожатель—отныне признанный—Наполеона III, друг генерала Прима в Испании, духовный отец Эмиля Оливье и сенатор империи, г. Эмиль де Жирарден почувствовал себя в конце концов слишком великим человеком, чтобы продолжать заниматься журнализмом. Он передал редакцию „Свободы“ своему племяннику и ученику, верному пропагандисту его идей г. Детруайя. И подобно молодой девушке, готовящейся к первому причащению, он замкнулся в сосредоточенном размышлении, дабы принять со всем приличествующим случаю достоинством столь долго вожделенную власть, которая должна была, наконец, попасть в его руки. Какое горькое разочарование! Покинутый на этот раз своим обычным инстинктом, г. Эмиль де Жирарден совсем не почувствовал, что империя уже рушилась, и что как раз его-то внушения и советы и толкали ее в бездну. Уже поздно было вывернуться. Увлеченный ее падением, г. Жирарден упал с самой вершины своих честолюбивых мечтаний в тот самый момент, когда казалось уже, что они должны исполниться, упал грозно и на этот раз окончательно сошел на нет. После 4-го сентября он прилагает всевозможные старания, пуская в ход все свои старые уловки, чтобы привлечь к себе внимание публики. Не проходит недели, чтобы его племянник, новый редактор „Свободы“, на объявлял его первым государственным человеком Франции и Европы. Все напрасно. Никто не читает „Свободы“, и у Франции есть слишком много других дел, чтобы заниматься величием г. Эмиля де Жирарден. На этот раз он действительно умер, и дай Бог, чтобы современное шарлатанство прессы, созданию которой он не мало способствовал, также умерло вместе с ним. (Примечание Бакунина).

они были, подавленные угрызениями совести, стыдом, ужасом и страхом тысячу раз заслуженного народного возмездия, они должны бы провалиться сквозь землю, не правда ли? Или же, по крайней мере, скрыться по следам своего господина под прусское знамя, единственно способное ныне прикрыть их нечисть. Так нет-же!—Ободренные преступной снисходительностью правительства Национальной Обороны, они остались в Париже и распространились по всей Франции, громогласно восставая против этого правительства, которое они об'являют во имя прав народа, во имя всеобщего избирательного права незаконным и незакономерным.

Их рассчет справедлив. Раз уже падение Наполеона III сделалось бесповоротно совершившимся фактом, нет другого средства вернуть его во Францию, как окончательное торжество пруссаков. Но, чтобы обеспечить и ускорить это торжество, нужно парализовать все патриотические и неизбежно революционные усилия Франции, разрушить в корне все средства защиты и, чтобы достигнуть этой цели, самый кратчайший, самый верный путь к этому есть немедленный созыв Учредительного Собрания. Я докажу это. Но прежде всего я считаю полезным показать, что пруссаки могут и должны хотеть восстановления Наполеона III на троне Франции.

Союз с Россией и руссофобия Немцев *).

Как ни блестяще положение графа Бисмарка и его господина короля Вильгельма I-го, оно далеко не из легких Их цель очевидна: это—об'единение, наполовину насильственное, наполовину добровольное, всех немецких государств под королевским скипетром Пруссии, который скоро превратят, без сомнения, в императорский скипетр; это—создание самой могущественной империи в сердце Европы. Всего каких нибудь пять лет назад Пруссия рассматривалась, как последняя из пяти великих держав Европы. Ныне она хочет сделаться—и без сомнения сделается—первою. И берегись тогда независимость и свобода Евроны! Берегитесь тогда в особенности маленькие государства, имеющие несчастье обладать на своей территории немецким или бывшим не-

*) Это заглавие, существующее в рукописи, где я вписал его своею, собственной рукой, опущено в брошюре.—Дж. Г.

мецким населением, как напр. фламандцы. Аппетит немецкой буржуазии столь же жесток, как огромно ее раболепство и опираясь на этот патриотический аппарат и на это чисто немецкое раболепство, г. граф фон-Бисмарк, который отнюдь не щепетилен и является слишком государственным человеком, чтобы беречь кровь народов и щадить их кошельки, их свободу и их права, был бы весьма способен предпринять в пользу своего господина осуществление мечты Карла Пятого.

Часть огромной задачи, которую он себе поставил, закончена. Благодаря сообщничеству Наполеона III, которого он одурачил, благодаря союзу с императором Александром II, которого он также надует, ему удалось уже раздавить Австрию. Теперь он держит ее в повиновении благодаря угрожающей позиции своей верной союзницы—России.

Что же касается царской империи, то ко времени раздела Польши и именно вследствие этого раздела она попала в зависимость от Прусского королевства, как это последнее попало в зависимость от Всероссийской Империи. Они не могут вступить в войну друг с другом без того, чтобы не освободить польских провинций, доставшихся на их долю, что одинаково невозможно как для одной, так и для другой, потому что обладание этими провинциями для каждой из них составляет существенное условие их могущества, как государства. Не имея, таким образом, возможности воевать друг с другом, они волей неволей должны быть тесными союзниками. Стоит Польше всколыхнуться, и Русская империя и Прусское королевство вынуждены воспылать друг к другу избытком любви. Эта вынужденная солидарность есть роковой, часто невыгодный и всегда тягостный результат разбоя, совершенного ими обоими над этой благородной и несчастной Польшей. Ибо не следует воображать, чтобы русские, даже люди оффициальные, любили пруссаков, ни чтобы эти последние обожали русских Напротив того, они до глубины сердца ненавидят друг друга. Но как два разбойника, скованные друг с другом солидарностью своего преступления, они вынуждены вместе идти и взаимно помогать друг другу. Отсюда та невыразимая нежность, об'единяющая дворы Ст.-Петербурга и Берлина, которую граф фон-Бисмарк никогда не забывает поддерживать каким нибудь подарком, ввиде, напр., нескольких несчастных польских патриотов, выданных время от времени палачам Варшавы или Вильно.

Однако, на безоблачном горизонте этой дружбы уже показывается черная точка. Это вопрос о балтийских провинциях. Провинции эти, как известно, ни русские, ни немецкие. Они латышские или финские, ибо немецкое население, состоящее из дворян и из буржуа, составляет в них весьма ничтожное меньшинство. Эти провинции принадлежали сперва Польше, потом—Швеции, еще позже они были завоеваны Россией. Самое благоприятное с точки зрения народа,—а я не признаю никакой другой—решение было бы по моему возвращение их вместе с Финляндией не под владычество Швеции, но к очень тесному федеративному союзу с нею, в качестве членов скандинавской федерации, обнимающей Швецию, Норвегию, Данию и всю датскую часть Шлезвига, —пусть уже г.г. немцы этим не огорчаются.

Это было бы справедливо и естественно, и как раз эти два обстоятельства достаточны, чтобы немцам это не понравилось. Наконец, это положило бы спасительную границу их морскому честолюбию. Русские хотят руссифицировать эти провинции, немцы хотят их германизировать. Как одни так и другие неправы. Громадное большинство населения, равно ненавидящее как немцев, так и русских, хочет остаться тем, что оно из себя представляет, т. е. финнами и латышами, и лишь в Скандинавской Федерации они найдут утверждение своей автономии и своего права быть самими собою.

Но, как я уже говорил, с этим отнюдь не мирятся патриотические вожделения немцев. С некоторых пор этим вопросом занимаются в Германии. Он возбужден в связи с преследованием русским правительством протестантского духовенства, которое в этих провинциях представлено немцами. Эти преследования гнусны, как гнусны все акты какого бы то ни было деспотизма, русского или прусского, но не превосходят того, что прусское правительство совершает ежедневно в своих прусско-польских провинциях, и однако эта же самая немецкая публика весьма остерегается протестовать против прусского деспотизма. Изо всего этого следует, что для немцев дело вовсе не в справедливости, а в приобретении, в завоевании. Они весьма вожделеют эти провинции, которые, действительно были бы им очень полезны с точки зрения их морского могущества в Балтийском море, и я не сомневаюсь, что в каком нибудь затаенном уголке своего мозга Бисмарк лелеет мысль рано или поздно завладеть ими тем или иным способом. Такова черная тень, возникшая между Россией и Пруссией.

Как ни черна она, она все же еще неспособна разделить их. Они слишком нуждаются одна в другой. Пруссия которая отныне не может больше иметь иных союзников кроме России, ибо все другие государства, не исключая даже Англию, чувствуя себя ныне угрожаемыми ее честолюбием, которое скоро не будет знать пределов, восстают или восстанут рано или поздно против нее,—Пруссия весьма поостережется поставить теперь вопрос, который необходимо должен поссорить ее с ее единственным другом—Россией. Она будет нуждаться в ее помощи, по меньшей мере в ее нейтралитете до тех пор, пока не уничтожит совершенно, по крайней мере, на двадцать лет могущество Франции, пока не разрушит Австрийскую Империю и не присоединит к себе немецкую Швейцарию, часть Бельгии, Голландии и всю Данию. Обладание этими двумя государствами ей необходимо для создания и для упрочения ее морского могущества. Все это будет необходимым следствием ее торжества над Францией, если только это торжество полно и окончательно. Но все это, предполагая даже самые счастливые обстоятельства для Пруссии, не сможет осуществиться сразу. Исполнение этих грандиозных проектов возьмет несколько лет, и за все это время—Пруссия больше, чем когда либо будет нуждаться в помощи России; ибо необходимо предположить, что остаток Европы, каким бы подлым и глупым он себя сейчас ни выказывал, кончит однако тем, что пробудится, когда почувствует нож у горла и не даст скушать себя под прусско-германским соусом без сопротивления и борьбы. Пруссия, даже торжествующая, даже раздавившая Францию, была бы слишком слабою, чтобы бороться против всех об'единенных европейских государств. Если бы Россия тоже обернулась против нее, она бы погибла. Она пала бы даже при нейтралитете России. Ей абсолютно необходима деятельная поддержка России,—та самая поддержка, которая ныне оказывает ей неизмеримую услугу, держит в узде Австрию; ибо очевидно, что если бы Австрия не была бы угрожаема Россией, то на другой же день после вступления немецких армий на территорию Франции, она бросила бы свои войска на Пруссию, на Германию, обедневшую солдатами, чтобы возвратить свое утерянное господство и извлечь блестящий реванш за Садову.

Г. фон-Бисмарк слишком осторожный человек, чтобы поссориться с Россией при подобных обстоятельствах. Конечно, этот союз должен быть ему неприятен во многих

отношениях Он роняет его популярность в Германии. Конечно г. фон-Бисмарк слишком государственный человек, чтобы предавать сентиментальную ценность любви и доверию народов. Но он знает что эта любовь и это доверие представляют из себя порою большую силу, единственную вещь которая в глазах глубокого политика, как он, действительно почтенна. Итак, эта непопулярность союза с Россией его стесняет. Он должен без сомнении сожалеть, что единственный остающийся ныне союз для Германии является как раз таким союзом, который единодушно отвергается Германией.

Когда я говорю о чувствах Германии, я разумеется, имею в виду чувства ее буржуазии и ее пролетариата. Немецкое дворянство отнюдь не ненавидит Россию, ибо оно знает Россию лишь, как державу, варварская политика и произвол которой ему нравится, льстит его инстинктам, соответствует его собственной природе. Оно относилось с энтузиазмом и восхищением, питая настоящий культ к покойному императору Николаю. Этот германизированный Чингиз-хан или, скорее, этот монголизированный немецкий принц воплощал в ее глазах высший идеал абсолютного государя. Ныне оно вновь находит верный образ его в своем короле-пугале, будущем императоре Германии. Отсюда следует, что немецкое дворянство никогда не будет противиться русскому союзу. Напротив, оно горячо поддерживает его по двум причинам: во первых, по глубокой симпатии к деспотическим стремлениям русской политики; затем потому, что его король хочет этого союза, и до тех пор, пока королевская политика будет стремиться к порабощению народов, его воля будет священна для него. Но так не было бы, конечно, если бы король, вдруг изменив всем традициям своей династии, декретировал бы освобождение народов. Тогда, но лишь тогда оно было бы способно взбунтоваться против него, что, впрочем, не было бы очень опасным, ибо немецкое дворянство, как не многочисленно оно, совершенно бессильно. У него нет корней в стране и оно держится как бюрократическая и особенно военная каста, лишь милостью государства. Впрочем, так как совершенно не вероятно, чтбы будущий император Германии когда бы то не было *добровольно и свободно* подписал указ об освобождении, можно надеяться, что трогательная гармония, существующая между ним и его верным дворянством, сохранится навсегда. Лишь

бы он продолжал быть настоящим деспотом, оно останется его преданным рабом, который счастлив пресмыкаться перед ним и выполнять все его приказы, как бы тираничны, как бы жестоки они ни были.

Но не так обстоит дело с пролетариатом Германии. Я особенно имею в виду городской пролетариат. Деревенский пролетариат слишком придавлен, слишком приниженен и вследствие своего бедственного положения и вследствие своих обычных подчиненных отношений к помещикам и благодаря систематически отравленному политической и религиозной ложью образованию, которое он получает в начальных школах, чтобы он сам мог бы отдать себе отчет в своих чувствах и желаниях. Его мысли редко выходят за пределы слишком ограниченного горизонта его несчастного существования. Он неизбежно социалист по своему положению и по природе, сам того не подозревая. Одна лишь социальная революция, действительно мировая и радикальная, более всемирная и глубокая, нежели об этом мечтают немецкие социал-демократы, могла бы разбудить спящего в нем черта. Этот черт—инстинкт свободы, страсть к равенству святое чувство бунта,—раз проснувшись в его груди, уже больше не уснет. Но до того решительного момента деревенский пролетариат останется в согласии с проповедями господина пастора покорным подданным своего короля и механическим орудием в руках всех возможных общественных властей.

Что же касается до крестьян-собственников, они в большинстве своем склонны скорее поддерживать королевскую политику, нежели бороться с нею. И есть много причин к тому: прежде всего, антагонизм между деревнями и городами, который в Германии существует точно так же, как и в других странах, солидно укрепившись в ней с 1525 г., когда буржуазия Германии, с Лютером и Меланхтоном во главе, предала столь постыдно и губительно для себя самой единственную крестьянскую революцию, имевшую место в Германии; затем—в высшей степени отсталая система образования, о которой я уже говорил, господствующая во всех школах Германии и особенно Пруссии;—эгоизм, консервативные инстинкты и предрассудки, присущие всем собственникам—мелким и крупным; наконец, относительная оторванность деревенских рабочих, чрезвычайно замедляющая распространение идей и развитие политических страстей. Из всего этого следует, что крестьяне-собственники Герма-

нии гораздо больше интересуются своими деревенскими делами, близко касающимися их, нежели общей политикой. А так как природа немцев, говоря вообще, гораздо более склонна к послушанию, нежели к сопротивлению, к набожному доверию, нежели к бунту, отсюда следует, что немецкий крестьянин охотно подчиняется во всех главных делах страны мудрости высоких авторитетов, установленных Богом. Настанет, разумеется, момент, когда и крестьянин Германии проснется. Это произойдет тогда, когда величие и слава новой прусско-германской империи, создающейся ныне не без некоторой мистической и исторической симпатии с его стороны, предстанет ему в виде тяжких налогов и экономических бедствий. Это произойдет, когда он увидит, что его маленькая собственность, отягощенная долгами, ипотеками, налогами и обложениями всякого рода, тает и ускользает из его рук, чтобы округлить все увеличивающиеся владения крупных собственников; это произойдет, когда он поймет, что роковой экономический закон толкает и его в свою очередь в ряды пролетариата. Тогда он проснется и наверно восстанет. Но этот момент еще далек, и если пришлось бы ждать его, Германия, которая не грешит отсутствием терпеливости, могла бы потерять терпение.

Городской и фабричный пролетариат находится в совершенно противоположном положении.

Рабочие хотя и привязанные, подобно рабам, нищетою к местностям, в которых они работают, совершенно не имеют местных интересов. Все их интересы—общего характера, и даже не национального, а интернационального. Ибо вопрос работы и заработной платы, единственный вопрос, действительно, живо, непосредственно и ежедневно интересующий их, стал центром и основанием всех других вопросов, как социальных, так и политических и религиозных, и стремится ныне, благодаря естественному развитию всемогущества капитала в промышленности и торговле, принять совершенно международный характер. Это то и об'ясняет чудесный рост. *Международной Ассоциации Рабочих*, ассоциации, которая будучи основана всего шесть лет назад, насчитывает в одной Европе более миллиона членов.

Немецкие рабочие не остались позади других. Особенно за эти последние годы они оказали значительный прогресс и, быть может не далек тот момент, когда они смогут составить настоящую силу. Правда они стремятся к этому

способом, который мне не кажется наилучшим. Вместо того, чтобы стараться образовать силу явно революционную, отрицательную, разрушающую государство, единственную, которая, по моему глубокому убеждению, могла бы привести к полному и всеобщему освобождению рабочих и труда, они хотят, или скорее они дают увлечь себя своим вожакам мечтами о создании положительной силы, об учреждении нового рабочего, народного государства, по необходимости националь.ного, патриотического и всегерманского, что ставит их в вопиющее противоречие с основными принципами *Международной Ассоциации* и в весьма двусмысленное положение по отношению к Прусско-Германской дворянской и буржуазной империи, которую стряпает господин фон Бисмарк. Они надеются, конечно, что сперва путем легальной агитации, за которою последует более определенное и более решительное революционное движение, им удастся овладеть этой империей и превратить ее в чисто народное Государство. Эта политика, которую я считаю иллюзорной и губительной, прежде всего придаст их движению реформаторский, а не революционный характер, что, впрочем отчасти зависит и от особенностей природы немецкого народа, более расположенного к последовательным и медленным реформам, нежели к революции. Эта политика представляет собою еще другую крупную невыгоду, которая, впрочем, есть лишь следствие первой: социалистическое движение рабочих Германии идет на буксире демократически-буржуазной партии. Позже хотели отрицать самое существование этого соглашения, но оно было слишком отчетливо констатировано частичным принятием буржуазно-социалистической программы д-ра Якоби за основу возможного соглашения между буржуазными демократами и пролетариатом Германии точно так же, как различными попытками сделок, которые пытались провести на Нюренбергском и Штутгардском конгрессах. Это во всех отношениях прочное соглашение. Оно не может принести рабочим никакой пользы, даже частичной, ибо демократическая и буржуазно-социалистическая партия Германии поистине слишком ничтожна, слишком до смешного беспомощна, чтобы придать им силу. Но она много способствовала сужению и искажению социалистической программы рабочих Германии. Программа рабочих Австрии, например, прежде чем они дали зачислить себя в партию социалистической демократии, была гораздо шире, бесконечно шире и практичнее, чем теперь.

Как бы там ни было, это скорее ошибка системы, чем инстинкта. Инстинкт немецких рабочих явно революционен и день ото дня станет еще более революционным; несмотря на усилия интриганов, подкупленных г. фон Бисмарком, им не удастся подчинить рабочие немецкие массы его Прусско-Германской империи. К тому же время правительственных заигрываний с социализмом прошло. Имея отныне за собой рабский и тупой энтузиазм всей буржуазии Германии, безразличие и пассивное послушание, если не симпатии деревни, все немецкое дворянство, ждущее лишь сигнала для истребления с корнем „сволочи“, и организованную силу громадных воинских частей, вдохновленных и руководимых этим самым дворянством, г. фон Бисмарк неизбежно пожелает раздавить пролетариат и уничтожить в корне, железом и огнем эту язву, этот проклятый социальный вопрос, сосредоточивший в себе весь сохранившийся в людях и нациях дух бунта. Это будет война не на живот, а на смерть с пролетариатом в Германии, как повсюду в других странах. Но, призывая рабочих всех стран хорошенько приготовиться к ней, я заявляю, что не боюсь этой войны. Напротив, я рассчитываю на нее, чтобы вселить диавола в тело рабочих масс. Она быстро покончит со всеми этими бесконечными и бесцельными рассуждениями, которые усыпляют и истощают, не приводя ни к какому результату и она зажжет в груди пролетариата Европы ту страсть, без которой не бывает победы. Что же касается конечной победы пролетариата, то кто же может в ней сомневаться? За нее справедливость и логика истории.

Немецкий рабочий, становясь изо дня в день все революционнее, колебался однако одно мгновение в начале этой войны. С одной стороны он видел Наполеона III, с другой — Бисмарка со своим пугалом — королем. Первый представлял собою нашествие, два других — национальную оборону. Не было ли естественным с его стороны, что, несмотря на всю его антипатию к этим двум представителям немецкого деспотизма, он поверил на одно мгновение, что долг немца повелевает ему встать под их знамя? Но это колебание было весьма непродолжительно. Едва первые известия о победах, одержанных немецкими войсками, были об‘явлены в Германии, сейчас же, как только стало очевидно что французы не могут уже перейти Рейн, особенно после Седанской капитуляции и достопамятного и бесповоротного падения в грязь Наполеона III, когда война Германии с

Францией, теряя свой характер законной самообороны, приняла характер войны завоевательной, войны немецкого деспотизма против свободы Франции, чувства немецкого пролетариата сразу переменились и приняли направление открытой опозиции этой войне и глубокой симпатии к Французской Республике. И здесь я спешу отдать справедливость вожакам социал-демократической партии, всему его руководящему комитету, Бебелю, Либкнехту и многим другим, которые, среди шума, поднятого оффициальной публикой и всей буржуазией Германии, бешеной от патриотизма, имели мужество открыто провозгласить священные права Франции.

Они благородно, геройски выполнили свой долг, ибо поистине им нужно было иметь геройское мужество, чтобы осмелиться говорить человеческим языком посреди всего этого ревущего буржуазного зверья.

Немецкие рабочие, естественно—страстные враги союза с Россией и русской политики. Русские революционеры не должны удивляться, ни даже слишком огорчаться, если иногда немецким рабочим случается распространять и на самый русский народ столь глубокую и столь законную ненависть, которую им внушает существование и все политические акты Всероссийской Империи. Немецкие рабочие, в свою очередь, не должны более отныне удивляться и слишком оскорбляться, если пролетариату Франции случается не делать надлежащего различия между оффициальной, бюрократической, военной, дворянской, буржуазной Германией и Германией народной. Чтобы не слишком жаловаться, чтобы быть справедливыми, немецкие рабочие должны судить сами по себе. Не смешивают ли они часто, слишком часто, следуя в этом примеру и советам многих своих вожаков, русскую империю и русский народ в одном и том же чувстве презрения и ненависти, даже не подумав, что этот народ есть первая жертва и непримиримый враг и вечный бунтовщик против этой империи, как я часто имел случай доказывать это в моих речах и в моих брошюрах, и как я снова установлю это на протяжении настоящего сочинения. Но немецкие рабочие могут возразить, что они не считаются со словами, что их осуждение основано на фактах, и что все русские действия, о которых известно заграницей, это—действия анти-гуманные,

жестокие, варварские, деспотические. На это русским революционерам нечего ответить. Они должны будут признать, что до известной степени немецкие рабочие правы. Каждый народ, более или менее солидарен и ответственен за действия, совершенные его государством от его имени и его руками, до тех пор, пока он не перевернет и не разрушит это государство. Но если это верно для России, это должно быть равным образом верно и для Германии.

Конечно, русская империя представляет собою и осуществляет варварскую, анти-гуманную, постыдную, ненавистную, подлую систему. Снабдите ее какими угодно эпитетами,—я не буду в претензии. Я—сторонник русского народа, а не патриот государства или Всероссийской Империи, и не думаю, чтобы нашелся кто нибудь, ненавидящий ее более, чем я. Только, так как прежде всего следует быть справедливым, я прошу немецких патриотов соблаговолить заметить и признать, что, за исключением некоторых формальных лицемерий, их Прусское Королевство и их старая Австрийская империя до 1866 г. не были много либеральнее и гуманнее, чем Всероссийская Империя, и что Прусско-Германская или *Кнуто-Германская империя*, которую немецкий патриотизм воздвигает ныне на развалинах и в крови Франции, обещает даже превзойти Русскую Империю ужасами. В самом деле, разве русская Империя, как она ни отвратительна, причинила когда нибудь Германии, или Европе, хоть сотую часть того зла, которое Германия причиняет ныне Франции, и которым она угрожает всей Европе? Конечно, если кто и имеет право ненавидеть русскую Империю и Россию, так это поляки. Конечно, если русские когда-либо обесчестили себя и совершили ужасы, выполняя кровавые приказы своих царей, так это в Польше. Так вот, я взываю к самим полякам: совершили ли когда-либо русские армии, солдаты и офицеры, взятые в массе, десятую часть тех гнусностей, которые армии, солдаты и офицеры Германии, взятые в массе, совершают ныне во Франции? Поляки, сказал я, имеют право ненавидеть Россию. Но не немцы, если только они в то же время не ненавидят себя самих. В самом деле, какое зло было им когда либо причинено русской Империей? Разве какой либо русский император мечтал когда либо завоевать Германию? Отторг ли он от нее когда либо какую-нибудь провинцию? Вступали ли русские войска в Германию, чтобы уничтожить ее никогда не существовавшую респу-

блику и восстановить на троне ее деспотов,—которые никогда не переставали царствовать?

Два раза только за все время, как существуют международные отношения между Россией и Германией, русские императоры причинили ей положительное зло. Первый раз, Петр III, который, едва взойдя на престол в 1761 г., спас Фридриха Великого и Королевство Прусское вместе с ним от неизбежного уничтожения, приказав русской армии, сражавшейся до тех пор с австрийцами против него, присоединиться к нему против австрийцев. Другой раз, это был Александр I, который в 1807 г. спас Пруссию от полного уничтожения.

Вот, без сомнения, две очень плохие услуги, оказанные Россией Германии, и если немцы жалуются именно на это, я должен признать, что они тысячу раз правы. Ибо, спасая дважды Пруссию, Россия, несомненно, если и не сама сковала, то по меньшей мере помогла сковать цепи Германии. Иначе, я поистине никак не могу понять, на что могут жаловаться эти добрые немецкие патриоты?

В 1813 г. русские пришли в Германию, как освободители, и не мало способствовали, что бы там ни говорили господа немцы, освобождению ее от ига Наполеона. Или, может быть, они в претензии на того самого императора Александра за то, что он помешал в 1814 г. прусскому фельдмаршалу Блюхеру отдать Париж на разграбление, когда тот высказал такое желание? Если так, то это показывает, что пруссаки всегда имели те же инстинкты, и что их природа не изменилась. Или они недовольны Александром за то, что он почти заставил Людовика XVIII дать Франции конституцию, вопреки желаниям, высказанным королем прусским и императором Австрии, и за то, чти он изумил Европу и Францию, выказав себя, он, император России, более гуманным и более либеральным, чем два великих властителя Германии?

Может быть, немцы не могут простить России постыдного раздела Польши? Увы! Они не имеют на это права, ибо они сами взяли добрый кусок этого пирога. Конечно, этот раздел был преступлением. Но среди коронованных разбойников, совершивших его, был один русский и два немецких: императрица Австрии Мария Тереза и великий король Пруссии Фридрих II. Я мог бы даже сказать, что все трое были немцы, ибо развратной памяти императрица Екатерина II была никем иным, как чистокровной немецкой

принцессой. Фридрих II, как известно, обладал хорошим аппетитом. Не предложил ли он своей доброй русской кумушке разделить также и Швецию, где царствовал его племянник? Инициатива раздела Польши с полным правом принадлежала ему. Прусское Королевство выиграло от него гораздо больше, чем двое других соучастников в разделе, ибо она сорганизовалась, как настоящая великая держава лишь благодаря завоеванию Силезии и этому разделу Польши.

Наконец, может быть немцы настроены против Русской Империи за свирепое варварское, кровавое подавление двух польских революций в 1830 и в 1863 годах? Но и на это они не имеют никакого права: ибо в 1830, как и в 1863 г. Пруссия была самой интимной сообщницей Санкт-Петербургского Кабинета и верным, услужливым поставщиком его палачей. Разве Граф фон Бисмарк, канцлер и основатель будущей Кнуто-Германской Империи, не считал своим приятным долгом выдавать Муравьевым и Бергам всех поляков попадавших ему в руки? А эти самые прусские лейтенанты, выставляющие теперь на показ свою гуманность и свой пангерманский либерализм во Франции, разве они не организовали в 1863, 1864 и 1865 годах в польской Пруссии и в великом Герцогстве Познани, как истые жандармы, какими они, впрочем, являются и по природе и по вкусам, правильную охоту на несчастных польских повстанцев, бежавших от казаков, чтобы выдать их закованными в цепях русскому правительству? Когда в 1863 году Франция, Англия и Австрия послали свои протесты князю Горчакову в защиту Польши, одна Пруссия не пожелала протестовать. Ей было невозможно протестовать по той простой причине, что с 1860 года все усилия ее дипломатии стремились к отговариванию императора Александра II от малейшей уступки полякам *).

Очевидно, что во всех этих отношениях немецкие патриоты не имеют права посылать упреки русской империи. Если она фальшиво поет—и поистине ее голос отвратите-

*) Когда посланник Великобритании в Берлине, лорд Блумфильд, если не путаю имени, предложил г. фон Бисмарку подписать от имени Пруссии знаменитый протест Западных держав, г. фон Бисмарк отказался, сказав английскому посланнику: „Как хотите Вы, чтобы мы протестовали, когда втечение уже трех лет мы только и делаем, что твердим России одно: не делать никакой уступки Польше“. *(Примечание Бакунина).*

лен,—Пруссия, являющаяся ныне головою, сердцем и рукою великой об'единенной Германии, никогда не отказала ей в добровольном аккомпанементе. Остается, следовательно, одна, последняя обида:

„Россия, говорят немцы, с 1815 года и по сей день оказывала гибельное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Германии. Если Германия так долго оставалась разделенною, если она остается рабой, то этим она обязана роковому влиянию".

Признаюсь, что этот упрек мне всегда казался чрезвычайно смешным, продиктованным недобросовестностью и недостойным великого народа. Достоинство каждой нации, по моему, должно состоять, главным образом в том, чтобы каждый принимал всю ответственность за свои действия на себя, не стараясь жалким образом перекладывать свои ошибки на других. Не правда ли, это очень глупая штука, все эти причитания взрослого мальчугана, жалующегося со слезами, что кто-то его испортил, увлек на злое дело? Ну, то, что непозволительно мальчугану, еще с большим основанием должно быть запрещено нации, запрещено самым уважением, которое она должна иметь к себе самой *).

---

*) Признаюсь, я был глубоко изумлен, встретив такую же точно жалобу в одном письме, адресованном в прошлом году г. Карлом Марксом, знаменитым главой немецких коммунистов, к редакторам одного маленького русского листка, печатаемого на русском языке в Женеве. Он претендует, что если Германия еще не организовалась демократически, вина в этом лежит исключительно на России. Он выказывает удивительное непонимание истории своей собственной страны, раз выдвигает то, невозможность чего, оставляя даже в стороне исторические факты, легко доказать опытом всех стран и всех времен. Видано ли когда нибудь, чтобы нация, стоящая на более низкой ступени цивилизации, навязывала или прививала свои собственные принципы стране гораздо более цивилизованной, иначе чем путем завоевания? Но Германия, насколько мне известно, никогда не была завоевана Россией. Следовательно совершенно невозможно, чтобы она могла принять какой-либо русский принцип; но более чем вероятно, несомненно, что в виду их непосредственного соседства и по причине неоспоримого превосходства ее политического, административного, юридического, промышленного, торгового, научного и общественного развития, Германия, наоборот, внесла много своих собственных идей в Россию, с чем обыкновенно соглашаются сами немцы, когда они не без гордости заявляют, что Россия обязана Германии той немногой цивилизацией, которою она обладает. К великому счастью для нас, для будущего России, эта цивилизация не проникла за пределы оффициальной России, в народ. Но действительно нашим политическим, административным, полицейским, военным и бюрократическим воспитанием мы обязаны Германии, равно как и завер-

В конце этого сочинения, бросая взгляд на германо-славянский вопрос, я докажу неоспоримыми историческими фактами, что дипломатическое воздействие России на Германию,—а другого никогда и не было,—как в отношении внутреннего развития, так и в отношении ее внешнего расширения, сводилось к нулю или почти к нулю до 1866 г.,

---

шением нашего императорского здания, вплоть до нашей августейшей династии.

Что соседство с великой монголо-византийско-германской империей было более приятно деспотам Германии, нежели ее народам; более благоприятно для развития ее туземного рабства, чисто национального, германского, нежели для развития либеральных и демократических идей, вынесенных из Франции,—кто может сомневаться в этом? Германия развилась бы гораздо быстрее в смысле свободы и равенства, если бы вместо русской Империи она имела бы своими соседями напр, Северо-Американские Соединенные Штаты. Впрочем у нее была соседка, отделявшая ее от московитской империи,—Польша, правда не демократическая, а дворянская, основывавшаяся на рабстве крестьян, как феодальная Германия, но гораздо менее аристократическая, более либеральная, более открытая всяким гуманным влияниям, нежели эта последняя. И что же? Германия, наскучивши этой беспокойной соседкой, столь противной ее привычкам к порядку, к набожному раболепству и лояльному подчинению, пожрала добрую половину ее, оставив другую половину московитскому царству, этой Всероссийской Империи, непосредственной соседкой которой она тем самым стала. И теперь, она плачется на это соседство! Это смешно!

Россия равным образом много выиграла бы, если бы вместо Германии она имела соседкой на западе Францию, а на востоке вместо Китая Северную Америку. Но социалисты революционеры, или, как их начинают называть в Германии, русские анархисты слишком ревнивы к достоинству их народа, чтобы переложить всю вину своего рабства на Германию или на Китай. И однако гораздо с большим основанием они имели бы историческое право отбросить ее как на тех, так а на других. Ибо, в конце концов, несомненно, что монгольские орды, завоевавшие Россию, явились с Китайский границы. Несомненно, что втечение более двух веков они держали ее под своим игом. Два века варварского ига... Какое воспитание! К великому счастью, это совершенно не проникло в русский народ в собственном смысле слова, в массу крестьян, которые продолжали жить по законам своего обычного общинного права, не признавая и ненавидя всякую другую политику и юриспруденцию, как они это делают и посейчас Но оно совершенно испортило дворянство, а также в значительной мере русское духовенство, и эти два привилегированные класса, одинаково грубые, одинаково рабские, могут быть рассматриваемы, как истинные основатели московитской империи. Несомненно, что эта империя была основана главным образом на порабощении народа, и что русский народ, совершенно не обладающий добродетелью покорности, которою, повидимому, в такой большой мере одарен немецкий народ, никогда не переставал ненавидеть эту империю и бунтовать против нее. Он был и остается еще и поныне единственным истинным революционером в России. Его бунты, или, скорее, революции (в 1612, в 1667, в 1771) часто угрожали самому существованию московит-

и было ничтожно во всех случаях, когда эти добрые немецкие патриоты и сама русская дипломатия не создавали его в своем воображении. И я докажу, что с 1866 г. С.-Петербургский кабинет, признательный за моральное содействие, если не за материальную поддержку, которую кабинет Берлина оказывал ему, во время крымской войны, и более чем когда либо подчиненный прусской политике,

---

ской империи и, по моему глубокому убеждению, в близком будущем новая социалистическая народная революция, на этот раз победоносная, совершенно ее опрокинет. Несомненно, что, если Московские цари, ставшие впоследствии императорами С.-Петербурга, побеждали до сих пор это упорное и неистовое народное сопротивление, так это лишь благодаря политической, административной. бюрократической и военной науке, принесенной нам немцами, которые, наградив нас столь великолепными вещами, не забыли снабдить нас, не могли не принести с собою свой культ—государя, уже не восточный, но протестантско-германский, культ личного представителя государственного разума, философию дворянского, буржуазного, военного и бюрократического раболепства, возведенного в систему. И это, по моему, было большим несчастьем. Ибо восточное, варварское, хищное, грабительское рабство нашего дворянства и нашего духовенства было весьма грубым, но вполне естественным результатом несчастных исторических обстоятельств, глубокого невежества и еще более несчастного экономического и политического положения. Это рабство было естественным фактом, а не системой и, как таковое, оно могло и должно было измениться под благодатным влиянием либеральных, демократических, социалистических и гуманитарных идей Запада. Оно и в самом деле подверглось изменениям таким образом, что, упоминая лишь о наиболее характерных фактах, с 1818 по 1825 г. цвет дворянства, многие сотни дворян, принадлежащих к самому высокому и самому богатому классу России организовали очень серьезный заговор, весьма угрожавший императорскому деспотизму, с целью основать на его развалинах либеральную конституционную монархию, или согласно желаниям наибольшего числа участников заговора, федеративную демократическую республику. В основании и той и другой формы правления должно было лежать полное освобождение крестьян с наделением их землей. С тех пор не было ни одного заговора в Росси, к которому не принадлежали бы молодые дворяне, часто очень богатые. С другой стороны все знают, что как раз дети наших священников, студенты наших академий и семинарий, составляли священную фалангу социально-революционной партии в России. Пусть господа немецкие патриоты перед лицом этих неопровержимых фактов, уничтожить которые они не в состоянии при всей своей недобросовестности, соблаговолят сказать мне, много ли было в Германии дворян и студентов теологии, конспирировавших против государства во имя освобождения народа?

И однако в Германии нет недостатка ни в дворянах, ни в теологах. Отчего же происходит эта бедность, чтобы не сказать отсутствие, либеральных и демократических чувств у дворянства, у духовенства и—я скажу уж, чтобы быть искренним до конца,—у буржуазии Германии? Оттого, что у этих почтенных классов, представителей немецкой цивилизации, раболепство—не только естественное явление, происходящее от естественных причин, но оно стало системой, наукой, своего рода рели-

сильно содействовал своим угрожающим настроением против Австрии и Франции полному успеху гигантских проектов графа фон Бисмарка и, следовательно, также окончательному созданию великой прусско-германской империи, установление которой увенчает, наконец, все пожелания немецких патриотов.

гиозным культом и по причине этого самого, составляет неизлечимую болезнь. Можете ли вы представить себе немецкого бюрократа или офицера немецкой армии, устраивающим заговор и бунтующим во имя свободы, ради освобождения народов? Нет, конечно. Мы, правда, видели за последнее время в Ганновере крупных чиновников и офицеров, устраивавших заговор против господина фон Бисмарка. Но с какой целью? В целях восстановления на троне короля деспота, законного короля. Между тем русская бюрократия и корпус русских офицеров насчитывают в своих рядах много заговорщиков для блага народа. Вот в чем разница. И она целиком в пользу России.—Естественно, следовательно, что если даже порабощающему действию немецкой цивилизации не удалось совершенно испортить слой привилегированных и официальных лиц России, она должна была постоянно оказывать на эти классы зловредное влияние. И я повторяю, большое счастье для русского народа, что он уберегся от этой цивилизации, как уберегся и от цивилизации Монголов.

Могут ли буржуазные патриоты Германии в противовес всем этим фактам указать хоть один единственный, свидетельствующий о пагубном влиянии на Германию монголо-византийской цивилизации официальной России? Им было бы совершенно невозможно сделать это, ибо никогда русские не проникали в Германию ни в качестве завоевателей, ни в качестве профессоров, ни в качестве администраторов. Из этого следует, что, если бы Германия и заимствовала действительно что-либо от официальной России, что я совершенно отрицаю, так это могло бы быть лишь по собственной ее склонности и вкусу.

По истине, было бы гораздо более достойным прекрасного немецкого патриота, каков несомненно господин Карл Маркс, и к тому же гораздо полезнее для народной Германии, если бы вместо того, чтобы стараться утешить национальное тщеславие, ложно приписывая ошибки, преступления и позор Германии иностранному влиянию, он пожелал бы употребить свою громадную историческую эрудицию на то, чтобы доказать сообразно со справедливостью и с исторической истиной, что Германия породила, выносила и исторически развила в себе самой все элементы своего нынешнего рабства. Я охотно предоставил бы ему выполнение этой столь полезной, необходимой—особенно с точки зрения освобождения немецкого народа—работы, которая, выйдя из его мозга и из под его пера, подкрепленная той удивительной эрудицией, перед которой я уже преклонился, была бы, разумеется, безконечно более полною. Но, так как я не надеюсь, чтобы он когда нибудь счел приличным и необходимым сказать всю правду по этому вопросу, то я беру это на себя и постараюсь доказать на протяжении настоящего сочинения, что рабство, преступления и позор современной Германии порождены ею самой и являются результатом четырех великих исторических причин: дворянского феодализма, дух которого вместо того, чтобы быть побежденным, как во Франции, в'елся в современное устройство Германии; абсолютизма

Как доктор Фауст, эти великолепные патриоты преследовали две цели, две противоположных тенденции: стремление—к могущественной национальной единице, и стремление—к свободе. Желая примирить две непримиримые вещи, они долго парализовали одна другую, пока, наконец, наученные опытом, они решились пожертвовать одной, чтобы завоевать другую. И так теперь на развалинах—не свободы,—они никогда не были свободны,—но их либеральных мечтаний, они строят свою великую прусско-германскую империю. Отныне они, по их собственному признанию, *свободно* составят могущественную нацию, чудовищное Государство и рабский народ.

Втечение пятидесяти лет подряд, с 1815 по 1866 г.г., немецкая буржуазия переживала своеобразную иллюзию относительно себя самой: она считала себя либеральной, совершенно не будучи таковой. С того времени, как она получила крещение Меланхтона и Лютера, которые *религиозно* подчинили ее абсолютной власти ее принцев, она окончательно потеряла все свои последние инстинкты свободы. Покорность и послушание во что бы то ни стало сделались более, чем когда-либо, ее привычкой и обдуманным выражением ее самых интимных убеждений, результатом ее суеверного культа всемогущего государства. Бунтовское чувство, эта сатаническая гордость, отвергающая подчинение какому бы то ни было господину, божеского или человеческого происхождения, которое лишь одно создает в человеке любовь к независимости и к свободе, не только неизвестно ему, оно отталкивает, скандализует и пугает его. Немецкая буржуазия не могла бы жить без господина. Она испытывает слишком большую потребность уважать, обожать и подчиняться кому бы то ни было. Если не королю, императору,—ну, что-же! так коллективному монарху, Государству и всем чиновникам Государства, как это было до сих пор во Франкфурте, в Гамбурге, в Бремене и в Любеке, называемых республиканскими и свободными, которые перейдут под господство нового императора

государя, санкционированного протестантизмом и превращенного им в предмет культа; упорного и хронического раболепства немецкой буржуазии и ничем не победимого терпения ее народа. Наконец, пятая причина, впрочем очень тесно связанная с четырьмя первыми, это—рождение и быстрое образование совершенно механического и совершенно антинационального могущества государства Пруссии. *(Примеч. Бакунина).*

Германии, не заметив даже, что они потеряли свою свободу.

Следовательно, не необходимость повиноваться господину вызывает неудовольствие немецкого буржуа; ибо это в его привычках, это его вторая натура, его религия, его страсть; но незначительность, слабость, относительное бессилие того, кому он должен и хочет повиноваться. Немецкий буржуа обладает в высшей степени этой гордостью всех лакеев, которые отражают на самих себе важность, богатство, величие, могущество своего господина. Так об'ясняется культ задним числом исторической и почти мифической фигуры императора Германии, культ, рожденный в 1815 г. одновременно с немецким мнимым либерализмом; с тех пор он всегда обязательно ему сопутствовал и необходимо должен был рано или поздно задушить и разрушить его, как он сделал это в наши дни. Возьмите все патриотические песни немцев, сложенные с 1815 г. Я не говорю о песнях рабочих-социалистов, открывающих новую эру, пророчащих новый мир, мир всеобщего освобождения. Нет, возьмите песни буржуазных патриотов, начиная с пангерманского гимна Арндта. Какое чувство преобладает в нем? Любовь к свободе? Нет, чувство национального величия и могущества: „Где немецкое отечество?“ спрашивает он. И отвечает: „Всюду, где звучит немецкий язык“. Свобода лишь весьма слабо вдохновляет певцов немецкого патриотизма. Можно бы было сказать, что они упоминают о ней лишь из приличия. Их серьезный и искренний энтузиазм принадлежит лишь одному национальному Единению. И даже сегодня какими аргументами пользуются они, чтобы доказать обитателям Эльзаса и Лотарингии, которые были крещены во французы Революцией, и которые в настоящий момент столь ужасного для них кризиса чувствуют себя французами более страстно, чем когда бы то ни было,—чтобы доказать этим обитателям Эльзаса и Лотарингии, что они немцы и должны снова стать немцами? Обещают ли они им свободу, освобождение труда, большое материальное благосостояние, благородное и широкое человеческое развитие? Нет, ничего подобного. Эти аргументы так мало трогают их самих, что они не понимают даже, что они могут трогать других. Впрочем, они не осмелились бы доводить так далеко ложь во времена гласности, когда ложь делается столь трудною, если не невозможною. Они знают, и все знают, что эти прекрасные вещи не существуют в Герма-

нии, и что Германия может стать великой кнуто-германской империей, лишь отказавшись от них надолго. даже в мечтах своих, ибо действительность стала ныне слишком захватывающей, слишком грубой, чтобы в ней было место и досуг для мечтаний.

За отсутствием всех этих великих вещей, одновременно реальных и человеческих, о чем говорят им публицисты, ученые, патриоты и поэты немецкой буржуазии? О былом величии Германской Империи, о Гегенштауфенях и об императоре Барбароссе. Не сошли ли они с ума? Не идиоты ли они? Нет, они — немецкие буржуа, немецкие патриоты. Но какого же дьявола эти добрые буржуа, эти великолепные патриоты обожают это великое католическое, императорское и феодальное прошлое Германии? Находят ли они в нем, как итальянские города в двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом веках, воспоминания о могуществе, свободе, умственной жизни и славе буржуазии? Разве буржуазия или, если мы хотим расширить это слово, сообразуясь с духом этих отдаленных времен, нация, немецкий народ, был тогда менее грубо придавлен, менее угнетен своими принципами деспотами и своим надменным дворянством? Нет, конечно, это было хуже, чем теперь. Но тогда чего хотят они искать в прошлых веках, эти буржуазные ученые в Германии? — Могущество господина. Таково честолюбие лакеев.

В присутствии того, что происходит сегодня, сомнения более невозможны. Немецкая буржуазия никогда не любила, не понимала и не хотела свободы. Она живет в своем рабстве, спокойная и счастливая, как мышь в сыре, и хочет только, чтобы сыр был большим. С 1815 года до наших дней она хотела лишь одного. Но этого одного она хотела с настойчивой, *энергичной* и достойной более благородного об'екта страстью. Она хотела чувствовать себя под рукой могущественного господина, будь он жестокий и грубый деспот, лишь бы он мог дать, в награду за ее необходимое рабство, то, что она называет своим национальным величием; лишь бы он заставлял дрожать все народы, включая сюда и немецкий народ во имя германской цивилизации.

Мне возразят, что буржуазия всех стран выказывает ныне те-же стремления, что повсюду она испуганно старается укрыться под покровительство военной диктатуры, ее последнее убежище против все более и более угрожающих нашествий пролетариата. Всюду она отказывается от своей

свободы, во имя спасения своего кошелька и, чтобы сохранить свои привилегии, она отказывается от своего права. Буржуазный либерализм во всех странах сделался ложью, и едва существует лишь по имени.

Да, это правда. Но, по меньшей мере в прошлом, либерализм итальянских, швейцарских, голландских, бельгийских, английских и французских буржуа действительно существовал, тогда как либерализм буржуазии немецкой никогда не существовал. Вы не найдете никаких следов его ни до, ни после Реформации.

История немецкого либерализма.

Гражданская война, столь пагубная для могущества государств, напротив того и как раз по этой самой причине, всегда благоприятна пробуждению народной инициативы и интеллектуальному, моральному и даже материальному развитию народов. Причина этого очень проста: гражданская война нарушает, колеблет в массах баранье состояние, столь дорогое правительствам и превращающее народ в стада, которые пасут и стригут по желанию. Она порывает оскотинивающее однообразие их ежедневного существования, машинального, лишенного мысли и, заставляя думать над претензиями различных принцев или партий, оспаривающих друг у друга право угнетать и эксплоатировать их, приводит их чаще всего к сознанию, если не продуманному, то по меньшей мере инстинктивному той глубокой истины, что как один, так и другие не имеют права на них, и что намерения их всех одинаково дурны. Кроме того с момента, как обычно усыпленная мысль масс просыпается в одном направлении, она неизбежно начинает работать и в других направлениях. Ум народа возбуждается, порывает со своей вековой неподвижностью и, выходя за пределы машинальной веры, разбивая иго традиционных и окаменелых представлений или понятий, которые заменяли ему всякие мысли, он подвергает все вчерашние кумиры страстной суровой критике, направляемой его здравым смыслом и его честной совестью, часто более стоющею, нежели наука. Так пробуж-

дается ум народа. С умом родится в нем священный инстинкт, чисто человеческий инстинкт бунта, источник всякого освобождения, и одновременно развиваются его мораль и его материальное благосостояние, дети-близнецы свободы. Эта свобода, столь благодательная для народа, находит поддержку, гарантию и поощрение в самой гражданской войне, которая, разделяя его угнетателей, эксплоатрторов, опекунов или господ, необходимо уменьшает зловредное могущество тех и других. Когда господа дерутся между собою, бедный народ, освобожденный по меньшей мере отчасти от однообразия общественного порядка или, скорее, от анархии и окаменелой несправедливости, которые ему навязаны под именем общественного порядка их ненавистной властью,— может вздохнуть несколько свободнее. Впрочем, противные стороны, ослабленные разделением и борьбой, нуждаются в симпатии масс, чтобы победить в борьбе друг с другом. Народ становится любовницей, перед которой заискивают, за которой ухаживают, которую задабривают. Ему дают всевозможные обещания, ему делают различные действительные политические и материальные уступки. Если он не освобождает себя в такой момент,—он сам целиком виноват в этом.

Как раз при таких обстоятельствах более или менее освободились в средние века коммуны всех стран Западной Европы. По способу, каким они освободились и, особенно, по политическим, интеллектуальным и социальным результатам, которые они сумели извлечь из своего освобождения, можно судить об уме, естественных стремлениях и темпераментах различных национальностей.

Так уже к концу одиннадцатого века мы видим Италию обладающею полным развитием ее муниципальных свобод, торговли и рождающихся искусств. Города Италии сумели использовать начинавшуюся памятную борьбу императоров и пап, чтобы завоевать свою независимость. В том же веке Франция и Англия переживают уже полный разцвет схоластической философии и, как следствие этого первого пробуждения мысли в области веры, и этого первого смутного бунта разума против веры, мы видим на юге Франции зарождение ереси, занесенной из романской Швейцарии. В Германии же ничего. Она работает, молится, поет, строит свои храмы—великолепное выражение ее крепкой и наивной веры, и повинуется безропотно своим священникам, дворянам, принцам и императорам, которые грубо обращаются с ней и грабят ее без жалости и стыда.

В двенадцатом веке образуется великая Лига независимых и свободных городов Италии против императора и против папы. С политической свободой естественно начинается бунт ума. Великий Арно де Брешиа сожжен в Риме в 1155 году за ересь. Во Франции сжигают Пьера де Брюи и преследуют Абеляра. И что еще существеннее,—поистине народная и революционная ересь Альбигойцев восстает против господства папы, священников и феодальных сеньеров. Преследуемые, они распространяются во Фландрии, в Богемии, до Болгарии, но не в Германии. В Англии, король Генрих I Боклерк вынужден подписать хартию, основу всех последующих свобод. Среди всего этого движения одна верная Германия остается неподвижной и незатронутой. Ни одной мысли, ни одного акта, который отметил бы пробуждение независимой воли или какого-либо стремления в народе. Только два важных факта можно отметить за это время. Во первых—создание двух новых рыцарских орденов: тевтонских крестоносцев и ливонских оруженосцев. Задачей обоих была подготовка величия и мощи будущей кнуто-германской империи путем пропаганды оружием католицизма и германизма на севере и на северо-востоке Европы. Известен единообразный и постоянный метод, который употребляли эти любезные пропагандисты Евангелия Христа, чтобы обратить в христианство и германизировать славянские варварские и языческие населения. Впрочем, это тот-же самый метод, который употребляется теперь их достойными приемниками для *морализации*, для *цивилизации*, для *германизации* Франции; эти три различных глагола в мыслях и на языке немецких патриотов равнозначущи. Это массовые и единичные избиения, пожары, грабежи, насилия, уничтожение одной части населения и порабощение другой. В завоеванных странах, вокруг лагерей вооруженных цивилизаторов, образовывались затем немецкие города. В них поселялся святой епископ, благословляющий, не смотря ни на что, все преступления, совершенные или затеянные этими благородными разбойниками. С ним являлась стая попов, и они насильно крестили уцелевших от погромов, а затем заставляли этих рабов строить церкви. Привлеченные таким обилием святости и славы, прибывали затем эти добрые немецкие буржуа, смиренные, раболепные, подло-почтительные перед дворянской наглостью, ползающие на коленях перед установленными политическими и религиозными властями, одним словом низкопоклонничающие перед всем, что представляет

какую-либо власть, но в высшей степени жестокие и полные презрения и ненависти к туземному побежденному населению. Впрочем, к этим, если не очень блестящим, то во всяком случае полезным качеством они присоединяли силу, ум и упорство в труде, и удивительную способность рости и распространяться, что делало этих трудолюбивых паразитов весьма опасными для независимости и цельности национального характера, даже в стране, где они поселились не по праву завоевания, но из милости, как например в Польше. Таким образом восточная и западная Пруссия и часть великого герцогства Познанского в один прекрасный день оказались германизированными. — Второй германский акт, совершившийся в этом веке, это — возрождение римского права, вызванное, конечно, не национальной инициативой, но специальным повелением императоров, которые, поддерживая и распространяя изучение вновь обретенных Пандектов Юстиниана, подготовляли основы для современного абсолютизма.

В тринадцатом веке, немецкая буржуазия кажется наконец пробудившейся. Войне Гвельфов и Гиббелинов, продолжавшейся около столетия, удалось прервать ее песни и мечты и вызвать ее из ее набожной летаргии. Она начала поистине умелой хозяйской рукой. Следуя несомненно примеру, который им дали города Италии, торговые сношения которой распространились по всей Германии, более шестидесяти немецких городов образовали чудовищную торговую и неизбежно политическую лигу, знаменитую Ганзу.

Если бы немецкая буржуазия имела инстинкт свободы, хотя бы даже частичный и ограниченный, какой только и был доступен в эти отдаленные времена, она могла бы завоевать свою независимость и установить свое политическое могущество уже в тринадцатом веке, как это сделала гораздо раньше итальянская буржуазия. Политическое положение немецких городов в эту эпоху впрочем вполне было сходно с положением итальянских городов, с которыми они были связаны вдвойне — и претензиями Священной Империи и более реальными торговыми отношениями.

Как республиканские города Италии, немецкие города могли рассчитывать лишь на себя самих. Они не могли, как коммуны Франции, опереться на возрастающее могущество монархической централизации, так как власть императоров, которая гораздо более основывалась на их способностях и на их личном влиянии, нежели на политических

институтах и вследствие этого изменялась с переменой лиц, никогда не могла укрепиться и пустить корни в Германии. Впрочем, вечно занятые делами Италии и их бесконечной борьбой с папами, они проводили три четверти своего времени вне Германии. По этим двум причинам, власть императоров, вечно непрочная и вечно оспариваемая, не могла представить собою, как и власть королей Франции, достаточную и серьезную поддержку освобождению коммун.

Города Германии не могли так же, как и английские коммуны, об'единиться с земельной аристократией против власти императора, чтобы потребовать свою долю политической свободы: царский дом и вся феодальная знать Германии, в противоположность английской аристократии, всегда отличались совершенным отсутствием политического смысла. Это было просто сборище грубых разбойников, свирепых, глупых, невежественных, склонных лишь к жестокой и грабительской войне, разврату и сладострастию. Они были годны лишь для нападений на городских торговцев на большой дороге или для разграбления самих городов, когда чувствовали себя в силах, но не для понимания пользы союза с ними.

Немецкие города, чтобы защищаться против грубого притеснения, против придирок и регулярного или нерегулярного грабежа императоров, властительных принцев и дворян, могли, следовательно, в действительности рассчитывать лишь на свои собственные силы и на союз между собой. Но, чтобы этот союз, эта самая Ганза, которая всегда была лишь почти исключительно торговым союзом, могла доставить им достаточное покровительство, следовало бы, чтобы она приняла определенно-политический характер и значение: чтобы она вмешалась, как признанная и уважаемая сторона, в самую конституцию и во все как внутренние, так и внешние дела Империи.

Впрочем обстоятельства были в высшей степени благоприятны. Могущество всех властей Империи было значительно ослаблено борьбой Гибеллинов и Гвельфов; и раз немецкие города почувствовали себя достаточно сильными для образования взаимной защиты против всех угрожавших им грабителей, коронованных или некоронованных, ничто не мешало им придать этой лиге гораздо более положительный политический характер, характер могучей коллективной силы, требующей уважения и заставляющей уважать себя. Они могли сделать больше; пользуясь более или менее фи-

ктивным союзом, который мистическая святая Империя установила между Италией и Германией, немецкие города могли бы об'единиться или сфедерироваться с итальянскими городами, подобно тому, как они об'единились с фламандскими городами и позже даже с некоторыми польскими городами. Они, конечно, должны были бы сделать это не на узко-немецкой, а на широкой международной базе. И кто знает, не придал ли бы такой союз, в котором к природной, несколько грубой и тяжеловатой силе немцев, присоединился ум, политический талант и любовь к свободе итальянцев, политическому и социальному развитию Запада совсем иное и гораздо более благоприятное направление для цивилизации всего мира. Единственная крупная невыгода, которая вероятно произошла бы от такого союза, было бы образование нового политического слоя, могущественного и свободного, вне рядов земледельческих масс и, следовательно, враждебного им; крестьяне Италии и Германии тогда находились бы еще в большой зависимости от феодальных сен'еров, чего, впрочем, и так не удалось избежать, ибо муниципальная организация городов имела своим последствием глубокое разделение крестьян от буржуа и их рабочих, как в Италии, так и в Германии.

Но не будем мечтать за этих добрых немецких буржуа! Они достаточно мечтают сами. Только к несчастью предметом их мечтаний никогда не была свобода. Они никогда, ни в те времена, ни позже не обладали интеллектуальными и моральными предрасположениями, необходимыми для понимания, для любви, для желания и создания свободы. Дух независимости был им всегда чужд. Бунт для них так же отвратителен, как и ужасен. Он несовместим с их покорным и подчиненным характером, с их терпеливо и мирно трудолюбивыми привычками, с их одновременно рассудочным и мистическим культом власти. Можно сказать, что все немецкие буржуа родятся с шишкой набожности, общественного порядка и послушания во чтобы то ни стало. Люди с такими предрасположениями никогда не становятся свободными и даже посреди самых благоприятных условий остаются рабами.

Это и случилось с Лигой ганзейских городов. Она никогда не преступала границ умеренности и благоразумия стремясь лишь к трем вещам: чтобы ей предоставили мирно обогащаться от ее промышленности и торговли; чтобы уважали ее организацию и внутреннее законоуправление,

и чтобы от нее не требовали слишком больших денежных жертв в обмен на покровительство или терпимость, которые ей оказывали. Что же касается общих дел империи, как внутренних, так и внешних, немецкая буржуазия охотно предоставляла заботы о них „большим господам“, будучи слишком скромна сама, чтобы вмешиваться в них.

Такая большая политическая умеренность необходимо должна была сопровождаться, или скорее даже являться верным симптомом большой медленности в интеллектуальном и социальном развитии нации. И в самом деле мы видим, что за весь тринадцатый век немецкий ум, несмотря на большое торговое и промышленное движение, несмотря на все материальное процветание немецких городов, не произвел решительно ничего. В тот самый век в школах Парижского Университета, не взирая на короля и папу, проповедывали уже доктрину, смелость которой привела бы в ужас наших метафизиков и наших теологов. Эта доктрина утверждала, например, что мир, будучи вечным, не мог быть сотворенным, и отрицала нематериальность душ и свободную волю. В Англии мы видим великого монаха Рожера Бекона, предшественника современной науки и действительного изобретателя компаса и пороха, хотя немцы и хотели бы приписать себе это полезное изобретение для того без сомнения, чтобы опровергнуть известную пословицу В Италии родился Данте. В Германии—полнейшая интеллектуальная ночь.

В шестнадцатом веке Италия обладала уже великолепной национальной литературой: Данте, Петрарка, Боккачио; и в области политической Риенции и Мишель Ландо рабочий чесальщик, хоругвеносец во Флоренции. Во Франции коммуны, представленные в Генеральных Штатах, окончательно определяют свой политический характер, поддерживая королевство против аристократии и папы. Это также—век жаккерии первого деревенского восстания Франции—восстания к которому искренние социалисты не будут испытывать, конечно, ни презрения, ни тем более ненависти буржуа.

В Англии Джон Виклеф, истинный инициатор религиозной реформации, начинает свои проповеди. В Богемии, славянской стране, составляющей, к сожалению, часть германской империи, мы сталкиваемся в народных массах, среди крестьян с интереснейшей и симпатичнейшей сектой Братцев, осмелившейся выступить на борьбу с небесным

деспотом, встав на сторону Сатаны, этого духовного главы всех прошлых настоящих и будущих революционеров, истинного виновника—по свидетельству Библии—человеческого освобождения, отрицателя небесной империи, как мы являемся отрицателями всех земных империй, творца свободы,— того, кого Прудон в своей книге о Справедливости приветствовал с красноречием, исполненным любви, „Братцы" подготовили почву для революции Гусса и Жижки. Наконец швейцарская свобода родилась в том же веке.

Бунт немецких кантонов Швейцарии против деспотизма Габсбургского дома—явление столь противное национальному духу Германии, что необходимым, непосредственным последствием его было образование новой Швейцарской нации, крещенной во имя бунта и свободы и как таковой, отделенной отныне непреодолимым барьером от германской Империи.

Немецкие патриоты любят повторять словами знаменитой пангерманской песни Арндта, что „их отечество распространяется повсюду, где звучит немецкая речь, воспевающая хвалу Господу Богу".

„So weit die deutsche Zunge klingt,
Und Gott im Himmel Lieder singt".

Если бы они хотели скорее считаться с истинным смыслом их истории нежели с вдохновениями их всепожирающей фантазии, они должны были бы сказать, что их отечество распространяется повсюду, где существует рабство народов, и перестает быть там, где начинается свобода.

Не только Швейцария, но и города Фландрии, хотя и связанные с немецкими городами материальными интересами, интересами возрастающей и процветающей торговли, и не смотря на то, что они принимали участие в Ганзейской Лиге, стремились, начиная с того века, все больше отделиться от Германии под влиянием этой самой свободы.

В Германии на протяжении всего этого века среди возрастающего материального процветания,—никакого ни интеллектуального, ни социального движения. В политике только два события: первое—декларация принцев Империи, которые, увлеченные примером королей Франции, об'явили, что Империя должна быть независимой от папы, и что императорское достоинство исходит от одного Бога; второе—учреждение знаменитой Золотой Буллы, которая окончательно организует Империю и решает, что отныне будет

существовать семь принцев—избирателей, в честь семи золотых светильников апокалипсиса.

Вот, наконец, мы подошли к пятнадцатому веку, это—век Возрождения. Италия в полном расцвете. Вооруженная философией, обретенной в древней Греции, она разбивает тягостную тюрьму, в которой католицизм на протяжении десяти веков держал заключенным человеческий ум. Вера падает, возрождается свободная мысль. Это сверкающая и радостная заря человеческого освобождения. Свободная почва Италии покрывается свободными и смелыми мыслителями. Сама Церковь становится языческой. Папы и Кардиналы, пренебрегая святым Павлом ради Аристотеля и Платона, проникаются материалистической философией Эпикура и, забыв христианского Юпитера, служат лишь Вакху и Венере. Впрочем это не мешает им время от времени преследовать свободных мыслителей, увлекательная пропаганда которых грозит уничтожить в народных массах веру в этот источник папского могущества и доходов. Пламенный знаменитый пропагандист новой веры, веры человеческой, Пик де Мирандоль, умерший таким молодым, особенно навлекает на себя громы Ватикана.

Во Франции и в Англии—затишье. В первой половине этого века—постыдная, глупая война, раздутая лестолюбием королей и глупо поддержанная английской нацией,—война, которая откинула назад на целый век и Англию и Францию. Как ныне пруссаки, англичане пятнадцатого века хотели разрушить, подчинить Францию. Они даже овладели Парижем, что не удалось еще до сих пор немцам, несмотря на все их желание *), и сожгли Жанну д'Арк в Руане, как немцы вешают ныне вольных стрелков. Они были наконец изгнаны из Парижа и из Франции, что случится, будем надеяться, и с немцами.

Во второй половине пятнадцатого века, во Франции мы видим зарождение истинного королевского деспотизма, укрепленного этой войной. Это—эпоха Людовика XI, грубого бурбона, который стоит один Вильгельма I с его Бисмарком и Мольтке, это—основатель бюрократической и военной централизации Франции, создатель государства. Он еще снисходит иногда до того, чтобы опереться на корыстные симпатии своей верной буржуазии, которая с удовольствием любуется, как ее добрый король сносит столь надменные и

*) Эти страницы были написаны между 11 и 16 февраля 1871 г. Дж. Г.

гордые головы ее феодальных сеньеров. Но чувствуется уже по манере его обращения с нею, что, если она не хотела бы его поддерживать, он сумел бы заставить ее. Всякая независимость—дворянская или буржуазная, духовная или телесная—ему одинаково противна. Он уничтожает рыцарство и учреждает военные ордена,—в этом выражается его попечение о дворянстве. Он облагает свои любезные города сообразно своему капризу и диктует свою волю Генеральным Штатам,—такова при нем свобода буржуазии Наконец, он запрещает чтение сочинений авторов-материалистов, не допускающих реальности отвлеченных идей, и приказывает чтение ортодоксальных мыслителей, защищающих *реальное* существование этих идей—такова свобода мысли. И что же! Несмотря на столь тяжкое давление, во Франции в конце пятнадцатого века появляется Раблэ, глубоко народный гальский гений, преисполненный духа человеческого бунта, характеризующего век Возрождения.

В Англии, несмотря на ослабление народного духа—естественное последствие постыдной войны, которую она вела с Францией в течение всего пятнадцатого века,—ученики Виклефа пропагандируют доктрину своего учителя, не смотря на жестокия преследования, жертвами коих они становятся, и подготавляют таким образом почву для религиозной революции, которая вспыхнула сто лет спустя. В то же время, путем индивидуальной, неслышной невидимой и не уловимой, но тем не менее очень живучей пропаганды в Англии как и во Франции, свободный дух Возрождения стремится создать новую философию. Фламандские города, ревнивые к своей свободе и сильные своим материальным процветанием, входят целиком в современное аристократическое и индивидуальное развитие, еще больше отделяясь благодаря этому от Германии.

Что касается Германии, мы видим ее спящею самым глубоком сном втечении всей первой половины этого века. И однако в недрах Империи и в самом непосредственном соседстве с Германией произошло громадного значения событие, которое было достаточным, чтобы встряхнуть оцепенение любой другой нации. Я имею в виду религиозный бунт Иоанна Гусса, великого славянского реформатора.

С чувством глубокой симпатии и братской гордости думаю я об этом великом национальном движении славянского народа. Это было больше, чем религиозное движение,—это

был победоносный протест против немецкого деспотизма, против аристократическо-буржуазной цивилизации немцев, это был бунт классической славянской общины против немецкого Государства. Два великих славянских бунта имели уже место в одинадцатом веке. Первый был направлен против благочестивого угнетения храбрых тевтонских рыцарей, предков нынешних дворянчиков-лейтинантов Пруссии. Славянские инсургенты сожгли все церкви и истребили всех священников. Они ненавидили христианство означало германизм в его наименее привлекательной форме. Это были любезный рыцарь, добродетельный священник и честный буржуа, все трое чистокровные немцы, представляющие, как таковые, идею власти, во что бы то ни стало, и реальность грубого, наглого и жестокого угнетения. Второе восстание произошло тридцатью годами позже в Польше. Это было первое и единственное восстание чисто польских крестьян. Оно было подавлено королем Казимиром. Вот, какое суждение об этом событии дал великий польский историк Лелевель, патриотизм и даже известное предпочтение которого к классу, который он называл *благородной демократией*, не тогут быть никем подвергнуты сомнению: „Партия Маслова" (глава восставших крестьян Мазовии) „была народной и в союзе с язычеством; партия Казимира была аристократической и сторонницей христианства" (то есть германизма). И дальше он прибавляет: „Безусловно нужно рассматривать это гибельное событие, как победу, одержанную над низшими классами, участь которых могла лишь ухудшиться впоследствии. *Порядок был восстановлен,* но ход соцнольного состояния повернулся с тех пор сильно к невыгоде низших классов. (*История Польши.* Иоакима Лелевеля. Т. II, стр. 19).

Богемия позволяла себя германизировать еще больше чем Польша. Как и Польша она никогда не была завоевана немцами, но дала им глубоко испортить себя. Будучи членом Священной Империи с момента ее образования, как Государства, она никогда к своему несчастью не могла отделиться от нее и восприняла все ее клерикальные, феодальные и буржуазные учреждения. Города и дворянство Богемии частью германизировались; дворянство буржуазия и духовенство были немецкими не по рождению, но по крещению, точно так же, по своему воспитанию и политическому и социальному положению, ибо первобытная организация славянских общин не признавала ни священников ни

классов. Одни лишь крестьяне Богемии не были поражены этою немецкою чумою и разумеется являлись ее жертвами. Этим об'ясняется их инстинктивные симпатии ко всем крупным народным ересям. Так, ересь, де-Во распространилась в Богемии уже в двенадцатом веке и секта Братцев в четырнадцатом, и к концу этого века настала очередь для ереси Вяклефа, сочинения которого были переведены на богемский язык, Все эти ереси стучали также и в двери Германии; они даже должны были пересечь ее, чтобы достигнуть Богемии. Но в недрах немецкого народа они не встретили ни малейшего отзвука. Нося в себе семена бунта, они должны были скользить по его непоколебимой верности, не затронув, ее, не будучи даже в силах нарушить его глубокий сон. Напротив того, они нашли благодатную почву в Богемии, народ который порабощенный, но не германизированный, проклинал от всего сердца и это рабство и всю аристократически-буржуазную цивилизацию немцев. Этим об'ясняется, почему на пути религиозного протеста чешский народ должен был на целый век опередить немецкий народ.

Одним из первых появлений этого религиозного движения в Богемии было массовое изгнание всех немецких профессоров Пражского Университета,—ужасное преступление которого немцы никогда не могли простить чешскому народу. И однако, если взглянуть на дело поближе, придется согласиться, что этот народ был тысячу раз прав, изгоняя этих патентованных и угодливых развратителей славянской молодежи. Стоит вспомнить, чем были немецкие профессора —за исключением очень короткого периода около тридцати пяти лет, между 1813 и 1848 годами, когда *тлетворный дух* либерализма и даже французского демократизма проскользнул контрабандой и удержался в немецких университетах, представленный там двадцатью-тридцатью славными учеными, воодушевленными искренним либерализмом; до этого времени они были, а после под влиянием реакции 1849 г. снова стали льстецами всех властвующих, учителями раболепства. Происшедшие из немецкой буржуазии, они добросовестно отражают ее стремление и дух. Их наука есть верное проявление рабского сознания. Это идейное освящение исторического рабства.

Немецкие профессора пятнадцатого века в Праге были по крайней мере столь же низкопоклонны, такие же лакеи, как и профессора нынешней Германии, которые телом и

душою преданы Вильгельму I, свирепому, будущему господину Кнуто-Германской империи. Они были рабски преданы заранее всем императорам, каких благоугодно будет семи апокалиптическим принцам — избирателям Германии дать Священной Германской империи. Им было безразлично, кто бы ни был господином, лишь господин был бы, так как общество без господина — чудовищность, которая необходимо должна возмущать их немецко-буржуазное воображение. Общество без господина было бы ниспровержением германской цивилизации.

Какие же науки преподавали эти немецкие профессора пятнадцатого века? Римско-католическую теологию и кодекс Юстиниана,—два орудия деспотизма. Прибавьте сюда схоластическую философию и притом в такую эпоху, когда она, оказавшая несомнанно в прошлых веках большие услуги освобождению духа, остановилась и как бы застыла в своей чудовищной и педантичной неповоротливости, в которой современная мысль, одушевленная предчувствием, если еще не обладанием живой науки, пробила не одну брешь. Прибавьте сюда еще немножко варварской медицины преподаваемой как и все остальное, на самой варварской латыни, и перед вами весь научный багаж этих профессоров. Стоило ли все это того, чтобы удерживать их? Напротив, было крайне важно, как можно скорее удалить их, ибо помимо того, что они развращали молодежь своим обучением и своим раболепным примером, они были весьма ревносными агентами этого рокового дома Габсбургов, который уже вожделял Богемию в качестве своей добычи.

Ян Гус и Иероним Парижский, его друг и ученик, много содействовали их изгнанию. Поэтому, когда император Сигизмунд, нарушая право неприкосновенности, которое он им обещал, предал их сперва суду Констанского Собора, а затем велел сжечь их обоих, одного в 1415 г., а другого в 1416 г., там, в сердце Германии в присутствии громадного стечения немцев, прибывших издалека, чтобы насладиться зрелищем, не раздался ни один голос, протестующий против этой вероломной и бесчестной жестокости. Нужно было, чтобы прошло еще сто лет для того, чтобы Лютер реабилитировал в Германии память этих двух великих славянских реформаторов и мучеников.

Но, если немецкий народ, вероятно еще спящий и грезящий, оставил без протеста это постыдное преступление, чешский народ протестовал чудовищной революцией. Вели-

кий, грозный Жижка, этот народный герой-мститель, память о ком живет еще, как залог будущего, в недрах богемских деревень, восстал и, во главе своих таборитов, исколесив всю Богемию, сжигал церкви, истреблял священников и сметал всех паразитов, императорских или немецких, что тогда было равнозначуще, ибо все немцы в Богемии были сторонниками императора. После Жижки, явился великий Прокоп, вселявший ужас в сердца немцев. Даже сами буржуа Праги, впрочем бесконечно более умеренные, чем Гуситы деревень, в 1419 году выбрасывали, по старинному обычаю страны, в окна сторонников императора Сигизмунда, когда этот бесчестный клятвопреступник имел наглую циническую смелость заявить себя претендентом на вакантную корону Богемии. Хороший пример, достойный подражания! Так следовало бы поступать, в видах всемирного освобождения, со всеми, кто захотел бы навязать себя народным массам в качестве *оффициальной власти*, под какой бы маской, под каким бы предлогом и под каким бы наименованием это ни было.

В течение семнадцати лет подряд, эти ужасные Табориты, живя друг с другом в братских общинах, побивали все Саксонские, Франконские, Баварские, Рейнские и Австрийские войска, которые император и папа посылали в крестовые походы против них. Они очищали Моравию и Силезию и несли ужас своего оружия в самое сердце Австрии. Они были, наконец, побиты императором Сигизмундом. Почему? Потому что они были ослаблены интрегами и изменой тоже чешской партии, но образованной коалицией туземного дворянства и буржуазии Праги, немцев по воспитанию, положению, идеям и нравам, если не по сердцу, и называвшейся из оппозиции к Таборитам, коммунистам и революционерам,—партией *калистенов*, требующей *мудрых и возможных* реформ, представлявшей одним словом в эту эпоху в Богемии ту самую политику лицемерной умеренности и умелого бессилия, которую так хорошо представляют теперь г.г. Палацкий, Ригер, Браунер и К-о.

Начиная с этой эпохи, народная революция быстро пошла на убыль, уступая место сперва дипломатическому влиянию, а век спустя господству австрийской династии. Политики, умеренные, ловкие, пользуясь победой гнусного Сигизмунда, овладели правительством, как они сделают, вероятно, с Францией, после окончания этой войны и для вящшего несчастья Франции. Они послужат — одни созна-

тельно, и с большой пользой для своих карманов, другие глупо сами, не подозревая того, орудием австрийской политики, как Тьеры, Жюли Фавры, Жюли Симоны, Пикары и много других послужат орудиями в руках Бисмарка. Австрия магнетизировала их и вдохновляла их. Двадцать пять лет спустя после поражения Гусситов Сигизмундом, эти ловкие и осторожные патриоты нанесли последний удар независимости Богемии, разрушив руками своего короля Подебрада город Табор, или скорее военный лагерь Таборитов. Так буржуазные республиканцы Франции восстановляют и еще больше будут восстановлять своего президента или короля против социалистического пролетариата, этого последнего военного лагеря будущего и национального достоинства Франции.

В 1526 году корона Богемии досталась, наконец, австрийской династии, которая уже больше не выпустила ее из своих рук. В 1620 г. после агонии, длившейся немного меньше ста лет, Богемия, преданная мечу и огню, опустошенная, разграбленная, разгромленная и на половину обезлюдевшая, разом потерявшая все, что оставалось у нее от былой самостоятельности, национального существования и политических прав, оказалась закованной под тройным игом императорской администрации, немецкой цивилизации и австрийских Иезуитов. Будем надеяться, для чести и спасения человечества, что с Францией не случится того-же.

В начале второй половины пятнадцатого века немецкая нация представила, наконец, доказательство ума и жизни, и это доказательство, нужно признаться, было блестящим. Она изобрела книгопечатание, и этим путем, созданным ею самою, она вошла в сношения с интеллектуальным движением всей Европы. Ветер Италии, сирокко свободной мысли пахнул на нее, и под этим горячим дыханием растаяло ее варварское безразличие, ее ледяная неподвижность. Германия делается гуманистской и гуманной.

Кроме прессы был еще и другой менее общий и более живой способ сношений. Немецкие путешественники, возвращаясь из Италии к концу этого века, приносили из нее новые идеи, Евангелие человеческого освобождения и пропагандировали его с религиозной страстью. И на этот раз, драгоценное семя не было утеряно. Оно нашло в Германии почву, совсем подготовленную для его восприятия. Эта великая нация, пробужденная к мысли, к жизни, к действию, в свою очередь должна была взять в свои руки управление

умственным движением. Но увы! она оказалась неспособной сохранить его за собой больше двадцати пяти лет.

Следует хорошо различать между движением Возрождения и движением религиозной Реформы. В Германии, первое очень немного предварило лишь второе. Был короткий период между 1517 и 1525 годами, когда эти два движения казались слившимися, хотя они были воодушевлены совершенно противоположным духом. Одно было представлено такими людьми, как Эразм, Рейхлин, благородный героический Ульрих фон-Гуттен, поэт и гениальный мыслитель, ученик Пик-де-Мирандоля и друг Франца фон-Сиккингена, Эколампада и Цвингли, который образовал в некотором роде связь между чисто философским движением Возрождения, чисто религиозным превращением веры благодаря протестантской Реформе и революционным восстанием масс, вызванным первыми проявлениями этой реформы. Другое движение, представленное главным образом Лютером и Меланхтоном, двумя отцами нового религиозного и теологического развития Германии. Первое из этих движений—глубоко гуманитарное стремилось под влиянием философских и литературных работ Эразма, Рейхлина и других к полному освобождению ума и к разрушению грубых верований христианства и, в то же время, благодаря более практической и более героической деятельности Ульриха фон Гуттена, Эколампада и Цвингли оно стремилось к освобождению народных масс от дворянского и княжеского гнета. Между тем, как движение Реформы, фанатически религиозное, теологическое и, как таковое, полное почтения к божественному и презрения к человеческому, суеверное до такой степени, что способно видеть диавола и бросать ему чернильницу в голову,—как это, говорят, случилось с Лютером в Вартбургском Замке, где еще показывают чернильное пятно на стене,—должно было необходимо сделатся непримиримым врагом и свободы ума и свободы народов.

Во всяком случае, как я сказал уже, был момент, когда эти два движения, столь противоположные, должны были в действительности слиться, первое будучи революционным по принципу, второе вынужденное быть таковым по положению вещей. Впрочем в самом Лютере было очевидное противоречие. Как теолог, он был и должен был быть реакционером, но по натуре, по темпераменту, по инстинкту, он был страстным революционером. Он имел натуру человека из народа, и эта могучая натура отнюдь не была соз-

дана, чтобы терпеливо переносить чье бы то ни было иго. Он не хотел склоняться перед Богом, в которого слепо верил, и присутствие и милость которого он, по его мнению, чувствовал в своем сердце. И во имя этого-то Бога *мягкий* Меланхтон ученый теолог и только теолог, его друг, ученик, а в действительности его учитель и укротитель его львиной натуры, сумел окончательно приковать его к реакции.

Первые рыканья этого сурового и великого немца были совершенно революционными. Нельзя в самом деле придумать ничего более революционного, чем его манифесты против Рима; чем ругательства и угрозы, которые он бросал в лицо принцев Германии; чем страстная его полемика против лицемерного и развратного деспота и реформатора Англии, Генриха VIII. С 1517 до 1525 года в Германии только и слышно было, что громовые раскаты этого голоса, который, казалось, призывал немецкий народ к общему обновлению, к революции.

Его призыв был услышан. Крестьяне Германии поднялись с грозным кличем, с кличем социалистов: *Война дворцам, мир хижинам!* который переводится ныне еще более грозным криком: „Долой всех эксплоататоров и всех опекунов человечества; свобода и процветание труду, равенство всех и братство человеческого мира, свободно образованного на развалинах всех государств!“

Это был критический момент для религиозной Реформы и для всей политической судьбы Германии. Если бы Лютер захател встать во главе этого великого народного социалистического движения сельских населений, восставших против их феодальных сеньеров, если бы буржуазия городов поддержала его, все было бы покончено с Империей, деспотизмом принцев и наглостью дворян в Германии. Но для того, чтобы поддержать его, нужно было бы, чтобы Лютер не был теологом, который более озабочен божественной славой, чем человеческим достоинством, и возмущен, что угнетенные люди, рабы, которые должны бы думать лишь о вечном спасении их душ, осмеливаются требовать свою долю человеческого счастья *на этой земле*; нужно было бы также, чтобы буржуа городов Германии не были немецким буржуа.

Раздавленный равнодушием и в весьма значительной части также явной враждебностью городов и теологическими проклятиями Меланхтона и Лютера гораздо более, нежели вооруженной силой сеньеров и принцев, этот грозный бунт крестьян Германии был побежден. Десять лет спустя было

также подавлено другое восстание, последнее, которое было вызвано в Германии религиозной Реформой. Я говорю о попытке мистико-коммунистической организации анабаптистов Мюнстера, столицы Вестфалии. Мюнстер был взят, и Иван Лейденский, анабаптистский пророк, при рукоплесканиях Меланхтона и Лютера был казнен.

Впрочем, уже пять лет перед тем, в 1530 году два теолога Германии наложили печать на все последующее движение их страны, даже религиозное, представив императору и принцам Германии свою Аугсбургскую Исповедь. Эта Исповедь, разом подрезая крылья свободному полету души, отрицая даже ту самую свободу индивидуальной совести, во имя которой возникла Реформация, навязывая им, как абсолютный божественный закон, особый догматизм, под охраной протестантских принцев, признанных естественными покровителями и главами религиозного культа, установила новую оффициальную церковь, которая, будучи более абсолютна, чем даже Римско-католическаб церковь, и столь же раболепна перед земной властью, как Византийская церковь, стала отныне в руках этих протестантских принцев орудием ужасного деспотизма и осудила всю Германию — как протестантскую, так рикошетом и католическую — по меньшей мере на три века самого оскотиневающего рабства,—рабства, которое, увы, даже ныне, как мне кажется, не расположено уступить место свободе*).

Было большим счастьем для Швейцарии, что Страсбургский Собор, управлявшийся в том же году Цвингли и Бюсером, отверг эту конституцию рабства, — конституцию

*) Чтобы убедиться в раболепном духе, характеризующим лютеранскую церковь в Германии даже еще в наши дни, достаточно прочесть формулу декларации или письменной присяги, которую всякий лютеранский священник королевства Пруссии должен подписать и поклясться выполнять прежде, чем вступить в отправление своих обязанностей. Она не превосходит, но, конечно, равняется по раболепству обязательствам, которые налагаются на русское духовенство. Каждый евангелический священник Пруссии приносит присягу быть на всю свою жизнь преданным и покорным слугою своего государя и господина—не Господа Бога, но короля Прусского; всегда тщательно соблюдать его святые приказания и никогда не терять из вида священные интересы Его Величества; насаждать такое же уважение и такое же абсолютное повиновение среди своей паствы и *доносить правительству обо всех стремлениях, обо всех предприятиях, обо всех актах, какие могут быть противны желаниям или интересам правительства.* И подобным рабам доверяют исключительное руководство народными школами Пруссии. Это столь хваленое образование есть следовательно ничто иное, как отравление масс, систематическая пропаганда доктрины рабства (Прим. Бакунина).

якобы религиозную, — и таковою она была на самом деле, ибо во имя Бога она освящала абсолютную власть принцев. Вышедшая почти исключительно из теологической и ученой головы, профессора Меланхтона, под очевидным давлением глубокого, безграничного, непоколебимого раболепного уважения, которое всякий немецкий добропорядочный буржуа и профессор испытывает к личности своих учителей, она была слепо принята немецким народом, *потому что его принцы приняли ее*, — новый симптом не только внешнего, но и внутреннего, исторического рабства, тяготеющего на этом народе.

Эту, впрочем, столь естественную тенденцию протестантских принцев Германии разделить между собою обломки духовной власти папы или сделаться главами Церкви в пределах своих государств, мы находим также и в других протестантских монархических странах, напр. в Англии и в Швеции. Но ни в той, ни в другой ей не удалось восторжествовать над гордым чувством независимости, которое проснулось в народах. В Швеции, Дании и Норвегии народ и особенно крестьянский класс сумел удержать свою свободу и свои права, как против вторжений дворянства, так и против вторжения монархии. В Англии борьба англиканской оффициальной Церкви с свободными церквами пресвитерианцев Шотландии и независимых Англии привела к великой и памятной революции, от которой ведет свое счисление национальное величие Великобритании. Но в Германии столь естественный деспотизм принцев не встретил тех же препятствий. Все прошлое немецкого народа, столь преисполненного мечтами, но столь бедное свободными мыслями и действиями или народной инициативой, было отлито, если можно так выразиться, в форму набожного подчинения и почтительного послушания, покорного и пассивного; он не нашел в себе самом в этот критический момент своей истории ни достаточной энергии и независимости, ни необходимой страсти, чтобы поддержать свою свободу против традиционной и грубой власти своих бесчисленных государей, дворян и принцев. В первый момент энтузиазма он, правда, обнаружил великолепный порыв. Одно время Германия казалась слишком узкой для того, чтобы сдержать ее клокочущую революционную страсть. Но это был лишь один момент, один порыв и как бы временное и искусственное проявление воспаления мозга. Скоро ему нехватило дыхания; и отяжелев, без дыхания и без сил

он рухнул. Тогда, снова обузданный Меланхтоном и Лютером, он спокойно позволил вернуть себя в стойло, под историческое и спасительное иго принцев.

Он видел во сне свободу и пробудился рабом больше, чем когда либо. С тех пор Германия сделалась истинным центром реакции в Европе. Не довольствуясь проповедыванием рабства на собственном примере и посылкой своих принцев, принцесс и дипломатов для введения и пропаганды его во всех странах Европы, она сделала его предметом своих глубоких научных спекуляций. Во всех других странах администрация в самом широком смысле этого слова, как организация бюрократической и фискальной эксплоатации государством народных масс, рассматривается, как искусство,—искусство обуздывать народы, удерживать их в строгой дисциплине и стричь их, не заставляя кричать слишком громко. В Германии это искусство преподается, как наука, во всех университетах. Эта наука могла бы быть названа современной теологией, теологией культа Государства. В этой религии земного абсолютизма государь занимает место Господа Бога, бюрократы занимают место священников, и народ, разумеется, всегда—жертва, приносимая на алтарь государства.

Если правда,—как я в этом глубоко убежден,—что только инстинктом свободы, ненавистью к угнетателям и способностью взбунтоваться против всего, что носит характер эксплоатации и господства в мире, против всякого рода эксплоатации и деспотизма,—проявляется человеческое достоинство германских наций и народов, нужно согласиться что с тех пор, как существует германская нация до 1848 года, одни крестьяне Германии доказали своим бунтом в шестнадцатом веке, что эта нация не абсолютно чужда этому достоинству.

Напротив того, если бы захотели судить о германском народе по делам и проявлением его буржуазии, то пришлось бы сделать заключение, что он предназначен осуществить собой идеал добровольного рабства.

КНУТО-ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
И
СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

ВТОРОЙ ВЫПУСК.

Предисловие.

Под заглавием *„Кнуто-Германская Империя и Социальная Революция, выпуск второй"*, я помещаю, согласно намерениям автора, содержание последних листов (начиная 27-й строчкой 138-го листа) большой рукописи Бакунина (не включая сюда вставки, написанной на листах 286—340, вставки, напечатанной Максом Нетлау в 1-м томе Собрания Сочинений). Это продолжение рукописи должно было быть напечатано благодаря моим стараниям летом 1871 г. и было бы напечатано, если бы имелись материальные средства. Наконец, оно появляется целиком в первоначальной форме теперь на тридцать шесть лет позже, чем надеялся автор.

В заголовке этой части рукописи Бакунин написал: „Исторические софизмы доктринерской школы немецких коммунистов". Но это заглавие не соответствует содержанию этого второго выпуска.

Автор начинает (листы 139—142) провозглашением принципа, „составляющего существенное основание позитивного социализма", а именно, что „факты рождают идеи", и что „из всех фактов экономические явления составляют существенную основу, главное основание. из которого неизбежно вытекают все остальные явления, интеллектуальные и моральные, политические и социальные". Он напоминает что этот принцип „впервые был научно формулирован и развит Карлом Марксом". Бакунин естественно сам подписывается под экономическим материализмом, однако с оговоркой: „Этот принцип, говорит он, глубоко справедлив, когда его рассматривают в правильном освещении, т.-е.— с точки зрения относительной. Но, когда его утверждают абсолютным образом, как единственное основание всех других принципов, как это делает школа немецких коммунистов, он становится совершенно ложным".

Здесь, вместо того. чтобы немедленно приступить к затронутому вопросу, к изложению и опровержению „исто-

рических софизмов“ школы Маркса,—автор прежде всего констатирует, что в прямом противоречии к провозглашенному материалистами принципу находится принцип идеалистов всех школ: идеалисты „протендуют, что идеи господствуют над фактами и производят их“. И во имя материализма, Бакунин нападает на идеалистическую доктрину: „Вне всякого сомнения, идеалисты ошибаются, и одни лишь материалисты правы. Да, факты определяют идеи; да, идеал как выразился Прудон, есть лишь цветок, корнями которому служат материальные условия существования“. Он посвящает листы 149—286 и длинное незаконченное примечание к 286—340 л. предварительному опровержению идеализма в его различных формах: сперва—в форме религиозной, затем в форме, какую ему придал в девятнадцатом веке Виктор Кузен,—эклектизма.

Иногда втечение этой работы Бакунин вспоминает, что вся эта длинная полемика против идеализма есть лишь введение, и что ему придется затем излагать настоящий предмет его работы. Два раза--на листах 213 и 229—он снова упоминает о школе немецких коммунистов, школе „материалистов-доктринеров, которые не сумели отделаться от религии Государства“, как бы для того, чтобы показать что он не потерял из вида своего обещания, данного в начале, опровергнуть „исторические софизмы“. Но рукопись осталась незаконченной и прерывается раньше, чем Бакунин мог закончить свое опровержение идеализма.

Дж. Гильом.

Исторические Софизмы Доктринерской школы немецких коммунистов *).

Не таково мнение доктринерской школы социалистов или скорее государственных коммунистов Германии,—школы, основанной несколько раньше 1848 г. и оказавшей—надо признать это—крупные услуги делу пролетариату не только в Германии, но и в Европе. Это ей главным образом принадлежит великая идея *„Международной Ассоциации работников“*, а также и инициатива ее первого осуществления. Ныне она находится во главе *Социал-Демократической Рабочей Партии* в Германии, имеющей своим органом „Фолькштат“ („Народное Государство“).

Это, следовательно весьма почтенная школа, что не мешает ей по временам **) глубоко заблуждаться; одно из

*) Это заглавие следует в рукописи Бакунина непосредственно за фразой (в конце 138 листа) относительно „немецкой нации“, которой заканчивается первый выпуск: „Если бы наоборот ее хотели судить по фактам и поступкам ее буржуазии, то пришлось бы придти к заключению, что немецкая нация как бы предназначена судьбой к тому, чтобы осуществить идеал добровольного рабства“. Дж. Г.

**) Я знаю кое-что об этом. Вот, уже скоро четыре года, как я подвергаюсь самым постыдным нападкам, самым грязным обвинениям и *) самым бесчестным клеветам со стороны наиболее влиятельных членов из этой научно-революционной клики. Я знаю некоторых из них и имею полное право назвать их этим несколько сильным эпитетом, ибо они позволили себе обвинять меня в различных подлостях,—прекрасно при этом зная, что они лгут.

Не осмелились ли они сказать и напечатать в „Фолькштат“ и даже один раз в парижском „Reveil“, редактируемом г. Делеклюзом, что *я*—русский шпион, или шпион Наполеона III или даже шпион графа фон-Бисмарка, по соглашению с г. фон-Швейцером, признанным вождем другой социалистической партии Германии, с которым я никогда не имел сношений ни лично, ни письменно] самым подлым клеветам со стороны

*) Строки, находящиеся между прямыми скобками, представляют из себя первоначальный незаконченный проект, зачеркнутый самим Бакуниным. Дж. Г.

главных ее ошибок было, то что она приняла за основание своих теорий принцип, глубоко верный, когда его рассматривают в верном освещении, то есть с точки зрения относительной, но который, рассматриваемый и выставленный, вне связи с условиями, как единственное основание и пер-

---

наиболее влиятельных членов этой научно-революционной клики, управляемой из Лондона. Я давно знаком с ее вождями и всегда испытывал большое уважение к их выдающемуся уму, к их реальной, живой, столь же глубокой, как и обширной учености и к их непоколебимой преданности великому делу освобождения пролетариата, которому втечение по меньшей мере двадцати пяти лет подряд,—мне приятно еще раз повторить это,—они не переставали оказывать самые большие услуги. Я следовательно, признаю их во всех отношениях за людей бесконечно почтенных, и никакая несправедливость с их стороны, как бы вопиюща и постыдна она ни была, не заставит меня сделать такую глупость чтобы я стал отрицать полезность и историческую важность как их теоретических трудов, так и их практических работ. К несчастью, как говорится в одной старой пословице, каждая медаль имеет свою оборотную сторону. Эти господа слишком неуживчивы,—они раздражительны, тщеславны, сварливы, как немцы, и,. что еще хуже, как немецкие литераторы, которые отличаются, как известно, полным отсутствием вкуса, уважения к человеку и даже уважения к самим себе; у них всегда полон рот оскорблений, гнусных и вероломных инсинуаций, злобствований исподтишка и самой грязной клеветы против всех, кто имеет несчастие не разделять вполне их мнений, не желать обязательно соглашаться с ними и не быть в состоянии преклоняться перед ними. Я понимаю и нахожу совершенно законным, полезным, необходимым, чтобы люди нападали с большой энергией и страстью не только на противоположные теории, но и на людей, которые их представляют, во всех их публичных и даже частных актах, когда постыдность этих последних должным образом установлена и доказана. Ибо я больше, чем кто либо, враг того чисто буржуазного лицемерия, которое претендует воздвигнуть непреодолимую стену между общественной и личной жизнью человека. Это разделение—пустая фикция, ложь и ложь весьма опасная. Человек есть существо неделимое, цельное и, если в своей частной жизни он негодяй, если в своей семье он тиран, если в социальном отношении он лжец, обманщик, угнетатель и эксплоататор, он должен быть таким же и в своей общественной деятельности; если же он представляется иным, если он старается придать себе видимость либерального демократа или социалиста, влюбленного в справедливость, свободу и равенство, он опять лжет и очевидно должен иметь намерение эксплоатировать массы, как эксплоатирует отдельных личностей. Следовательно, это не только право, но и обязанность сорвать с него маску, обнаружить гнусные факты его частной жизни, *когда относительно их располагают неопровержимыми доказательствами*. Единственное соображение, которое могло бы остановить в этом случае добросовестного и честного человека, это—трудность установить их, трудность, которая бесконечно больше для фактов частной жизни, чем для актов жизни публичной. Но это дело совести, чутья и справедливости того, кто считает долгом предать кого-либо общественному порицанию. Если он делает это не побуждаемый чувством справедливости, но по злобе, из ревности или ненависти, тем хуже для него. Но не должно быть

воисточник всех других принципов (как это делает эта школа), становится совершенно ложным.

Этот принцип, составляющий, впрочем, существенное основание позитивного социализма, был впервые научно формулирован и развит г. Карлом Марксом, главным в...

никому позволено обвинять без доказательств. И чем обвинение серьезнее, тем больше доказательств в подтверждение его должно быть представлено. Следовательно, тот, кто обвиняет другого человека в бесчестности, должен быть рассматриваем сам, как бесчестный, и он действительно таков,—если не подтверждает свой ужасный донос неопровержимыми доказательствами.

После этого необходимого об'яснения, возвращаюсь к моим дорогим и почтеннейшим врагам из Лондона и Лейпцига. Я знаю давно их главных вождей и должен сказать, что мы не всегда были врагами Далеко нет. Мы находились в довольно близких отношениях до 1848 г. Эти отношения могли бы быть гораздо ближе с моей стороны, если бы меня не оттолкнула отрицательная сторона их характера, которая всегда мне мешала отнестись к ним с полным и безграничным доверием. Во всяком случае мы оставались друзьями до 1848 года. В 1848 году я совершил большую ошибку в их глазах, тем, что стал против них на сторону одного знаменитого поэта—почему бы ни назвать его?—г. Георга Гервега, к которому я испытывал глубокую дружбу, и который разошелся с ними в одном политическом деле, в котором, как я думаю ныне и скажу это откровенно,—справедливость, правильная оценка общего положения, была на их стороне. Они напали на него с беззастенчивостью, характеризующею их нападки. Я с жаром защищал его, в его отсутствии лично против них в Кельне. Inde irae (отсюда гнев). Я скоро ощутил это. В Кельнской газете (Die Rheinische Zeitung), которую они издавали в эту пору, появилась корреспонденция из Парижа, написанная с теми подлыми намеками и с тем искусством в ядовитом инсинуировании, секретом которого обладают одни лишь корреспонденты немецких газет.

Корреспондент вложил в уста госпожи Жорж Занд весьма странные и совершенно позорящие слова на мой счет: она будто бы сказала— (я не знаю, и сам корреспондент, конечно, не знал, ни где, ни кому, ни как, ибо он все изобрел, и по всей вероятности—корреспонденция была сфабрикована в Кельне),—что я русский шпион. Мадам Занд благородно, энергично протестовала. Я послал к ним одного друга. Мне хочется думать, что их собственное чувство справедливости и уважение к себе самим больше, чем мое требование об'яснений, и формальный протест г-жи Занд, заставили их напечатать тогда в их газете вполне удовлетворительное опровержение.

Когда в 1861 г. мне удалось благополучно бежать из Сибири и я прибыл в Лондон, первое, что я услышал из уст Герцена, было то, что они воспользовались моим вынужденным отсутствием втечение двенадцати лет (с 1849 по 1861 г.), из которых восемь я провел в различных крепостях—саксонских, австрийских и русских—и четыре в Сибири, для того, чтобы оклеветать меня самым гнусным образом, рассказывая всем и каждому, что я вовсе не был заключен, но, пользуясь полной свободой, и осыпанный всевозможными земными благами, был, напротив того, фаворитом Императора Николая. Мой старый друг, знаменитый польский демократ Ворцель, умерший в Лондоне около 1860 г., и он сам, Герцен,

ждем школы, немецких коммунистов. Он проходит красной нитью через знаменитый „*Коммунистический Манифест*“, выпущенный в 1848 г. международным комитетом французских, английских, бельгийских и немецких коммунистов, собравшихся в Лондоне: „Пролетарии всех стран, соединяй-

---

прилагали все усилия, чтобы защитить меня от этой грязной и клеветнической лжи. Я не искал ссоры с этими господами за все их немецкие любезности, но воздержался от их посещения, вот, и все.

Едва я прибыл в Лондон, как я был приветствуем целой серией статей в маленькой английской газете, написанных или инспирированных очевидно моими дорогими и благородными друзьями, вождями немецких коммунистов, но эти статьи не были никем подписаны. В этих статьях неизвестные авторы осмелились писать, что я мог бежать лишь с помощью русского правительства, которое, создав мне положение эмигранта и мученика за свободу—титул, который я всегда ненавидел, ибо мне претят громкие фразы,—сделало меня более способным оказывать ему услуги, то есть заниматься ремеслом шпиона ему на пользу.

Когда я заявил в другой английской газете автору этих статей, что на подобные низости отвечают не с пером в руках, но рукой без пера, он извинился, уверяя, что никогда не хотел сказать, чтобы я был шпионом на жалованьи, но что я был настолько преданным патриотом всероссийской империи, что „добровольно подвергся всем пыткам тюрьмы и Сибири, чтобы быть в состоянии лучше служить в последствии политике этой империи“. На подобные нелепости очевидно нечего было отвечать. Таково было мнение и великого итальянского патриота Джузеппе Мадзини и моих соотечественников Огарева и Герцена. Чтобы утешить меня, Мадзини и Герцен сказали мне, что и они подвергались подобным же нападкам, вероятно со стороны тех же людей, и что на все такие выпады они всегда отвечали лишь презрительным молчанием.

В декабре 1863 г., когда я пересекал Францию и Швейцарию, чтобы проехать в Италию, одна маленькая Базельская газета, не помню уже какая, напечатала статью, в которой предостерегала против меня всех польских эмигрантов, уверяя, будто я увлек в пропасть многих их соотечественников, всегда однако спасая от гибели мою собственную особу. С 1863 по 1867 г. за все время моего пребывания в Италии немецкие газеты меня постоянно оскорбляли и клеветали на меня. Очень немногие из этих статей достигали до моего сведения,—в Италии мало читают немецкие газеты. Я узнал лишь, что меня продолжают осыпать клеветами и оскорблениями и кончил тем, что стал так же мало обращать внимание на них, как—сказать в скобках—мало обращал внимания на ругань русской прессы по моему адресу.

Многие мои друзья утверждали и утверждают, что клеветники состояли на жаловании у русской дипломатии. В этом нет ничего невозможного, и я тем более должен бы был верить этому, что знаю положительно, что в 1847 году, после произнесенной мною в Париже на одном польском собрании речи против императора Николая, за которую г. Гизо тогдашний министр иностранных дел, выслал меня из Франции по просьбе русского посла Киселева, этот последний, при посредстве самого Гизо, которого он ввел в заблуждение, пытался распространить в польской эмиграции слух о том, что я никто иной, как русский агент. Русское правительство, равно как и его чиновники, не отступают разумеется, ни

тесь!". Этот манифест, составленный, как известно, г.г. Марксом и Энгельсом, сделался основой всех дальнейших научных работ школы и агитационной деятельности, которая велась позднее Фердинандом Лассалем в Германии.

Этот принцип абсолютно противоположен принципу,

перед каким средством, чтобы уничтожить своих, противников. Ложь клевета, всякие бесчестные поступки свойственны их природе, и когда они употребляют эти средства, они лишь пользуются своим неопровержимым правом оффициальных представителей всего, что только есть гнусного на свете, не хуже впрочим патриотической, буржуазной, дворянской оффициозной, оффициальной Германии, которая ныне,—должен смиренно признать это—поднялась до политического, морального и гуманного уровня императора всея России.

Однако, говоря откровенно, я не думаю, чтобы кто-либо из моих клеветников — хотя и столь мало почтенных, ибо клевета гнусное ремесло,—чтобы кто-либо из них, или по меньшей мере, главные из них когда-либо, по крайней мере сознательно, находились в сношениях с русской дипломатией. Они вдохновлялись главным образом своею глупостью и злобностью, вот и все. И если и было постороннее внушение, так оно исходило не из С.-Петербурга, но из Лондона. Это—все они, мои добрые друзья, вожди немецких коммунистов, законодатели будущего общества, которые оставаясь сами среди Лондонских туманов, на подобие Моисея в облаках Синая, наслали на меня, словно стаю шавок, целую толпу русских и немецких еврейчиков, из кои одни глупее и грязнее других.

Теперь оставляя в стороне шавок, еврейчиков и всех этих жалких людей я перехожу к пунктам обвинения, которые они выставили против меня:

1. Они осмеливались напечатать в одной газете, впрочем весьма честной, весьма серьезной, но которая в этом случае не оправдала своей частности и серьезности, сделавшись орговом подлой и глупой диффамации, в „Фолькштат", что Герцен и я, будто бы мы оба — панславистские агенты и получаем крупные суммы денег от панславистского комитета в Москве, учреждееного русским правительством. Герцен был миллионер. Что же касается меня, все мои друзья, все мои добрые знакомые, а их число довольно велико, знают очень хорошо, что я живу в тяжелой бедности. Эта клевета слишком низка, слишком глупа, я оставляю ее без внимания.

2. Они обвинили меня в панславизме и, чтобы доказать мое преступление, цитировали одну брошюру, изданную мною в Лейпциге, в конце 1848 года, брошюру, в которой я старался доказать славянам, что вместо того, чтобы ожидать своего освобождения от Всероссийской Империи, они могли ожидать его лишь от ее совершенного разрушения, ибо эта империя есть ничто иное, как отделение немецкой империи, как гнусное господство немцев над славянами. „Горе вам, говорил я им, если вы расчитываете на эту императорскую Россию, на эту татарскую и немецкую империю, которая никогда не имела ничего славянского. Она поглотит вас и будет мучить вас, как она делает это с Польшей, как она делает это со всеми русскими народами, заключенными в ее недрах Правда, что в этой брошюре я осмелился сказать, что разрушение Австрийской империи и Прусской монархии было так же необходимо для

признаваемому идеалистами всех школ. В то время, как идеалисты выводят всю историю,—включая сюда и развитие материальных интересов и различные ступени экономической организации общества из развития идей, немецкие коммунисты, напротив того, во всей человеческой исто-

---

торжества демократии, как и разрушение империи царя, и вот чего немцы, даже демократы-социалисты Германии, никогда не могли мне простить.

Я прибавил еще в той же самой брошюре: „Остерегайтесь национальных страстей, которые стараются оживить в ваших сердцах. Во имя этой Австрийской Монархии, которая никогда не делала ничего иного, кроме угнетения наций подверженных ее игу, вам говорят теперь о ваших национальных правах, С какой целью? Да для того, чтобы раздавить свободу народов, разжигая братоубийственную войну между ними. Хотят порвать революционную солидарность, которая должна об'единить их, которая составляет их силу, самое условие их одновременного освобождения, поднимая их одних против других во имя узкого патриотизма. Дайте же руку демократам, социалистам-революционерам Германии, Венгрии, Италии, Франции:—ненавидьте лишь ваших вечных угнетателей, привилегированные классы всех наций, но об'единитесь сердцем и действием с их жертвами, с народами".

Таков был дух и содержание этой брошюры, в которой эти господа вздумали искать доказательств моего панславизма. Это не только низко, это глупо. Но более низко, чем глупо, то, что имея эту брошюру перед глазами, они цитировали из нее отрывки, разумеется искаженные и переделанные, но ни одного из тех слов, коими я клеймил и проклинал русскую Империю, заклиная славянские народы остерегаться ее. А между тем брошюра переполнена темими фразами. Это может служить мерилом честности этих господ.

Признаюсь, что сначала, когда я читал статьи, говорившие о моем столь хорошо как видите, доказанном этой брошюрой пансловизме, я был поражен. Я не понимал, как можно было так далеко зайти в бесчестности. Теперь я начинаю понимать. Эти статьи продиктованы не только очевидной недобросовестностью автора, это было еще родом национальной и патриотической наивности, очень глупой, но весьма заурядной в Германии. Немцы так много и так хорошо мечтали посреди своего исторического рабства, что кончили очень наивным отождествлением своей национальности с человечеством, так что в их мнении ненавидеть немецкое господство, презирать их цивилизацию добровольных рабов, значит быть врагом человеческого прогресса. Панслависты в их глазах все славяне, которые с отвращением и гневом отвергают эту цивилизацию, которую им хотят навязать.

Если таков смысл, который они приписывают слову панславизм,— о! тогда я панславист и от всего сердца! Ибо поистине, мало есть на свете вещей, которые я ненавидел бы так глубоко, как это бесчестное господство и как эту буржуазию, дворянскую, бюрократическую, военную и политическую цивилизацию немцев. Я всегда буду продолжать проповедывать славянам во имя мирового освобождения народных масс мир, братство, действие и организацию, солидарную с пролетариатом Германии, но не иначе, как на развалинах этого господства и этой цивилизации и с единственною целью разрушения всех империй, славянских и немецких. (Примечание Бакунина).

рии, в самых идеальных проявлениях как коллективной, так и индивидуальной жизни человечества, во всяком интеллектуальном, моральном, религиозном, метафизическом, научном, художественном, политическом, юридическом и социальном развитии, имевших место в прошлом и происходящих в настоящем, видели лишь отражение или неизбежное последствие развития экономических явлений. Между тем как идеалисты утверждают, что идеи господствуют над явлениями и производят их, коммунисты наоборот в полном согласии с научным материализмом утверждают, что явления порождают идеи, и что идеи всегда суть лишь идеальное отражение совершившихся явлений; что из общей суммы всех явлений явления экономические, материальные, явления в точном смысле слова представляют собою настоящую базу, главное основание; всякие же другие явления—интеллектуальные и моральные, политические и социальные, лишь необходимо вытекают из них *).

Кто прав, идеалисты или материалисты? Раз вопрос ставится таким образом, колебание становится невозможным. Вне всякого сомнения, идеалисты заблуждаются, а материалисты правы. Да, факты господствуют над идеями; да, идеал, как выразился Прудон, есть лишь цветок, материальные условия существования которого представляют его корень. Да вся интеллектуальная и моральная, политическая и социальная история человечества есть лишь отражение его экономической истории.

Все отрасли современной сознательной и серьезной науки приходят к провозглашению этой великой основной и решительной истины: да, общественный мир, мир чисто-человеческий, одним словом человечество есть ничто иное, как последнее совершеннейшее—для нас, по крайней мере и применительно к нашей планете,—развитие, наивысшее проявление животного начала. Но, как всякое развитие неизбежно влечет за собой отрицание своей основы или исходной точки, человечество есть в то же время все возростающее отрицание животного начала в людях. И именно это отрицание, столь же разумное, как естественное, и разумное, именно потому лишь, что естественное,—в одно и то же время и историческое и логическое, роковым образом неизбежное, как и всякое развитие и осуществление

*) Здесь начинается отрывок рукописи, изданной Элизэ Реклю и Кафиэро в виде брошюры под заглавием: „Бог и Государство“.

всех естественных законов мира,—оно то и составляет и создает идеал, мир интеллектуальных и моральных условностей, идей.

Да, наши первые предки, наши Адамы и Евы, были если не гориллы, то по меньшей мере очень близкие родичи гориллы, всеядные, умные и жестокие животные, одаренные в неизмеримо большей степени, чем животные всех других видов, двумя ценными способностями: *способностью мыслить* и *способностью, потребностью бунта*.

Эти две способности, все возрастая на протяжении истории, представляют собственно „момент“ *), сторону, отрицательную силу в позитивном развитии животного начала в человеке и создают следовательно все то, что является человеческим в человеке.

Библия очень интересная и порою очень глубокая книга, когда ее рассматривают, как одно из древнейших дошедших до нас проявлений человеческой мудрости и фантазии, весьма наивно выражает эту истину в мифе о первородном грехе. Иегова, несомненно самый ревнивый, самый тщеславный, самый жестокий, самый несправедливый, кровожадный, самый большой деспот и самый сильный враг человеческого достоинства и свободы из всех богов, какому когда либо поклонялись люди, создав неизвестно по какому капризу,—вероятно, чтобы было чем развлечься от скуки, которая должна быть ужасна в его вечном эгоистическом одиночестве, или для того, чтобы обзавестись новыми рабами —Адама и Еву, великодушно предоставил в их распоряжение всю землю со всеми ее плодами и животными, и поставил лишь одно ограничение полному пользованию этими благами.

Он строго запретил им касаться плодов древа познания. Он хотел следовательно, чтобы человек, лишенный самосознания, оставался вечно животным, ползающим на четверинках перед вечным Богом, его Создателем и Господином. Но, вот, появляется Сатана, вечный бунтовщик, первый свободный мыслитель и эмансипатор миров. Он пристыдил человека за его невежество и скотскую покорность: он эмансипировал его и наложил на его лоб печать свободы и человечности, толкая его к непослушанию и вкушению плода науки.

---

*) „Момент“ здесь является синонимом „фактора“, как в выражении „психологический момент“. Дж. Г.

Остальное всем известно. Господь Бог, предвидение которого, составляющее одну из божественных способностей, должно бы было однако уведомить его о том, что должно произойти, предался ужасному и смешному бешенству, он проклял Сатану, человека и весь мир, созданные им самим, поражая, так сказать, себя самого в своем собственном творении, как это делают дети, когда приходят в гнев. И не довольствуясь наказанием наших предков в настоящем, он проклял их во всех их грядущих поколениях, неповинных в преступлении, совершенном их предками. Наши католические и протестанские теологи находят это очень глубоким и очень справедливым именно потому, что это чудовищно несправедливо и нелепо! Затем вспомнив, что он не только Бог мести и гнева, но еще и Бог любви, после того как он исковеркал существование нескольких миллиардов несчастных человеческих существ и осудил их на вечный ад, он проникся жалостью к остальным и, чтобы спасти их, чтобы примирить свою вечную божественную любовь со своим вечным и божественным гневом, всегда падким до жертв и крови, он послал в мир в виде искупительной жертвы своего единственного сына, чтобы он был убит людьми. Это называется тайной искупления лежащей в основе всех христианских религий. И еще если бы божественный Спаситель спас человечество! Нет! В раю обещанном Христом,—это известно, ибо об'явлено формально,—будет лишь очень немного избранных. Остальные безконечное большинство поколений нынешних и грядущих, будут вечно жариться в аду. В ожидании, чтобы утешить нас, Бог, всегда справедливый, всегда добрый, отдал землю правительствам Наполеонов III, Вильгельмов I, Фердинандов Австрийских и Александров Всероссийских.

Таковы нелепые сказки, преподносимые нам, и таковы чудовищные доктрины, которым обучают в самый расцвет девятнадцатого века во всех народных школах Европы, по специальному приказу правительств. Это называют—цивилизовать народы! Не очевидно ли, что все эти правительства суть систематические отравители, заинтересованные отупители народных масс?

Меня охватывает гнев всякий раз, когда я думаю о тех подлых и преступных средствах, которые употребляют, чтобы удержать нации в вечном рабстве, чтобы быть в состоянии лучше стричь их, и это отвлекло меня далеко в сторону. Ибо что в самом деле преступления всех Тропманов мира

в сравнении с теми оскорблениями человечества, которые ежедневно средь бела дня на всем пространстве цивилизованного мира совершаются теми самыми, кто осмеливается называть себя опекунами и отцами народов?

Возвращаюсь к мифу о первородном грехе.

Бог подтвердил, что Сатана был прав, и признал, что дьявол не обманул Адама и Еву, обещая им науку и свободу в награду за акт неповиновения, совершить который он соблазнил их. Ибо едва они с'ели запрещенный плод, как Бог сказал сам себе (см. Библию): „Вот человек сделался подобен одному из Нас, он знает добро и зло. Помешаем же ему с'есть плод древа жизни, дабы он не стал бессмертным, как Мы".

Оставим теперь в стороне сказочную сторону этого мифа и рассмотрим его истинный смысл. Смысл его очень ясен. Человек эмансипировался, он отделался от животности и стал человеком. Он начал историю и свое чисто-человеческое развитие актом непослушания и науки, то-есть *бунтом* и *мыслью*.

---

*) Три элемента, или, если угодно, три основных принципа составляют существенные условия всякого человеческого развития в истории, как индивидуального, так и коллективного: 1) *человеческая животность*, 2) *мысль* и 3) *бунт*. Первому соответствует собственно *социальная и частная экономия*, второму—*наука*; третьему—*свобода* **).

Идеалисты всех школ, аристократы и буржуа, теологи и метафизики, политики и моралисты, духовенство, философы или поэты—не считая либеральных экономистов, как известно ярых поклонников идеала—весьма оскорбляются, когда им говорят, что человек со всем своим великолепным умом своими высокими идеями и своими бесконечными стремлениями есть — как и все, существующее в мире, — ни что иное, как материя, ничто иное, как продукт этой *грубой материи*.

---

*) Этот и два следующих абзаца были извлечены издателями „Бога и Государства" из того места, которое они занимают в рукописи, и перенесены в начало брошюры.

**) Читатель найдет более полное развитие этих трех принципов в *Приложении* в конце этой книги под заглавием: *Философские соображения относительно божественного призрака, реального мира и человека.* (Примечание Бакунина).

Мы могли бы ответить им, что материя, о которой говорят материалисты, — стремительная, вечно подвижная, деятельная и плодотворная; материя с определенными химическими или органическими качествами и проявляющаяся механическими, физическими животными или интеллектуальными свойствами или силами, которые ей неизбежно присущи, что эта материя не имеет ничего общего *с презренной материей* идеалистов. Эта последняя, продукт их ложного отвлечения, действительно нечто тупое, неодушевленное, неподвижное, неспособное произвести ни малейшей вещи, *caput mortuum, презренный* вымысел, противоположный тому *прекрасному* вымыслу, который они называют *Богом*, высшим существом, в сравнении с которым материя в их понимании лишенная ими самими всего, того, что составляет ее истинную природу, неизбежно представляет собою высшее небытие. Они отняли у материи ум, жизнь, все определяющие качества, действительные отношения или силы, самое движение, без коего материя не была бы даже весомой, оставив ей лишь абсолютную непроницаемость и неподвижность в пространстве. Они приписали все эти силы качества и естественные проявления воображаемому Существу, созданному их отвлеченной фантазией; затем, переменив роли, они назвали этот продукт их воображения, этот призрак, этого Бога, который есть ничто, „Высшим Существом". И в виде неизбежного следствия, они об'явили, что все реальное существующее, материя, мир—ничто. После того они с важностью говорят нам, что эта материя неспособна ничего произвести, ни даже придти сама собою в движение, и что, следовательно, она должна была быть создана их Богом.

*) В приложении, в конце этой книги я вывел на чистую воду поистине возмутительные нелепости, к которым неизбежно приводит представление о Боге, как личном создателе и руководителе мира, или безличном, рассматриваемом как род божественной души, разлитой во всем мире, вечный принцип коего она таким образом составляет; или даже, как бесконечной божественной мысли, вечно присущей и действующей в мире и проявляющейся всегда во всей совокупности материальных и законченных существ.

Здесь я ограничусь указанием лишь на один пункт.

---

*) Этот абзац был исключен издателями „Бога и Государства"
Дж. Г.

*) Совершенно понятно последовательное развитие материального мира, точно также как и органической животной жизни и исторического прогресса человеческого ума, как индивидуального, так и социального в этом мире. Это вполне естественное движение от простого к сложному, снизу вверх или от низшего к высшему; движение согласное со всем нашим ежедневным опытом и, следовательно, согласное также с нашей естественной логикой, с самыми законами нашего ума, который формируется и развивается лишь с помощью этого самого опыта, есть ничто иное, как, так сказать, его мысленное, мозговое, воспроизведение или логический вывод из него.

Система идеалистов представляет собою совершенную противоположность этому. Она есть абсолютное извращение всякого человеческого опыта и всемирного и всеобщего здравого смысла, который есть необходимое условие всякого соглашения между людьми, и который, восходя от той столь простой и столь же единодушно признанной истины, что дважды два—четыре, к самым высшим и сложным научным положениям, не допуская притом ничего, что не подтверждается строго опытом или наблюдением предметов или явлений, составляет единственную серьезную основу человеческих знаний.

Вместо того, чтобы следовать естественным путем снизу вверх, от низшего к высшему, и от сравнительно простого к более сложному, вместо того, чтобы умно, рационально проследить прогрессивное и реальное движение мира, называемого неорганическим в мире органическом, растительном—затем животном, и наконец—специально человеческом; химической материи или химического существа в живой материи или в живом существе, и живого существа в существе мыслящем, идеалистические мыслители, одержимые, ослепленные и толкаемые божественным призраком, унаследованным ими от теологии, следуют совершенно противоположным путем. Они идут сверху вниз, от высшего к низшему, от сложного к простому. Они начинают Богом, представленным в виде личного существа или в виде божественной субстанции или идеи, и первый же шаг, который они делают, является страшным падением из высших вершин вечного идеала в грязь материального мира; от абсо-

*) Этот абзац издателями „Бога и Государства“ помещен после следующего за ним. Дж. Г.

лютного совершенства к абсолютному несовершенству; от мысли о бытии, или скорее от высшего бытия к небытию. Когда, как и почему божественное, вечное, бесконечное существо, абсолютное совершенство, вероятно надоевшее самому себе, решилось на это отчаянное Salto mortale (смертельный прыжок), этого ни один идеалист, ни один теолог, метафизик или поэт никогда сами не могли понять, а тем более об'яснить профанам. Все религии прошлого и настоящего и все трансцендентные философские системы вертятся вокруг этой единственной и безнравственной тайны *).

Святые люди, боговдохновенные законодатели, пророки Мессии искали в ней жизнь и нашли лишь пытки и смерть. Подобно древнему сфинксу она пожрала их, ибо они не сумели об'яснить ее. Великие философы от Гераклита и Платона до Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, не говоря уже об индийских философах, написали горы томов и создали столь же остроумные, как и возвышенные системы, в которых они мимоходом высказали много прекрасных и великих вещей и открыли бессмертные истины, но оставили эту тайну, главный предмет их трансцендентных изысканий, столь же непроницаемой, какою она была и до них. Но раз гигантские усилия самых удивительных гениев, которых знает мир, и которые в течение по меньшей мере тридцати веков всякий раз заново предпринимали этот Сизифов труд, привели лишь к тому, чтобы сделать эту тайну еще более непонятной, можем ли мы надеяться, что она будет нам раскрыта теперь глупой диалектикой какого-нибудь узколобого ученика искусственно подогретой метафизики, и это в эпоху, когда живые и серьезные умы отвернулись от этой двусмысленной науки, вытекшей из сделки, исторически, разумеется, вполне об'яснимой, между неразумием веры и здравым научным разумом.

Очевидно, что эта ужасная тайна необ'яснима, то есть, что она нелепа, ибо одну только нелепость нельзя об'яснить. Очевидно, что, если кто-либо ради своего счастья или жи-

---

*) Я называю ее „безнравственной", ибо, как мне думается, я доказал в упомянутом уже приложении, что эта тайна была и продолжает еще быть освящением всех ужасов, совершенных и совершаемых в человеческом мире. И я называю ее единственной (игра слов: unique inique), ибо все другие богословские и метафизические нелепости, отделяющие человеческий ум, суть лишь ее неизбежные последствия. (Примечание Бакунина).

зни стремится к ней, тот должен отказаться от своего разума, и обратившись, если может, к наивной, слепой грубой вере, повторить с Тертуллианом и всеми искренно верующими слова, которые резюмируют самую сущность теологии *credo quia absurdum* *).

Тогда всякие споры прекращаются, и остается лишь торжествующая глупость веры. Но тогда сейчас же рождается другой вопрос: *Как может в интеллигентном и образованном человеке родиться потребность верить в эту тайну?*

Нет ничего более естественного, как то, что вера в Бога, Творца, руководителя, судьи, учителя, проклинателя, спасителя и благодетеля мира, сохранилась в народе и особенно среди сельского населения гораздо больше, чем среди городского пролетариата. Народ к несчастью еще слишком невежествен. И он удерживается в своем невежестве систематическими усилиями всех правительств, считающих не без основания невежество одним из самых существенных условий своего собственного могущества.

Подавленный своим ежедневным трудом, лишенный досугов, умственных занятий, чтения, словом почти всех средств и влияний, развивающих мысль человека, народ чаще всего принимает без критики и гуртом религиозные традиции, которые с детства окружают его во всех обстоятельствах жизни, искусственно поддерживаются в его среде толпой оффициальных отравителей всякого рода, духовных и светских, и превращаются у него в род умственной и нравственной привычки, слишком часто более могущественной, чем его естественно-здравый смысл.

Есть и другая причина, об‘ясняющая и в некотором роде узаконивающая нелепые верования народа. Эта причина—жалкое положение, на которое народ фатально обречен экономической организацией общества в наиболее цивилизованных странах Европы.

Сведенный в интеллектуальном и моральном, равно как и в материальном отношении, к минимуму человеческого существования, заключенный в условиях своей жизни как узник в тюрьму без горизонта, без исхода, даже без будущего, если верить экономистам, народ должен был бы иметь чрезвычайно узкую душу и плоский инстинкт буржуа

*) „Верю, потому, что это нелепо“ то есть: так как это нелепо и не может мне быть *доказано* разумом, я вынужден, чтобы быть христианином, *верить* в силу добродетели веры“. Дж. *Г.*

чтобы не испытывать потребности выйти из этого положения Но для этого у него есть лишь три средства, из коих два мнимых и одно действительное. Два первых это—кабак и церковь, разврат тела и разврат души. Третье—социальная революция.

Отсюда я заключаю, что только эта последняя—по крайней мере в гораздо большей степени, чем всякая теоретическая пропаганда свободных мыслителей,—будет способна вытравить последние следы религиозных верований и развратные привычки народа,—верования и привычки, гораздо более тесно связанные между собою, чем это обыкновенно думают. И заменяя эти призрачные и в то же время грубые радости этого телесного и духовного разврата тонкими, но реальными радостями осуществленной полностью в каждом и во всех человечности, одна лишь социальная революция будет обладать силой закрыть в одно и то же время и все кабаки и все церкви.

До тех пор народ, взятый в массе, будет верить, и если у него и нет разумного основания, он имеет по крайней мере право на это.

Есть разряд людей, которые, если и не верят, должны по крайней мере, казаться верующими. Все мучители, все угнетатели и все эксплоататоры человечества, священники монархи, государственные люди, военные, общественные и частные финансисты, чиновники всех сортов, жандармы, тюремщики и палачи, монополисты, капиталисты, ростовщики, предприниматели и собственники, адвокаты, экономисты, политиканы всех цветов, до последнего бакалейщика,—все в один голос повторят слова Вольтера:

„Если бы Бог не существовал, его надо было бы изобрести".

Ибо вы понимаете, для народа необходима религия. Это—предохранительный клапан.

Существует, наконец, довольно многочисленная категория честных, но слабых душ, которые, будучи слишком интеллигентными, чтобы принимать в серьез христианские догмы, отбрасывают их по частям, но ни имеют ни мужества, ни силы, ни необходимой решимости, чтобы отвергнуть их полностью. Они предоставляют вашей критике все особенные нелепости религии, они отворачиваются от чудес, но с отчаянием цепляются за главную нелепость, источник всех других, за чудо, которое об'ясняет и узаконивает все другие чудеса,—за существование Бога. Их Бог—отнюдь не силь-

ное и мощное существо, не грубо позитивный Бог теологии. Это—существо туманное, прозрачное, призрачное, до такой степени призрачное, что, когда его готовы схватить, оно превращается в ничто. Это—мираж, блуждающий огонек, не светящий и не греющий. И однако они держатся за него и верят, что, если он исчезнет, все исчезнет с ним. Это души недвижимые, болезненные, выбитые из колеи современной цивилизации, не принадлежащие ни к настоящему, ни к будущему, бледные призраки, вечно висящие между небом и землей и занимающие совершенно такую же позицию между буржуазной политикой и социализмом пролетариата. Они не чувствуют в себе силы ни мыслить до конца ни хотеть, ни решиться и теряют свое время, вечно пытаясь примирить непримиримое. В общественной жизни они называются буржуазными социалистами.

Ни с ними, ни против них невозможен никакой спор. Они слишком слабы.

Но есть небольшое количество знаменитых людей, о которых никто не осмелится говорить без уважения, и в чьих полном здоровьи, силе ума и искренности никто не вздумает усомниться. Достаточно назвать имена Мадзини, Мишлэ, Кинэ, Джона Стюарта Милля *). Благородные и сильные души, великие сердца, великие умы, великие писатели, а Мадзини еще и героический и революционный возродитель великой нации, они все—апостолы идеализма и страстные противники, презирающие материализм, а следовательно и социализм, как в философии, так и в политике.

Следовательно, нужно обсуждать этот вопрос против них.

Отметим прежде всего, что ни один из поименованных мною великих людей, и вообще ни один другой сколько-нибудь выдающийся идеалистический мыслитель наших дней не заботится о собственно логической стороне этого вопроса. Ни один ни попытался философски разрешить возможность божественного *сальто мортале* из вечных и чистых областей духа в грязь материального мира. Побоя-

*) Стюарт Милль, быть может, единственный из их числа, в серьезности идеализма которого можно усомниться по двум причинам: во первых, он страстный поклонник, приверженец позитивной философии Огюста Конта, философии, которая, несмотря на многочисленные умышленные недоговоренности, действительно атеистична, во вторых Стюарт Милль—англичанин, а в Англии заявить себя теистом значило бы еще и поныне поставить себя вне общества.

лись ли они затронуть это неразрешимое противоречие и отчаялись разрешить его после того, как величайшие гении истории не успели в этом, или же они считают его уже в достаточной мере решенным? Это их тайна. Факт тот, что они оставили в стороне теоретическое доказательство существования Бога и развили лишь практические причины и следствие его. Они все говорили о нем, как о факте всемирно признанном и, как таковом, не могущем более быть предметом какого-либо сомнения, ограничиваясь вместо всяких доказательств, констатированием древности и этой самой всеобщности веры в Бога.

Это внушительное единодушие по мнению многих знаменитых людей и писателей (назовем лишь наиболее известных), по красноречивому мнению Жозефа де Мэстра и великого итальянского патриота Джузеппе Мадзини, стоит больше, чем все научные доказательства; а если логика небольшого числа последовательных, весьма серьезных, но не популярных мыслителей противна этой общепризнанной истине, тем хуже, говорят они, для этих мыслителей и для их логики, ибо всеобщее согласие, всемирное и древнее принятие какой-либо идеи во все времена признавалось наиболее неоспоримым доказательством ее истинности. Чувство всех, убеждение, которое находится и держится всегда и повсюду, не может обманывать. Оно должно иметь свои корни в абсолютно присущей необходимости самой природы человека. А так как было констатировано, что все народы прошлого и настоящего верили и верят в существование Бога, очевидно, что те, кто имеет несчастие сомневаться в нем, какова бы ни была логика, вовлекшая их в это сомнение, суть существа ненормальные, чудовища.

Итак—*древность* и *всемирность* верования является, вопреки всякой науки и всякой логики, достаточным и непререкаемым доказательством его истинности. Почему же?

До века Коперника и Галилея все верили, что солнце вертится вокруг земли. Разве они не ошибались?

Есть ли что древнее и распространеннее рабства? Может быть, людоедство. С образования исторического общества и до наших дней всегда и везде была эксплоатация вынужденного труда масс, рабов, крепостных или наемников каким-либо господствующим меньшинством, угнетение народов Церковью и Государством. Нужно ли заключать из этого, что эксплоатация и угнетение есть необходимость, абсолютно присущая самому существованию общества? Вот

примеры, доказывающие, что аргументация адвокатов Господа Бога ничего не доказывает.

В самом деле, нет ничего столь всеобщего и столь древнего, как несправедливость и нелепость; напротив, истина и справедливость в развитии человеческих обществ наименее распространены, наиболее молоды. Это об'ясняет также и постоянное историческое явление неслыханных преследований, которым первые провозгласившие истину и справедливость подвергались и подвергаются со стороны оффициальных, дипломированных представителей, заинтересованных во „всеобщих“ и „древних“ верованиях, и часто со стороны тех самых народных масс, которые, замучив проповедников истины, всегда кончали тем, что потом принимали и приводили к торжеству их идеи.

В этом историческом явлении нет ничего, чтобы удивляло и устрашало нас, материалистов и социалистов-революционеров.

Сильные нашим сознанием, нашей любовью к истине, во что бы то ни стало, этой логической страстью, которая сама по себе является великой силой, и вне которой нет мысли; сильные нашей страстью к справедливости и нашей непоколебимой верой в торжество человечности над всем зверским в теории и практике; сильные, наконец, доверием и взаимной поддержкой, которую оказывают друг другу небольшое число разделяющих наши убеждения, мы миримся с этим историческим явлением, в котором мы видим проявление социального закона, столь же естественного, столь же необходимого и столь же неизменного, как и все другие законы, правящие миром.

Этот закон есть логическое, неизбежное следствие *животного происхождения* человеческого общества. А перед лицом всех, научных, физиологических, психологических, исторических доказательств, накопленных в наши дни, точно также, как и перед лицом подвигов немцев, завоевателей Франции‘ дающих ныне такое блестящее доказательство этого, положительно нельзя более сомневаться в действительности такого происхождения. Но с того момента, как мы примем животное происхождение человека, все об'ясняется. История предстает тогда перед нами, как революционное отрицание прошлого,—то медленное, апатическое, сонное, то страстное и мощное. Именно в прогрессивном отрицании первобытной животности человека, в развитии его человечности она и состоит. Человек, хищное животное

двоюродный брат гориллы, вышел из глубокой ночи животного инстинкта, чтобы придти к свету ума, что и об'ясняет совершенно естественно все былые заблуждения и утешает нас отчасти в нынешних ошибках.

Он вышел из животного рабства, и пройдя через божественное рабство, переходный этап между его животностью и человечностью, идет ныне к завоеванию и осуществлению своей человеческой свободы. Отсюда следует, что древность верования, какой нибудь идеи, далеко не является доказательством в их пользу и, напротив, должна сделать нас подозрительными. Ибо позади нас наша животность, а перед нами наша человечность, а свет человечности только один может нас согреть и осветить, только он может освободить нас, сделать достойными, свободными, счастливыми и осуществить братство среди нас,—он никогда не находится в начале, но по отношению к эпохе, в которой живут всегда в конце истории. Не будем же смотреть назад, будем всегда смотреть вперед, ибо впереди наше солнце и наше спасение. И если позволительно, если даже полезно и необходимо оглянуться ради изучения нашего прошлого, так это нужно лишь для того, чтобы констатировать, чем мы были, и чем мы не должны более быть; во что мы верили, и что думали, и во что мы не должны больше верить, чего не должны больше думать; что мы делали и чего не должны больше никогда делать.

Это относительно *древности*. Что же касается *всемирности* какого-нибудь заблуждения, то это доказывает лишь одно: сходство,если не совершенное тождество человеческой природы во все времена и во всех странах. И раз установлено, что все народы во все эпохи их жизни верили и верят еще в Бога, мы должны лишь заключить, что божественная идея, исходящая из нас самих, есть заблуждение, историческая необходимость в развитии человечества, и спросить себя, почему и как она произошла в истории, почему громадное большинство человеческого рода принимает ее еще и ныне за истину?

Пока мы не будем в состоянии отдать себе отчет, каким путем идея сверхестественного или божественного мира возникла и должна была фатально возникнуть в историческом развитии человеческого сознания, мы никогда не сможем разрушить ее во мнении большинства, как бы мы ни были научно убеждены в нелепости этой идеи. Ибо мы никогда не сможем поразить ее в самых глубинах человеческого

существа, где она родилась, и осужденные на бесплодную борьбу без исхода и без конца, мы будем всегда вынуждены поражать ее лишь на поверхности в ее безчисленных проявлениях, в которых нелепость, едва пораженная ударами здравого смысла, сейчас же возродится в новой и не менее бессмысленной форме. Пока корень всех нелепостей, терзающих мир, вера в Бога остается нетронутой, она никогда не перестанет давать новые ростки. Так в наши дни в некоторых кругах высшего общества спиритизм стремится утвердится на развалинах христианства.

Не только в интересах масс, но и в интересах нашего собственного здравого смысла, мы должны постараться понять историческое происхождение идеи Бога, преемственность причин, развивших и породивших эту идею в сознании людей. Сколько бы мы не говорили и ни думали, что мы атеисты, пока мы не поймем этих причин, мы дадим господствовать над нами в большей или в меньшей степени голосу этого всеобщего сознания, тайну которого мы не познали, и в виду естественной слабости даже самого сильного индивида перед всемогущим влиянием окружающей его социальной среды мы всегда будем рисковать рано или поздно вновь впасть тем или иным способом в бездну религиозной нелепости, Примеры этих последних обращений часты в современном обществе.

Я указал на главную практическую причину могущества, которое имеют еще и ныне религиозные верования над массами. Не столько мистические склонности, сколько глубокое недовольство сердца вызывает у них это заблуждение ума,—это инстинктивный и страстный протест человеческого существа против узости, плоскости, страданий и стыда жалкого существования. Против этой болезни, сказал я, есть лишь одно средство: социальная революция.

В приложении я постарался изложить причины, которые обусловливали рождение и историческое развитие религиозных галлюцинаций в сознании человека. Здесь я хочу обсуждать вопрос о существовании Бога или Божественного происхождения мира и человека лишь с точки зрения его моральной и социальной полезности, и о теоретической причине этого верования я скажу лишь несколько слов, чтобы лучше пояснить мою мысль.

Все религии с их богами, полубогами, пророками, мессиями и святыми были созданы доверчивой фантазией лю-

дей, еще не достигших полного развития и полного обладания своими умственными способностями. Вследствие этого религиозное небо есть ничто иное, как мираж, в котором экзальтированный невежеством и верой человек находит свое собственное изображение, но увеличенное и опрокинутое, то-есть *обожествленное*.

История религий, история происхождений величия и упадка богов, преемственно следовавших в человеческом веровании, есть, следовательно, ничто иное, как развитие коллективного ума и сознания людей.

По мере того, как в своем прогрессивном историческом ходе они открывали в самих в себе или во внешней природе какую-либо силу, положительное качество или даже крупный недостаток, они приписывали их своим богам, преувеличив, расширив их сверх меры, как это обыкновенно делают дети, игрой своей религиозной фантазии. Благодаря этой скромности и набожной щедрости верующих легковерных людей, небо обогатилось отбросами земли и, как неизбежное следствие, чем небо делалось богаче, тем беднее становились человечество и земля. Раз божество было установлено, оно естественно было провозглашено первопричиной, первоисточником, судьей и неограниченным властителем: мир стал ничем, бог — всем. И человек его истинный создатель, извлекши, сам того не зная, его из небытия, преклонил колена перед ним, поклонился ему и провозгласил себя его созданием и рабом.

Христианство является самой настоящей типичной религией, ибо оно представляет собою и проявляет во всей ее полноте природу, истинную сущность всякой религиозной системы, представляющей собою *принижение, порабощение и уничтожение человечества в пользу божественности*.

Раз Бог — все, реальный мир и человек — ничто. Раз Бог есть истина, справедливость, могущество и жизнь, человек есть ложь, несправедливость, зло, уродство, бессилие и смерть. Раз Бог—господин, человек—раб. Неспособный сам по себе найти справедливость, истину и вечную жизнь, он может достигнуть их лишь при помощи божественного откровения. Но кто говорит об откровении, тот говорит о проповедниках откровения, о мессиях, пророках, священниках и законодателях, вдохновленных самим Богом. А все они, раз признанные представителями божества на земле в качестве святых учителей человечества, избранных самим Богом, чтобы направлять человечество на путь спасения, они должны

неизбежно пользоваться абсолютной властью. Все люди обязаны им неограниченным и пассивным повиновением. Ибо перед божественным разумом разум человеческий и перед Справедливостью Бога земная справедливость—ничто. Рабы Бога, люди должны быть рабами и Церкви и Государства, *поскольку оно освящено церковью.* Вот, что христианство поняло лучше всех существовавших и существующих религий, не исключая и древние восточные религии, которые впрочем охватывали лишь народы благородные и привилегированные, между тем как христианство имеет претензию охватить все человечество. И из всех христианских сект римский католицизм один провозгласил это положение и осуществил его со строгой последовательностью. Вот, почему христианство есть абсолютная религия, и почему апостольская римская церковь единственно последовательная, законная и божественная.

Пусть же не обижаются метафизики и религиозные идеалисты, философы, политики или поэты. *Идея Бога влечет за собою отречение от человеческого разума и справедливости, она есть самое решительное отрицание человеческой свободы и приводит неизбежно к рабству людей в теории и на практике.*

Следовательно, если только не хотеть рабства и оскотинивания людей, как этого хотят иезуиты, как хотят этого ханжи, пиэтисты или протестанские методисты, мы не можем, мы не должны делать ни малейшей уступки ни Богу теологии, ни Богу метафизики. Ибо в мистическом алфавите, кто сказал А, должен сказать Z. И кто хочет поклоняться Богу, тот должен, не создавая себе ребяческих иллюзий, храбро отказаться от своей свободы и своей человечности.

Если Бог есть, человек—раб. А человек может и должен быть свободным. Следовательно Бог не существует.

Пусть кто-либо попытается выйти из этого заколдованного круга! Делайте же выбор!

Нужно ли напоминать, насколько и как религии отупляют и развращают народы? Они убивают у них разум, это главное орудие человеческого освобождения, и приводят их к идиотству, главному условию их рабства. Они обесчещивают человеческий труд и делают его признаком и источником подчинения. Они убивают понимание и чувство человеческой справедливости, всегда склоняя весы на сторону торжествующих негодяев, привилегированных об'ектов боже-

ственной милости. Они убивают гордость и достоинство человека, покровительствуя лишь ползучим и смиренным. Они душат в сердцах народов всякое чувство человеческого братства, наполняя его божественной жестокостью.

Все религии жестоки, все основаны на крови; ибо все покоятся главным образом на идее жертвы, то-есть на вечном обречении человечества ненасытимой мстительности Божества. В этой кровавой тайне человек всегда жертва, а священник—также человек, но человек привилегированный милостью Божией—божественный палач. Это об'ясняет нам, почему священники всех религий самых лучших, самых гуманных, самых мягких имеют почти всегда в глубине своего сердца—а если не сердца, то воображения, ума (а громадное влияние того и другого на сердце людей известно),—почему? говорю я,—что то жестокое и кровожадное.

Все это наши современные знаменитые идеалисты знают лучше, чем кто-либо. Это люди ученые, знающие историю на зубок. А так как они в то же время живые люди, великие души, проникнутые искреннею и глубокою любовью к благу человечества, то они с несравненным красноречием прокляли и заклеймили все это зло, все преступления религии. Они с негодованием отвергают всякую солидарность с Богом позитивных религий и с ее былыми и нынешними представителями на земле.

Бог, которому они поклоняются или которого они представляют себе, поклоняясь, именно тем и отличается от реальных богов истории, что он вовсе не позитивный Бог, и не Бог, каким бы то ни было образом определенный теологически или хотя бы даже метафизически. Это—не Высшее существо Робеспьера и Жан-Жака Руссо, — не пантеистический Бог Спинозы и даже не имманентный, трансцендентальный и весьма двумысленный Бог Гегеля. Они весьма остерегаются давать ему какое либо позитивное определение, прекрасно чувствуя, что всякое определение отдаст их в жертву разрушительной критики. Они не скажут о нем, личный это Бог или безличный, создал ли он или не создал мира. Они даже не станут говорить об его божественном провидении. Все это могло бы их скомпрометировать. Они удовлетворяются названием „Бог", и это все. Но что такое их Бог? Это даже не идея, а лишь—стремление души.

Их Бог — общее название для всего, что им кажется великим, добрым, прекрасным, благородным, человечным.

Но почему же тогда не говорят они „Человек“? А! дело в том, что и король Вильгельм Прусский, и Наполеон III — тоже люди, и это ставит их в весьма затруднительное положение. Существующее человечество представляет из себя смесь всего, что есть самого возвышенного, самого прекрасного в мире с самым низменным и чудовищным. Как же они справляются с этим? Одно они называют *божественным*, а другое *животным*, представляя себе божественность и животность, как два полюса, между которыми они помещают человечество. Они не хотят или не могут понять, что эти три выражения в сущности представляют собою одно, и что разделением они разрушают их.

Идеалисты не сильны в логике, и можно думать, что они презирают ее. Вот, это то и отличает их от пантеистических и деистических метафизиков и сообщает их идеям характер практического идеализма, черпающего свои вдохновения гораздо в меньшей степени из строгого развития мысли, нежели из опыта, я сказал бы пожалуй даже, — из эмоций, как исторических и коллективных, так и индивидуальных,—из жизни. Это дает их пропаганде видимость богатства и жизненной силы, но это лишь видимость, ибо самая жизнь делается бесплодной, когда она парализована логическим противоречием.

Это противоречие заключается в следующем: они хотят Бога и в то же время они хотят человечества. Они упорствуют в об'единении этих двух понятий, которые, раз будучи разделены, не могут более быть сопоставлены без того, чтобы взаимно не разрушить друг друга. Они говорят, не переводя дыхания: „Бог и свобода и человек“, „Бог и достоинство, и справедливость и равенство, и братство и благополучие людей“, не заботясь о фатальной логике, согласно с которой, если существует Бог, все это осуждено на небытие. Ибо, если Бог есть, он является неизменно вечным, высшим, абсолютным господином, а раз существует этот господин, человек — раб. Если же человек — раб, для него невозможны ни справедливость ни равенство, ни братство, ни благополучие. Они могут, сколько хотят, в противность здравому смыслу и всему историческому опыту представлять себе своего Бога воодушевленным самой нежной любовью к человеческой свободе, но господин, чтобы он ни делал, и каким бы либералом он ни хотел выказать себя, остается тем не менее всегда господином, и его существование неизбежно влечет за собою рабство всех, кто ниже

его. Следовательно, если бы Бог существовал, для него было бы лишь одно средство послужить человеческой свободе: это—прекратить свое существование.

Ревниво-влюбленный в человеческую свободу, и рассматривая ее, как необходимое условие всего, чему я поклоняюсь и что уважаю в человечестве, я перевертываю афоризм Вольтера и говорю: *если бы Бог действительно существовал, следовало бы уничтожить его.*

Строгая логика, диктующая мне эти слова, слишком очевидно, чтобы была нужда развивать больше эту аргументацию. И мне кажется немыслимым, чтобы знаменитые люди, названные мною, столь известные и столь справедливо уважаемые, не были бы сами поражены и не заметили противоречий, в которые они впадают, говоря одновременно о Боге и о человеческой свободе. Чтобы не считаться с этим, они должны полагать, что эта непоследовательность или эта логическая несообразность была *практически* необходима для блага человечества.

Возможно также, что говоря о *свободе*, как о чем-то весьма почтенном и дорогом для них, они понимают ее совершенно иначе, чем мы, материалисты и социалисты революционеры. В самом деле, они никогда не говорят о ней без того, чтобы не прибавить сейчас же другое слово: *власть*, — слово и понятие, которое мы ненавидим всем сердцем.

Что такое власть? Есть ли это неизбежная сила естественных законов, проявляющаяся в сцеплении и в роковой последовательности явлений, как физического, так и социального мира? В самом деле, возмущение против этих законов не только непозволительно, но и невозможно. Мы можем не считаться с ними или не вполне еще знать их, но не можем не повиноваться им, ибо они составляют основу и самые условия нашего существования; они нас окружают, проникают нас, управляют всеми нашими движениями, нашими мыслями, нашими действиями, таким образом, что даже, когда мы думаем, что не повинуемся им, в действительности мы лишь проявляем их всемогущество.

Да, мы безусловно рабы этих законов. Но в этом рабстве нет ничего унизительного, или скорее это даже не рабство. Ибо рабство предполагает наличность некоторого господина над нами, законодателя, стоящего вне того, кем

он управляет, между тем как эти законы не вне нас,—они нам присущи, они составляют наше естество, все наше естество, как телесное, так и умственное и нравственное. Лишь в силу этих законов мы живем, дышим, действуем, мыслим, хотим. Вне их мы ничто, *мы не существуем*. Откуда же взялись бы у нас возможность и желание возмутиться против них?

Перед лицом естественных законов для человека есть лишь одна возможная свобода: это—признавать их и все в большей мере применять их сообразно с преследуемой им целью освобождения или развития, как коллективного, так и индивидуального. Эти законы, раз признанные, проявляют власть, никогда не оспариваемую большинством людей. Нужно, например, быть, сумасшедшим или теологом или, по крайней мере, метафизиком, юристом или буржуазным экономистом, чтобы возмущаться против закона, по которому дважды два—четыре. Нужно обладать верой, чтобы воображать, что не сгоришь в огне или что не потонешь в воде, если только не прибегать к какому нибудь фокусу, который, в свою очередь основан на каких нибудь других естественных законах. Но это возмущение или скорее эти попытки больного воображения к бесмысленному возмущению представляют из себя лишь довольно редкие исключения. Ибо вообще можно сказать, что большинство людей в своей повседневной жизни повинуется почти безпрекословно здравому смыслу, т. е. всей совокупности общепризнанных естественных законов.

Великое несчастие в том, что большое количество естественных законов, уже установленных, как таковые, наукой, остается неизвестным народным массам, благодаря заботам этих попечительных правительств, которые существуют, как известно, для блага народов. Есть еще другое неудобство,—это то, что большая часть естественных законов, присущих развитию человеческого общества, и столь же необходимых, неизменных, фатальных, как законы, управляющие физическим миром, самою наукою не установлены и не признаны должным образом.

Раз они будут признаны—сперва наукой и при посредстве целесообразной системы народного воспитания и образования войдут в сознание всех, вопрос о свободе будет совершенно разрешен. Самые упорные государственники должны будут признать, что тогда не будет нужды ни в организации, ни в управлении, ни в политическом законо-

дательстве,—в этих трех институтах, всегда одинаково пагубных и противных свободе народа, ибо они навязывают ему систему внешних и, следовательно, деспотических законов, хотя бы эти три института исходили от воли государя, или из голосования парламента, избранного на основе всеобщего избирательного права, или даже если они согласуются с естественными законами, чего, впрочем, никогда не было и быть не может.

Свобода человека состоит единственно в том, что он повинуется естественным законам, потому что *он сам* признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой либо посторонней волей—божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной.

Представьте себе ученую академию, составленную из самых знаменитых представителей науки; представьте себе, что на эту академию было бы возложено законодательство и организация общества, и что, вдохновляясь лишь самой чистой любовью к истине, она диктовала бы обществу лишь законы, абсолютно согласные с новейшими открытиями науки. Я утверждаю, что это законодательство и эта организация были бы чудовищны. И это по двум причинам. Во-первых, потому, что человеческая наука по необходимости всегда несовершенна и, сравнивая уже открытое ею с тем, что ей остается открыть, можно сказать, что она все еще находится в колыбели. До такой степени, что если бы захотели заставить практическую жизнь людей, как коллективную, так и индивидуальную, строго сообразоваться исключительно с последними данными науки, то как общество так и индивиды были бы осуждены на муки Прокрустова ложа, которые их убили бы, ибо жизнь всегда безконечно шире, чем наука.

Вторая причина такова: общество, которое стало бы повиноваться законодательству, исходящему из научной академии, не потому, что оно само поняло разумные основания их—а в таком случае существование академии стало бы бесполезным — но потому, что это законодательство, исходя из академии, навязывалось бы во имя науки, которую чтят, не понимая ее, — такое общество было бы обществом не людей, но скотов. Это было бы вторым изданием несчастной Парагвайской Республики, которая долгое время позволяла управлять собою Ордену Иезуитов. Такое общество не преминуло бы вскоре опуститься на самую низкую ступень идиотизма.

Но есть еще третья причина, делающая такое правительство невозможным. А именно—научная академия, облеченная, так сказать, абсолютною верховною властью, хотя бы она состояла даже из самых знаменитых людей, неизбежно и скоро кончила бы тем, что сама развратилась бы и морально, и интеллектуально. Такова уже ныне история всех академий при небольшом количестве предоставленных им привилегий. Самый крупный научный гений с того момента, как он становится академиком, оффициальным патентованным ученым, неизбежно регрессирует и засыпает. Он теряет свою самобытность, свою революционную смелость, и эту не укладывающуюся в общие рамки дикую энергию, характеризующую самых великих гениев, призванных всегда к разрушению отживших миров и к закладке основ новых миров. Он, несомненно, выигрывает в хороших манерах, в полезной и практической мудрости, теряя в мощности мысли. Одним словом, он вырождается.

Таково уж свойство привилегии и всякого привилегированного положения, убивать ум и сердце людей. Человек, политически или экономически привилегированный, есть человек развращенный интеллектуально и морально. Вот, социальный закон, не признающий никакого исключения, приложимый одинаково к целым нациям, классам, сообществам и индивидам. Это закон равенства, высшее условие свободы и человечности. Главнейшая цель этой книги в том и заключается, чтобы развить этот закон и доказать истинность его во всех проявлениях человеческой жизни.

Научное учреждение, которому доверили бы управление обществом, кончило бы скоро тем, что стало бы заниматься не наукой, но совсем другим делом. И это дело,— дело всякой установившейся власти, состояло бы в стремлении прочно укрепиться, и сделать вверенное ее заботам общество более тупым и, следовательно, все более нуждающимся в ее управлении и руководстве.

Но что справедливо относительно научной академии, справедливо и относительно всех учредительных и законодательных собраний, даже вышедших из всеобщего избирательного права. Это последнее может, правда, обновить его состав, что не препятствует образованию в течении нескольких годов собрания политиканов привилегированных не по праву, но фактически, которые, посвящая себя исключительно управлению общественными делами страны, кончают тем, что образуют род политической аристократии или оли-

гархии. Пример—Соединенные Штаты Америки и Швейцария.

Таким образом—не надо никакого внешнего законодательства и никакой власти; одно, впрочем, неотделимо от другого, и оба они стремятся к порабощению общества и к отупению самих законодателей.

Вытекает ли из этого, что я отвергаю всякий авторитет? Такая мысль далека от меня. Когда дело идет о сапогах, я полагаюсь на авторитет сапожника; если дело идет о доме, о канале или о железной дороге, я советуюсь с архитектором или инженером. За тем или иным специальным знанием я обращаюсь к тому или иному ученому. Но я не позволю ни сапожнику, ни архитектору, ни ученому навязать мне их авторитет. Я свободно выслушиваю их со всем уважением, которого заслуживает их ум, характер, знания, сохраняя за собою во всяком случае мое неоспоримое право критики и контроля. Я не удовольствуюсь тем, что посоветуюсь с одним авторитетным специалистом, я посоветуюсь со многими. Я сравню их мнения и выберу то, которое мне кажется наиболее справедливым. Но я не признаю отнюдь непогрешимого авторитета даже в узко специальных вопросах. Следовательно, какое бы уважение я не питал к честности и искренности того или иного индивида, у меня нет абсолютной веры ни к кому. Такая вера была бы роковою для моего разума, моей свободы и для успеха моего предприятия. Она меня немедленно превратила бы в тупого раба, в орудие воли и интересов другого.

Если я преклонюсь перед авторитетом специалистов, и если я об'являю себя готовым следовать в известной мере и так долго, как мне это кажется необходимым, их указаниям и даже руководству, то это лишь потому, что их авторитет никем не навязан мне,—ни людьми, ни богом. В противном случае, я отверг бы с ужасом и послал бы к чорту их советы, их руководство и их знания, уверенный, что они заставят меня заплатить потерей моей свободы и моего достоинства за те окутанные массой лжи крупицы человеческой истины, какие они могут мне дать.

Я преклоняюсь перед авторитетом специалистов потому, что он мне внушен моим собственным разумом. Я сознаю, что могу охватить во всех деталях и в позитивном развитии лишь малую долю человеческой науки. Величайший ум недостаточен для того, чтобы охватить все. Отсюда сле-

дует для науки, как и для промышленности, необходимость разделения и ассоциации труда. Я получаю и даю,—такова человеческая жизнь. Всякий является авторитетным руководителем, и всякий управляем в свою очередь. Следовательно, отнюдь не существует закрепленного и постоянного авторитета, но постоянный взаимный обмен власти и подчинения, временный и — что особенно важно,—добровольный.

Это самое соображение не позволяет мне, следовательно, признать закрепленный, постоянный и универсальный авторитет, ибо не существует универсального человека, способного охватить все науки, все ветви социальной жизни со всеми богатыми подробностями, без которых приложение науки к жизни совершенно невозможно. И если такая универсальность могла когда-либо быть осуществлена одним человеком, и если бы он захотел этим возвеличить себя, чтобы навязать нам свой авторитет, нужно было бы изгнать этого человека из общества, потому что его авторитет неизбежно свел бы всех других к рабству и тупости. Я не думаю, чтобы общество должно было дурно обращаться с гениальными людьми, как оно делало это до сих пор. Но я не думаю также, чтобы оно должно было слишком ублажать их и—особенно—наделять их привилегиями или какими-нибудь исключительными правами. И это по трем причинам. Прежде всего потому, что обществу не раз случилось бы принять шарлатана за гениального человека; затем потому, что этой системой привилегий оно могло бы превратить в шарлатана даже действительно гениального человека, деморализовать его и сделать глупцом; и, наконец, потому, что оно создало бы себе этим деспота.

Я резюмирую. Итак, мы признаем абсолютный авторитет науки, ибо наука имеет своим предметом лишь умственное, отраженное и, насколько лишь возможно, систематическое воспроизведение естественных законов, присущих как материальной, так и интеллектуальной и моральной жизни физического и социального мира, этих двух миров, составляющих в действительности лишь единый естественный мир. Помимо этой, единственной законной власти, ибо она разумна и соответствует человеческой свободе, мы об'являем всякую другую власть лживой, произвольной, деспотической и гибельной.

Мы признаем абсолютный авторитет науки, но отвергаем непогрешимость и универсальность представителей

науки. В нашей церкви—да будет мне позволено на минуту употребить это выражение, которое, впрочем, я ненавижу—Церковь и Государство для меня два заклятых врага—в нашей Церкви, как и в Церкви протестантской, имеется глава, невидимый Христос,—наука. И подобно протестантам, будучи более последовательными, чем протестанты, мы не хотим терпеть ни папы, ни собора, ни конклава непогрешимых кардиналов, ни епископов, ни даже священников. Наш Христос отличается от протестантского и христианского Христа тем, что этот последний—существо личное, наш же—безличен. Христианский Христос, предвечно законченный, представляется как существо совершенное, между тем как законченность и совершенство нашего Христа, науки, всегда в будущем; другими словами, они не осуществятся никогда. Признавая же абсолютную власть лишь за *абсолютной наукой*, мы следовательно никоим образом не связываем свою свободу.

Под этими словами „абсолютная наука", я понимаю науку действительно универсальную, которая идеально воспроизводила бы во всей ее полноте и со всеми ее бесконечными деталями вселенную, систему или согласование всех естественных законов, проявляющихся в непрерывном развитии миров. Очевидно, что такая наука, верховный предмет всех усилий человеческаго ума, никогда не осуществится в своей абсолютной полноте. Наш Христос останется, следовательно, вечно незаконченным, что значительно должно посбить спесь его пантентованных представителей среди нас. Против этого бога-сына, во имя которого они хотели бы навязать нам свой наглый и педантичный авторитет, мы будем аппелировать к богу-отцу, который есть реальный мир, реальная жизнь, коей он есть лишь слишком нереальное выражение, а мы—реальные существа, живущие, работающие, борящиеся, любящие, надеющиеся, наслаждающиеся и страдающие—непосредственные представители.

Но, отвергая абсолютный, универсальный и непогрешимый авторитет людей науки, мы охотно преклоняемся перед почтенным, но относительным и очень преходящим, очень ограниченным авторитетом представителей специальных наук; готовы советоваться с ними поочередно с каждым и весьма признательны за все ценные указания, которые они пожелают нам преподать при условии, что они соблаговолят принять наши советы относительно того, в чем

мы более сведующи, чем они. И вообще мы очень хотели бы, чтобы люди, одаренные большими знаниями, большим опытом, большим умом, а главное—большим сердцем, оказывали на нас естественное и законное влияние, добровольно принимаемое, но никогда не навязываемое во имя какого бы то ни было оффициального авторитета—небесного или земного. Мы признаем всякий естественный авторитет и всякое воздействие на нас факта, но не права; потому что всякий авторитет и всякое влияние права, оффициально навязываемое нам, сейчас же превращается в угнетение и ложь, и в силу этого неизбежно—как это уже достаточно, я полагаю, доказано мною—приводит нас к рабству и нелепостям.

Одним словом, мы отвергаем всякое привилегированное, патентованное, оффициальное и легальное, хотя бы даже и вытекающее из всеобщего избирательного права, законодательство, власть и воздействие, так как мы убеждены, что они всегда неизбежно обращаются лишь к выгоде господствующего и эксплоатирующего меньшинства, в ущерб интересам огромного порабощенного большинства.

Вот, в каком смысле мы действительно анархисты [1]).

Современные идеалисты понимают власть, авторитет совершенно своеобразно.

Хотя и свободные от традиционных предрассудков всех существующих позитивных религий, они тем не менее придают идее власти божественный, абсолютный смысл. Эта их власть отнюдь не есть авторитет чудесно раскрытой откровением истины, и не авторитет строго и научно доказанной истины. Они основывают ее на небольшом количестве псевдо-философской аргументации и на громадной дозе смутно-религиозной веры идеально абстрактно-поэтического чувства. Их религия есть как бы последняя попытка обоготворения всего, что является человеческим в человеке.

---

[1]) По французски слово „autorité“ означает одновременно и „власть“ и „авторитет“, что позволяет Бакунину, возражая против власти, говорить и о власти в собственном смысле слова, в смысле господства непосредственного, и в смысле духовного преимущества, пользуясь в своей аргументации примерами то власти, то авторитета. По русски неизбежно приходится в некоторых случаях употреблять одно, в некоторых же—другое слово. То же самое и со словом „influence“, кот. в одних случаях переводится словом „влияние“, в других—словом „воздействие“.

(Примеч. переводчика).

Это совершенная противоположность предпринятой нами задаче. Мы считаем своим долгом, в виду человеческой свободы, человеческого достоинства и человеческого благополучия, отобрать у неба блага, похищенные им у земли, чтобы возвратить их земле. Между тем, как пытаясь совершить последнюю героическую религиозную кражу, они, напротив того, хотели бы снова возвратить небу, этому ныне разоблаченному божественному вору, в свою очередь обворованному смелым безбожием и научным анализом свободных мыслителей, все самое великое, самое прекрасное и самое благородное, чем лишь обладает человечество.

Им кажется, без сомнения, что человеческие идеи и дела, чтобы пользоваться большим авторитетом среди людей должны быть облечены божественной санкцией. Как эта санкция выявляется? Не чудом, как в позитивных религиях, но самым величием или святостью идей и дел: то, что велико, что прекрасно, что благородно, что справедливо, об'является божественным. В этом новом религиозном культе всякий человек, вдохновленный этими идеями и совершающий великие дела, становится жрецом, непосредственно посвященным самим богом. Доказательства? Нет надобности ни в каких других доказательствах, кроме самого величия идей, которые он выражает, и дел, которые он совершает: они столь святы, что могли быть внушены лишь Богом.

Вот, в немногих словах вся их философия: философия чувства, а не реальной мысли, своего рода метафизический пиэтизм. На первый взгляд это кажется невинным, но в действительности совсем не таково, и вполне определенная, весьма узкая и сухая доктрина, скрывающаяся под неуловимой расплывчатостью этой поэтической формы, приводит к тем же бедственным результатам, как и все позитивные религии, то есть к самому полному отрицанию человеческой свободы и человеческого достоинства.

Провозгласить божественным все, что есть великого, справедливого, благородного, прекрасного в человечестве, это значит молчаливо признать, что человечество само по себе было бы неспособно произвести его, а это сводится к признанию, что предоставленная самой себе человеческая собственная природа жалка, несправедлива, низка и безобразна. Таким образом мы возвращаемся назад к сущности всякой религии, то-есть к унижению человечества к вящщей славе божества. И с того момента, как признается, что человек естественно—существо низшего порядка, что он по

самой своей природе неспособен возвыситься самостоятельно, без помощи божественного вдохновения, до верных и справедливых идей, становится необходимым признать также и все теологические, политические и социальные последствия позитивных религий. С того момента, как Бог, высшее и совершеннейшее существо, противополагается человечеству, божественные посредники, избранные, боговдохновленные, появляются, словно из под земли, чтобы освещать, направлять и руководить во имя его человеческим родом.

Нельзя ли предположить, что все люди равным образом вдохновлены Богом? Тогда, конечно, не было бы больше надобности в посредниках. Но это предположение невозможно, ибо факты слишком противоречат ему. Нужно было бы тогда приписать божественному вдохновению все нелепости и все ошибки, которые проявляются, и все ужасы, мучения, подлости и глупости, которые совершаются в человеческом мире. Следовательно, в этом мире имеется лишь немного божественно-вдохновленных людей. Это — великие люди истории, *добродетельные гении*, как говорит знаменитый итальянский гражданин и пророк Джузеппе Мадзини. Непосредственно вдохновленные самим Богом и опираясь на всеобщее сочувствие, выраженное всенародным голосованием—Dio e Popolo (Бог и Народ)—они призваны *управлять* человеческими обществами*).

Таким образом мы снова возвращаемся к Церкви и Государству. Правда, в этой новой организации, установленной, как и все старинные политические организации *милостью Божией*, но на этот раз подкрепляемой, по крайней мере, ради формы, ввиде необходимой уступки современному духу, как в заголовках императорских декретов Наполеон III, *волею* (фиктивною) *народа*, Церковь не будет больше называться Церковью. Она назовется Школой. Но на скамьях этой школы усядутся не только дети: там будет вечный несовершеннолетний ученик, навсегда признанный неспособным выдержать экзамены, возвыситься до науки своих учителей и обойтись без их указки,—народ**). Государство

*) Шесть или семь лет назад в Лондоне я слышал, как Г. Луи Блан высказывал приблизительно такую же мысль: „Лучшая форма правления, сказал он мне, „была бы такая, которая всегда вручала бы дело *„добродетельным гениям“* (примеч. Бакунина).

**) Я спросил однажды Мадзини, какие меры примут для освобождения народа, когда его победоносная об'единенная республика будет окончательно установлена?—„Первою мерою, ответил он мне, будет учреждение школ для народа“.—„А чему будут обучать народ в этих школах?“—„Обя-

не будет больше называться Монархией; оно будет называться Республикой, но от этого оно не станет меньше государством, иначе говоря оффициальной и планомерно установленной опекой меньшинства компетентных людей, *добродетельных гениев или талантов*, чтобы надзирать и упра-

---

занностям человека, самопожертвованию и преданности".—Но где возьмете вы достаточное количество преподавателей, чтобы обучать этим вещам, которым никто не имеет ни права, ни возможности обучать иначе как своим собственным примером? Не чрезвычайно ли ограниченно число людей, находящих высшее наслаждение в самопожертвовании и в преданности? Те, кто жертвует собою во имя великой идеи, повинуясь возвышенному влечению и *удовлетворяя этому личному влечению*, без которого самая жизнь теряет в их глазах всякую ценность, эти люди обыкновенно думают совсем о другом, нежели возведение своих действий в доктрину. Между тем как те, кто делают из них доктрину, забывают чаще всего превращать эту доктрину в действие по той простой причине, что доктрина убивает жизнь, убивает живую самопроизвольность действия. Люди, подобные Мадзини, у которых доктрина и действия находятся в удивительном единстве,—очень редкое исключение. В христианстве также были великие люди, святые люди, которые действительно делали или по меньшей мере страстно стремились делать все то, что проповедывали, и сердца которых, переполненные любовью, были полны презрения к наслаждениям и благам сего мира. Но громадное большинство католических и протестанских священников, которые сделали своим ремеслом проповедь доктрины целомудрия, воздержания и отречения, своим примером, обыкновенно, опровергают свою доктрину. И не без основания, но вследствие опыта многих веков, у народов всех стран сложились такие поговорки: „*Развратен как поп*"; „*лакомка как поп*", „*честолюбив как поп*", „*жаден, корыстен, скуп как поп*". Установлено, таким образом что учителя христианских добродетелей, поставленные церковью, — священники, *в своем громадном большинстве*, поступают совершенно обратно тому, что проповедуют. Самая общераспространенность и преобладание подобных фактов доказывают, что вину следует приписывать не отдельным лицам, но невозможному социальному положению, в какое эти люди поставлены. В положении христианского священника заключается двойное противоречие. Во первых, противоречие доктрины воздержания и отречения с положительными стремлениями и потребностями человеческой природы, с стремлениями и потребностями, которые в некоторых индивидуальных, всегда очень редких случаях, могут еще быть постоянно попираемы, сдерживаемы и даже совершенно уничтожены постоянным влиянием какой нибудь могущественной интеллектуальной или моральной страсти, и которые в известные моменты коллективной экзальтации могут быть забыты и пренебрегаемы в течение некоторого времени большим количеством людей сразу. Но они настолько существенным образом присущи человеческой природе, что всегда в конце концов берут свое, так что, когда мешают их удовлетворению правильным и нормальным образом, они всегда заставляют изыскивать для своего удовлетворения вредные и уродливые способы. Таков естественный и следовательно роковой непреодолимый закон, под гибельное действие которого неизбежно, подпадают все христианские священники и особенно священники римско-католической церкви. Он не распространяется на профессоров школы, другими слова-

влять поведением этого большого неисправимого и ужасного ребенка—народа.

Профессора школы и чиновники Государства будут называть себя республиканцами. Но они от этого не станут меньше опекунами, пасторами, и народ останется тем, чем

ми, на священников новейшей Церкви, если только и их не обяжут проповедовать христианское воздержание и отречение.

Но есть и другое противоречие, общее, как тем, так и другим. Это противоречие связано с самым званием и положением учителя. Учитель приказывающий, угнетающий и эксплоатирующий—логическая и вполне естественная фигура. Но учитель, относящийся с самопожертвованием к своим подчиненным в силу его божеской и человеческой привилегии—это нечто противоречивое и совершенное невозможное. Это—само лицемерие, так хорошо олицетворенное папою, который, называя себя последним *слугою служителей Бога,*—в знак чего, следуя примеру Христа, он даже моет раз в год ноги двенадцати нищим Рима, — провозглашает в тоже время себя наместником Бога, абсолютным и непогрешимым господином мира. Нужно ли напоминать, что священники всех Церквей, далеки от того, чтобы с самопожертвованием относиться к вверенной их попечению пастве, всегда приносили ее в жертву, эксплоатировали и удерживали на положении стада, отчасти, чтобы удовлетворять своим собственным личным страстям, отчасти, чтобы служить всемогуществу Церкви? Одинаковые условия, одинаковые причины всегда приводят к одинаковым результатам. Тоже самое будет, следовательно, с профессорами новейшей Школы, божественно вдохновленной и патентованной Государством. Они необходимо делаются—одни бессознательно, другие, вполне отдавая себе в этом отчет,—преподавателями доктрины принесения народа в жертву могуществу Государства и в пользу привилегированных классов.

Следует ли из этого, что нужно из'ять всякое образование и уничтожить все школы? Отнюдь нет. Нужно полными пригоршнями распространять образование в массах и превратить все церкви, все храмы, посвященные славе Бога и порабощению людей, в школы человеческой эмансипации.

Но прежде всего, согласимся на том, что школы, в собственном смысле этого слова в нормальном обществе, основанном на равенстве и уважении человеческой свободы, должны существовать лишь для детей, а не для взрослых. И чтобы они сделались школами эмансипации, а не порабощения, нужно из них прежде всего из'ять эту фикцию Бога, вечного и абсолютного поработителя. И нужно построить все воспитание детей и их образование на научном развитии разума, а не веры; на развитии личного достоинства и независимости, а не на набожности и послушании; на культе истины и справедливости во что бы то ни стало и прежде всего на уважении человека, которое должно во всем и везде заместить культ божества. Принцип авторитета в воспитании детей представляет собою естественную отправную точку. Он наконец, необходим, когда прилагается к детям младшего возраста, пока их ум еще совершенно не развит. Но как постоянное развитие всего вообще, а следовательно и дальнейший ход воспитания влечет за собою последовательное отрицание отправной точки, этот принцип должен постепенно уменьшаться по мере того, как воспитание и образование ребенка подвигается вперед, чтобы уступить место его возрастающей свободе. Всякое рациональное

был вечно до сих пор—стадом. Пусть же тогда бережется он стригущих, ибо, где есть стадо, непременно будут и те, кто стригут и пожирают стадо.

Народ по этой системе будет вечным школьником и воспитанником. Несмотря на свою совершенно призрачную,

---

воспитание по существу есть ни что иное, как прогрессивное уменьшение авторитета в пользу свободы, так как конечной целью воспитания должно быть создание людей свободных и полных уважения и любви к свободе других. Таким образом, первый день школьной жизни ребенка, если школа принимает детей раннегс возраста, едва начинающих лепетать, должен быть днем самого большого авторитета и почти полного отсутствия свободы. Но его последний день должен быть днем самой большой свободы и абсолютного исчезновения всякого следа животного или божественного принципа власти над ним.

Принцип власти, прилагаемый к людям, переступившим или достигшим совершеннолетия, становится чудовищностью, вопиющим отрицанием человечности, источником рабства и интеллектуального и морального развращения. К несчастью, отеческие заботы правительства оставили народные массы коснеть в таком глубоком невежестве, что необходимо будет основать школы не только для детей народа, но и для самого народа. Но из этих школ должны будут абсолютно из'яты малейшие приложения или проявления принципа власти. Это не будут уже школы, но народные академии, где не будет ни школьников, ни учителей, куда народ будет свободно приходить, чтобы получать, если сочтет нужным, свободное образование, и где в свою очередь богатый опытом он сможет обучить многим вещам учителей, которые принесут ему отсутствующие у него знания. Это будет, следовательно, взаимное обучение, акт интеллектуального братства между образованной молодежью и народом.

Истинная школа для народа и для всех сложившихся людей —это жизнь. Единственный великий и всемогущий, естественный и одновременно рациональный авторитет, единственный, который мы можем уважать, это—авторитет коллективного и общественного духа общества, основанного на равенстве и на солидарности, точно так же, как и на свободе и взаимном человеческом уважении всех его членов.

Да, вот, это власть, отнюдь не божеская, а вполне человеческая, но перед ней мы ото всего сердца преклоняемся, вполне уверенные, что она отнюдь не поработит, но освободит людей. Она будет в тысячу раз могущественнее,—будьте в этом уверены, — чем все ваши божеские, теологические, метафизические, политические и юридические власти, установленные Церковью и Государством, могущественнее, чем ваши уголовные кодексы, ваши тюремщики, и ваши палачи.

Сила коллективного чувства или общественного духа уже весьма значительна и ныне. Люди, наиболее способные совершить преступление, редко осмеливаются бросать ему вызов, открыто выступить против него. Они стараются обмануть его, но весьма остерегаются резко задевать его, если только не чувствуют за собою поддержки по крайней мере какого нибудь меньшинства. Ни один человек, каким бы могущественным он не мнил себя, никогда не в силах будет перенести единодушное презрение общества, ни один не сможет жить, не чувствуя поддержки в виде одобрения и уважения по меньшей мере некоторой части этого общества. Человек должен быть побуждаем каким-нибудь глубоким и очень

верховную власть, он будет продолжать служить орудием чужой воли и мысли, а следовательно и чужих интересов. Между этим положением и тем, что мы называем свободой, единственно-истинной свободой,—целая пропасть. Это будет под новыми формами старинное угнетение и старинное рабство. А там, где еегь рабство, есть и нищета и скотское огрубление, настоящее *материалистическое* 'состояние общества, как привилегированных классов, так и масс.

Обожествляя человеческие вещи, идеалисты всегда приходят к торжеству грубого материализма. И по очень простой причине: божественное испаряется и возносится на свою родину, на небо, и одно только животно-грубое остается действительно на земле.

искренним убеждением, чтобы найти в себе мужество думать и идти против всех, и никогда человек эгоистичный, развращенный и низкий не найдет в себе такого мужества.

Ничто не доказывает лучше естественную и фатальную солидарность,—этот закон общественности, связующий всех людей, — чем этот факт, который каждым из нас может быть ежедневно проверен на себе самом и на всех своих знакомых. Но если это социальное могущество существует, почему это не достаточно было до сих пор, чтобы смягчить, очеловечить людей? На этот вопрос ответить очень просто: потому, что до сих пор эта сила сама не была очеловечена; а не была она очеловечена потому, что общественная жизнь, верным выражением которой она является, основана, как известно, на поклонении божеству, а не на уважении человека; на власти, а не на свободе; на привилегиях, а не на равенстве; на эксплоатации, а не на братстве людей; на несправедливости и лжи, а не на справедливости и истине. Следовательно, реальное действие общественности всегда в противоречии с гуманитарными теориями, которые она исповедует, производило всегда пагубное и развращающее влияние, а не моральное. Она не подавляла пороки и преступления, а создавала их. Следовательно, власть ее—власть божественная, анти-гуманная; ее влияние зловредное и гибельное. Хотите вы сделать ее благотворной и гуманной? Совершите Социальную Революцию. Сделайте так, чтобы все потребности стали действительно солидарными, чтобы все материальные и общественные интересы каждого стали согласованы с человеческими обязанностями каждого. А для этого есть только одно средство: разрушьте все учреждения неравенства; установите экономическое и социальное равенство всех и на этой основе возникнет свобода, нравственность, солидарная человечность всех.

Я вернусь еще к этому самому главному вопросу социализма (примеч. Бакунина).

(Приведенное здесь примечание издателем „Бога и Государства" было помещено в самом тексте вслед за абзацем, кончающимся словами: „и одно только животное грубое остается в действительности на земле". Дж. Г.).

Да, теоретический идеализм неизбежно приводит на практике к самому грубому материализму,—не для тех, конечно, которые искренне проповедуют идеализм, им приходится обыкновенно видеть в конце концов бесплодность своих усилий,—но для тех, кто старается воплотить их учение в жизнь и для целого общества, поскольку оно дает себя подчинить идеалистическим доктринам.

Нет недостатка в исторических доказательствах этого общего факта, который на первый взгляд может показаться странным, но вполне естественно об'ясняется, если больше подумать над ним.

Сравните две последние цивилизации античного мира— греческую и римскую. Которая из этих цивилизаций была более материалистична, более натуралистична в своей исходной точке и более гуманно-идеалистична по своим результатам? Конечно, греческая. Которая, напротив, была более абстрактно-идеалистична в исходной точке, приносила материальную свободу человека в жертву идеальной свободе гражданина, представленной абстракцией юридического права, и естественное развитие человеческого общества абстракции государства, и которая по своим последствиям явилась более грубой? Конечно—римская цивилизация. Правда, греческая цивилизация, как и все античные цивилизации, в том числе и римская, была исключительно национальная и основана была на рабстве. Но, несмотря на эти два громадные исторические недостатка, она тем не менее первая поняла и осуществила идею человечности. Она облагородила и действительно идеализировала жизнь людей. Она превратила человеческие стада в свободные ассоциации свободных людей, она создала бессмертные науки, искусства, поэзию и философию и первые понятия уважения человека на основе свободы. При помощи политической и социальной свободы, она создала свободную мысль. И в конце средних веков, в эпоху Возрождения достаточно было, чтобы несколько греческих эмигрантов принесли в Италию некоторые из своих бессмертных книг, чтобы жизнь, свобода, мысль, гуманность, погребенные в мрачной темнице католицизма, воскресли. Эмансипация человека—вот имя греческой цивилизации. А имя цивилизации римской? Завоевание со всеми его грубыми последствиями. А ее последнее слово?—Всемогущество Цезарей. Это—обесценивание и порабощение наций и людей.

И даже еще ныне,—что убивает, что грубо, мате-

риально давит свободу и человечность во всех странах Европы?—Торжество принципа цезаризма или римского принципа.

Сравните теперь две современные цивилизации: цивилизацию итальянскую и германскую. Первая представляет, без сомнения, по своему общему характеру материализм. Вторая, напротив того, является представительницей всего, что только есть наиболее абстрактного, наиболее чистого и наиболее трансцендентного в смысле идеализма. Посмотрим, каковы практические результаты той и другой.

Италия уже оказала громадные услуги делу человеческой эмансипации. Она первая воскресила и широко ввела в Европе принцип свободы и возвратила человечеству лучшие его достояния: промышленность, торговлю, поэзию, искусства, позитивные науки и свободную мысль. Задавленная затем на протяжении трех веков императорским и папским деспотизмом, втоптанная в грязь своей правящей буржуазией, она, правда, представляется теперь сильно потускневшей, в сравнении с тем, что была раньше. И однако—какая разница, если сравнить ее с Германией! В Италии, несмотря на этот упадок,—будем надеяться, преходящий—можно жить и дышать по человечески, свободно, среди народа, который кажется рожденным для свободы. Италия, даже буржуазная может с гордостью указать вам на людей, как Мадзини и Гарибальди. В Германии дышешь *) в атмосфере политического и социального рабства, философски об'ясняемого и принимаемого великим народом с сознательной покорностью и добровольно. Ее герои—я говорю о Германии настоящего, а не будущего, о Германии аристократической, бюрократической, политической и буржуазной, а не о Германии пролетарской,—ее герои—полная противоположность Мадзини и Гарибальди. Это ныне Вильгельм I-й, жестокий и наивный представитель протестантского Бога, это господа фон Бисмарк и фон Мольтке, генералы Мантейфель и Верден. Во всех своих международных сношениях, Германия со времени своего существования медленно, систематически стремилась к нашествиям, завоеваниям, всегда готовая распространить на соседние народы свое собственное добровольное рабство. И с тех пор, как

---

*) Бакунин не поместил совсем текста на листах 194 и 195, которые целиком заняты продолжением примечания, начатого на листке 186. Дж. Г.

она стала об'единенной державой, она стала угрозой, опасностью для свободы всей Европы. Имя Германии в настоящее время, это—грубое и торжествующее холопство.

Чтобы показать, как теоретический идеализм непрерывно и фатально превращается в практический материализм, достаточно привести пример всех христианских церквей и, разумеется, в первую голову римской апостольской церкви. Есть ли что возвышеннее, в смысле идеала, бескорыстнее, отрешеннее от всех земных интересов, чем доктрина Христа, проповедуемая церковью? И что может быть более грубо-материалистично, чем постоянная практика этой самой церкви с восьмого века, когда она начала складываться, как держава? Каков был и каков еще в настоящее время главный предмет всех ее тяжб с государями Европы? Тленные блага, доходы церкви прежде всего и затем светская власть, политические привилегии церкви. Надо впрочем отдать церкви справедливость,—она первая в новейшей истории открыла ту неоспоримую, но очень мало христианскую истину, что богатство и власть, экономическая эксплоатация и политическое угнетение масс суть две неотделимых стороны царства божественной идеи на земле: богатство укрепляет и увеличивает власть, власть открывает и создает постоянно новые источники богатства, а вместе они лучше, чем мученичество и вера апостолов, и лучше, чем божественная благодать, обеспечивают успех христианской пропаганды. Это—историческая истина, с которой считаются и протестантские церкви. Я говорю, конечно, о независимых церквах Англии, Америки и Швейцарии, а не о подчиненных церквах Германии. Эти последние не обладают никакой собственной инициативой; они делают то, что их господа, их светские государи, которые в то же время являются и их духовными вождями, приказывают им делать. Известно, что протестантская пропаганда, особенно Англии и Америки, очень тесно связана с пропагандой материальных коммерческих интересов этих двух великих наций. И известно, что эта последняя пропаганда отнюдь не имеет своим предметом обогащение и материальное процветание стран, в которые она проникает в союзе со словом Божиим, но именно эксплоатацию этих стран для обогащения и все возрастающего материального благосостояния некоторых классов своей собственной страны, которые являются одновременно и чрезвычайно эксплоататорскими и чрезвычайно набожными.

Одним словом, совсем не трудно доказать с историческими данными в руках, что церковь, что все церкви, христианские и нехристианские, на ряду со своей духовной пропагандой и вероятно, чтобы ускорить и укрепить ее успех, никогда не пренебрегали тем, чтобы сорганизоваться в крупные компании для экономической эксплоатации масс и их труда под покровительством и с прямого и специального благословения какого-нибудь божества; что все государства, которые при своем происхождении, как известно, были со всеми своими политическими и юридическими учреждениями и своими господствующими и привилегированными классами ничем иным, как светскими отделениями этих различных церквей, имели также своим главным предметом лишь ту же самую эксплоатацию на пользу светского меньшинства, косвенно узаконенного церковью, и что вообще деятельность Господа Бога и всех божественных идей на земле в конце концов приводила всегда и везде к созданию материального процветания немногих на почве фанатического идеализма постоянно голодающих масс.

То, что мы видим сейчас, служит лишь новым доказательством этого. За исключением заблуждающихся великих сердец и великих умов, названных мною выше, кто ныне является самыми ожесточенными защитниками идеализма? Во-первых, все царствующие дома и их придворные. Во Франции—Наполеон III со своей супругой, госпожей Евгенией; все их бывшие министры, царедворцы и маршалы от Руэ и Базэна до Флери и Пиетри; мужи и жены императорского мира, которые так хорошо идеализировали и спасли Францию; журналисты и ученые: Кассаньяки, Жирардены, Дювернуа, Вельо, Леверрье, Дюма; наконец, черная фаланга иезуитов и иезуиток во всевозможных рясах и одеждах; все дворянство и вся высшая и средняя буржуазия Франции; либеральные доктринеры и либералы без доктрин: Гизо, Тьерье, Жюли Фавры, Пельтаны и Жюли Симоны; все ожесточенные защитники буржуазной эксплоатации. В Пруссии, в Германии,—Вильгельм I, истинный современный представитель Господа Бога на земле; все его генералы, все его померанские и другие офицеры, вся его армия, которая, сильная своей религиозной верой, завоевала Францию всем известным „идеальным“ способом. В России,—царь и весь его двор; Муравьевы и Берги, все убийцы и набожные усмирители Польши. Повсюду, одним словом, религиозный или философский идеализм (причем

один есть лишь более или менее свободное толкование второго) служит ныне знаменем материальной эксплоатации. Напротив того, знамя теоретического материализма, красное знамя экономического равенства и социальной справедливости, поднято практическим идеализмом угнетенных и изголодавшихся масс, стремящихся осуществить наибольшую свободу и человеческие права каждого в братстве всех людей на земле.

Кто же истинные идеалисты, идеалисты не отвлеченности, но жизни, не неба, но земли, и кто—материалисты?

Очевидно, что основное условие теоретического или божественного идеализма—пожертвование логикой, человеческим разумом, отказ от науки. С другой стороны мы видим, что, защищая идеалистические доктрины, невольно оказываешься увлеченным в стан угнетателей и эксплоататоров народных масс. Вот, два важных основания, которые должны были казаться достаточными, чтобы отдалить от идеализма всякий великий ум, всякое великое сердце. Как же случилось, что наши знаменитые современные идеалисты, у которых, конечно, нет недостатка ни в уме, ни в сердце, ни в доброй воле, и которые посвятили все свое существование целиком служению Человечеству,—как же случилось, что они упорно остаются в рядах представителей доктрины, отныне осужденной и обесчещенной?

Нужно, чтобы они были побуждаемы к этому очень сильными мотивами. Это не может быть ни логика, ни наука, ибо и логика, и наука против идеалистической доктрины. Это не могут быть, разумеется, и личные интересы, ибо такие люди бесконечно выше всего, что может быть названо личным интересом. Нужно, следовательно, чтобы это был сильный мотив морального порядка. Какой же? Он может быть только один: эти знаменитые люди думают, конечно, что идеалистические теории или верования существенно необходимы для достоинства и морального величия человека, и что материалистические теории, напротив того, понижают его до уровня животного.

А если верно обратное?

Всякое развитие, как я уже сказал, влечет за собою отрицание исходной точки. Так как исходная точка, по учению материалистической школы, материальна, то отрицание ее необходимо должно быть идеально. Исходя от совокупности реального мира или от того, что отвлеченно назы-

вают материей, материализм логически приходит к действительной идеализации, то есть к гуманизации, к полной и совершенной эмансипации общества. Напротив того, так как по той же самой причине исходная точка идеалистической школы идеальна, то эта школа неизбежно приходит к материализации общества, к организации грубого деспотизма и к подлой, несправедливой эксплоатации в форме Церкви и Государства. Историческое развитие человека по учению материалистической школы есть прогрессивное восхождение, а по идеалистической системе оно может быть лишь непрерывным падением.

Какой бы вопрос, касающийся человека, мы ни затронули, мы всегда натолкнемся на то же основное противоречие между двумя школами. Таким образом, как уже я отметил, материализм исходит от животности, чтобы установить человечность; идеализм исходит от божественности, чтобы установить рабство и осудить массы на без'исходную животность. Материализм отрицает свободную волю и приходит к установлению свободы; идеализм во имя человеческого достоинства провозглашает свободную волю и на развалинах всякой свободы основывает власть. Материализм отвергает принцип власти, ибо рассматривает ее с полным основанием, как порождение животности, и потому что, напротив того, торжество человечества, которое, по его мнению есть главная цель и смысл истории, осуществимо лишь при свободе. Одним словом, в любом вопросе вы всегда уличите идеалистов в практическом осуществлении материализма. Между тем как материалистов вы, напротив того, увидите всегда преследующими и осуществляющими самые глубоко-идеальные стремления и мысли.

По системе идеалистов история, как я уже сказал, не может быть ничем иным, как непрерывным падением. Они начинают с ужасного падения, после которого никогда уже не поднимаются, с божественного *сальто-мортале* из возвышенных сфер чистой абсолютной идеи—в область материи. И заметьте еще—какой материи! Не той вечно деятельной и подвижной материи, полной свойств и сил, жизни и ума, какою она нам представляется в реальном мире, но материи отвлеченной, обедненной, и сведенной к абсолютной нищете путем форменного грабежа этими „пруссаками мысли“, то есть теологами и метафизиками, которые из нее все украли, чтобы отдать своему Императору, своему Богу,—

той материи, которая, лишенная всех присущих ей свойств, всякой деятельности и всякого движения, представляет лишь в противоположность божественной идее абсолютную глупость, непроницаемость, инертность и неподвижность.

Это падение столь ужасно, что Божество, божественная личность или идея, сплющивается, теряет сознание самой себя и уже никогда не находит себя. И в этом отчаянном положении она еще вынуждена творить чудеса! Ибо раз материя инертна, всякое движение, которое происходит в мире, даже самое материальное, есть чудо и может быть лишь продуктом божественного вмешательства, действий Бога на материю. И вот это бедное Божество, разжалованное и почти уничтоженное своим падением, остается несколько тысяч веков в этом обморочном состоянии, затем медленно пробуждается, стремясь всегда безуспешно схватить какое-нибудь смутное воспоминание о себе самом; и всякое движение, которое оно производит с этой целью в материи, становится творением, новой формацией, новым чудом. Таким путем оно проходит через все ступени материальности и животности: сперва газ, простое или, скорее, химическое тело, минерал, оно затем распространяется по земле в виде растительной и животной организации, потом сосредоточивается в человеке. Здесь оно как будто должно бы найти себя, ибо в каждом человеческом существе оно возжигает ангельскую искру, частицу своего собственного божественного существа, бессмертную душу.

Как удалось ему вложить абсолютно-нематериальное вещество в вещество абсолютно-материальное? Как тело может содержать, заключать в себе, ограничивать, парализовать чистый дух? Вот, еще один из вопросов, который только вера, это страстное и глупое утверждение нелепости может разрешить. Это—самое великое чудо. Здесь мы можем лишь установить результаты, практические следствия этого чуда.

После тысяч веков бесполезных усилий, чтобы притти в себя, Божество, потерянное и распространенное в материи, которую оно одушевляет, и которую приводит в движение, находит точку опоры, своего рода фокус своего собственного сосредоточения. Это—человек, это—его бессмертная душа, странным образом заключенная в смертном теле. Но каждый отдельный человек, рассматриваемый индивидуально бесконечно ограничен, слишком мал, чтобы заключать божественную безграничность; он может содержать в себе

лишь чрезвычайно малую частицу ее, бессмертную как Целое, но бесконечно меньшую, нежели Целое. Отсюда следует, что божественное Существо, Существо абсолютно нематериальное, Дух, делим как и материя. Вот, еще другая тайна, решение которой нужно предоставить вере.

Если бы Бог весь целиком мог поместиться в каждом человеке, тогда каждый человек был бы Богом. Мы бы имели бесконечное количество Богов, причем каждый оказывался бы ограничен всеми другими, и в то же время каждый был бы бесконечен—противоречие, которое непременно повлекло бы взаимное уничтожение людей в виду невозможности существования более, чем одного. Что же касается частиц, то это другое дело. В самом деле нет ничего более рационального, чем то, чтобы одна частица была ограничена другою и была меньше своего целого, Только здесь представляется другое противоречие. Существо ограниченное, существо большее и существо меньшее, это—свойство материи, но не духа. У такого духа, каким его представляют себе материалисты, это конечно, может быть, ибо по учению материалистов действительный дух, душа есть ни что иное, как функционирование материального организма человека. И тогда большая или меньшая величина души абсолютно зависит от большего или меньшего совершенства человеческого организма. Но эти самые свойства ограничения и относительной величины не могут быть приписаны духу, каким его понимают идеалисты, душе абсолютно не материальной, духу существующему вне всякой материи. Там не может быть ни большего, ни меньшего никакой границы между духами, ибо есть лишь один Дух и Бог. Если прибавить, что бесконечно малые и ограниченные частицы, составляющие человеческие души, в то же время бессмертны, мы дойдем до верха противоречий. Но это вопрос веры. Не будем останавливаться на нем.

Итак, следовательно, Божество разорвано и вмещено бесконечно малыми дозами в бесконечное количество существ обоего пола, всех возрастов, всех рас и всех цветов.

Это для него, в высшей степени неудобное и несчастное положение, ибо божественные частицы столь мало узнают друг друга в начале своего человеческого существования, что начинают с пожирания друг друга. Однако, среди этого состояния варварства и чисто животной грубости нравов, божественные частицы, человеческие души сохраняют смутное воспоминание своей первобытной божественности и

непобедимо влекутся к Целому. Они ищут друг друга, они ищут его. Это—само Божество, распространенное и затерянное в материальном мире, ищет себя в людях, и оно столь разрушено множественностью человеческих тюрем, в которых рассеяно, что ища себя, совершает кучу глупостей.

Начиная с фетишизма, оно ищет себя и поклоняется самому себе то в камне, то в кусочке дерева, то в тряпке. Даже весьма вероятно, что оно никогда не вышло бы из тряпки, если бы *другое* божество, которое воздержалось от падения в материю, и которое сохранилось в состоянии чистого духа на возвышенных высотах абсолютного идеала или в небесных сферах, не сжалилось бы над ним.

И вот опять новая тайна,—тайна Божества, раскалывающегося на две половины, из которых каждая является целой и бесконечной, и из коих одна—Бог Отец—скрывается в чистых нематериальных областях, а другая, Бог Сын,—снизошла в материю. Мы увидим сейчас установившиеся непрерывные сношения сверху вниз и снизу вверх между этими двумя Божествами, отделенными одно от другого. И эти сношения, рассматриваемые, как единый, вечный и постоянный акт, составляют Святой Дух. Такова в своем истинном теологическом и метафизическом смысле великая страшная тайна христианской Троицы.

Но покинем скорее эти высоты и посмотрим, что происходит на земле.

Бог Отец, видя с высоты своего вечного великолепия, что бедняга Бог Сын, сплющенный и ошеломленный падением, до такой степени погрузился и потерялся в материи что, придя даже в человеческое состояние, не может найти себя, решается, наконец, помочь ему.

Из огромного количества этих частиц, одновременно бессмертных, божественных и бесконечно малых, в которых Бог Сын рассыпан до такой степени, что не может больше узнать Самого Себя, Бог Отец выбирает наиболее ему понравившиеся и делает их своими вдохновенными, своими пророками, своими „добродетельными гениями“, великими благодетелями и законодателями человечества: Зороастр, Будда, Моисей, Конфуций, Ликург, Солон, Сократ, божественный Платон и особенно Іисус Христос, совершенная реализация Бога Сына, наконец, собранного и сконцентрированного в единую человеческую личность; все апостолы, Святой Петр, Святой Павел и особенно Святой Іоанн; Константин Великий, Магомет, затем Карл Великий, Григорий VII,

Данте, по мнению некоторых также и Лютер, Вольтер и Руссо, Робеспьер и Дантон, и много других великих и святых исторических персонажей, всех имен которых невозможно припомнить, но среди которых, я, в качестве русского, прошу не забыть Святого Николая.

Итак, мы дошли до проявления Бога на земле. Но сейчас же, как только Бог появляется, человек сводится на ничто. Скажут, что он нисколько не сводится на ничто, ибо он сам частица Бога. Виноват! Я допускаю, что частица, кусочек определенного ограниченного целого, как бы мала ни была эта частица, является некоторым количеством, относительной величиной. Но часть, частица бесконечно великого, по сравнению с ним необходимо бесконечно мала. Умножьте миллиарды миллиардов на миллиарды миллиардов их произведение по сравнению с бесконечно великим будет бесконечно мало, а бесконечно малое равно нулю. Бог—все, следовательно человек и весь реальный мир с ним вместе, вселенная,—ничто. Вы не выйдете из этого.

Бог появляется, человек сводится на ничто. И чем больше Божество делается великим, тем человечество делается более несчастным. Такова история всех религий. Таков результат всех божественных вдохновений и законодательств. В истории имя Бога есть страшная историческая палица, которою все божественно вдохновленные, великие „добродетельные гении“, сокрушили свободу, достоинство, разум и благосостояние людей.

Мы имели вначале падение Бога. Мы имеем теперь падение, более интересующее нас,—падение человека, причиненное одним лишь появлением или проявлением Бога на земле.

Поглядите же, в каком глубоком заблуждении находятся наши дорогие знаменитые идеалисты. Говоря нам о Боге, они думают, они хотят возвысить нас, эмансипировать облагородить и, напротив того, они нас давят и обесценивают. Они воображают, что с помощью имени Бога они сами смогут установить братство среди людей, и напротив того, они создают гордость, презрение, они сеют раздоры, ненависть, войну, они основывают рабство. Ибо с Богом непременно приходят различные степени божественного вдохновения; человечество делится на весьма вдохновленных на менее вдохновленных и на совсем не вдохновленных.

Правда, все они равно ничтожны перед Богом; но по сравнению друг с другом одни более велики, нежели другие и не только фактически, что было бы не существенно, ибо фактическое неравенство теряется само собою в коллективности, раз оно не находит в ней ничего, никакой фикции или законного установления, за которое могло бы уцепиться; нет, одни более велики, чем другие по божественному праву вдохновения, что тотчас же создает неравенство закрепленное. постоянное, окаменелое. Более вдохновленным *должны* внимать и повиноваться менее вдохновленные; и менее вдохновленным—совсем не вдохновленные. Вот, хорошо установленный принцип власти и с ним два основных учреждения рабства: Церковь и Государство.

Из всех деспотизмов, деспотизм доктринеров или религиозных вдохновленных есть наихудший. Они так ревностно относятся к славе своего Бога и к торжеству своей идеи, что в их сердце не остается больше места ни для свободы, ни для достоинства, ни даже для страданий живых людей, реальных людей. Божественная ревность, заботы об идее иссушают в конце концов в самых нежных душах, в самых сострадательных сердцах источник любви к человеку. Рассматривая все, что существует, все, что делается в мире с точки зрения вечности или отвлеченной идеи, они с пренебрежением относятся к вещам преходящим; но ведь вся жизнь реальных людей из плоти и костей составлена лишь из преходящих вещей. Они сами существа преходящие, которые, уходя, правда, замещаются другими точно также преходящими, но никогда не возвращаются в своей индивидуальности. Что есть постоянного или относительно вечного в реальных людях, так это факт существования человечества, которое, развиваясь непрерывно, переходит все более богатое от одного поколения к другому. Я говорю *относительно* вечного, ибо когда наша планета будет разрушена—а она не преминет погибнуть рано или поздно, ибо все, что имеет начало, должно непременно иметь конец, — когда наша планета разложится, чтобы послужить, без сомнения, какому-нибудь новому образованию в системе вселенной, единственно реально вечной, кто знает, что сделается со всем человеческим развитием? Однако, так как момент этого разрушения бесконечно удален от нас, мы вполне можем рассматривать человечество, как вечное, относительно столь короткой человеческой жизни. Но самый этот факт прогрессивного человечества реален и жизненен,

лишь поскольку он проявляется и осуществляется в определенное время, в определенном месте, в людях действительно живых, а не в его общей идее.

Общая идея всегда есть отвлечение и, по этому самому, в некотором роде—отрицание реальной жизни. Я устанавливаю в Приложении то свойство человеческой мысли, а следовательно также и науки, что она в состоянии схватить и назвать в реальных фактах лишь их общий смысл, их общие отношения, их общие законы; одним словом, мысль и наука могут схватить то, что постоянно в их непрерывных превращениях вещей, но никогда не их материальную, индивидуальную сторону, трепещущую, так сказать, жизнью и реальностью, но именно в силу этого быстротечную и неуловимую. Наука понимает мысль о действительности, но не самую действительность, мысль о жизни, но не самую жизнь. Вот, граница, единственная граница, действительно непереходимая для нее, ибо она обусловлена самой природой человеческой мысли, которая есть единственный орган науки.

На этой природе мысли основываются неоспоримые права и великая миссия науки, но также и ее жизненное бессилие и даже ее зловредное действие всякий раз, как в лице своих оффициальных дипломированных представителей она присваивает себе право управлять жизнью. Миссия науки такова: устанавливая общие отношения преходящих и реальных вещей, распознавая общие законы, которые присущи развитию явлений, как физического, так и социального мира, она ставит так сказать, незыблемые вехи прогрессивного движения человечества, указывая людям общие условия, строгое соблюдение коих необходимо, и незнание или забвение коих всегда приводит к роковым последствиям. Одним словом, наука это—компас жизни, но это не есть жизнь. Наука незыблема, безлична, обща, отвлеченна, нечувствительна, подобно законам, коих она есть лишь идеальное, отраженное или умственное, то есть *мозговое* отражение (подчеркиваю это слово, чтобы напомнить, что сама наука есть лишь материальный продукт материального органа материального организма человека, *мозга).* Жизнь вся быстротечна и преходяща, но также и вся трепещет реальностью и индивидуальностью, чувствительностью, страданиями, радостями, стремлениями, потребностями и страстями. Она одна самопроизвольно творит вещи и все реаль-

ные существа. Наука ничего не создает, она лишь констатирует и признает творения жизни. И всякий раз, как люди науки, выходя из своего отвлеченного мира, вмешиваются в дело живых творений в реальном мире, все, что они предлагают, или все, что они создают,—бедно, до смешного отвлеченно, лишено крови и жизни, мертворожденно на подобие *Гомункула*, созданного Вагнером, педантичным учеником бессмертного доктора Фауста. Из этого следует, что наука имеет своей единственной миссией освещать жизнь, но не управлять ею.

Правительство науки и людей науки, хотя бы они и назывались позитивистами, учениками Огюста Конта или даже учениками доктринерской школы немецких коммунистов, может быть лишь бессильным, смешным, бесчеловечным, жестоким, угнетающим, эксплоатирующим, зловредным. Можно сказать о людях науки, *как о таковых*, то же, что я сказал уже о теологах и метафизиках: у них нет ни чувства, ни сердца, для того, чтобы быть индивидуальными и живыми. И в этом их даже нельзя упрекнуть, ибо это естественное следствие их ремесла. Будучи людьми науки, они только и могут интересоваться, что обобщениями, законами *)...

(Не хватает трех страничек рукописи).

...Они не исключительно люди науки, они также более или менее люди жизни.

---

*) Кооперативная типография в Женеве получила в несколько приемов 210 первых листов рукописи Бакунина. Эти листы были целиком набраны. Существуют корректурные оттиски с 44 колонн набора той части рукописи, которая не вошла в первый выпуск *Кнуто-Германской Империи*. Эти оттиски сохранились в бумагах Бакунина и прерываются на слове „законами", слове, которое стоит последним на листке 210, но не приходится последним в строчке оттиска, оставляя, наоборот, ее незаконченной,—верное доказательство, что типография не имела листка 211-го и не могла продолжать набор дальше листка 210.

Когда неизданные еще рукописи Бакунина упаковывались в ящик, чтобы быть пересланными мне (в 1877 г.), три листка 211—213 не могли быть розысканы. Ящик заключал в себе листки с 138 (конец) по 210, затем листки 214—340. Листков же 211, 212 и 213 не хватало. Какова причина их утраты? Я никак не могу догадаться.

Издатели брошюры „Бог и Государство" попытались заполнить этот пробел. Они соединили последнюю строчку листка 210 с первого листка 214 при помощи 23 х строчек текста, не принадлежащего Бакунину, и который должен был быть составлен Элизе Реклю. Я не воспроизвожу этот выдуманный текст, предпочитая предоставить самому читателю труд заполнить его собственным размышлением то, чего не хватает здесь в рукописи. Дж. Г.

Во всяком случае не следует на это слишком полагаться. И если можно быть почти уверенным, что никакой ученый не посмеет теперь обращаться с человеком, как он обращается с кроликом *), тем не менее всегда следует опасаться, как бы коллегия ученых, если только это ей позволить, не подвергла живых людей научным опытам, без сомнения менее жестоким, но которые были бы не менее от этого гибельны для человеческих жертв. Если ученые не могут производить опытов над телом отдельных людей, они только и жаждут произвести их над телом социальным, и вот в этом то им следует непременно помешать.

В своей нынешней организации, монополисты науки ученые, оставаясь в качестве таковых вне общественной жизни, образуют несомненно особую касту, имеющую много сходного с кастой священников. Научная отвлеченность есть их Бог. живые и реальные индивидуальности—жертвы, а сами они—патентованные и посвященные жрецы.

Наука не может выйти из области отвлеченностей. В этом отношении она бесконечно ниже искусства, которое также, собственно говоря, имеет дело лишь с общими типами и с общими положениями. Но благодаря свойственным ему приемам, оно умеет воплотить их формы, хотя и не живые в смысле реальной жизни, по тем не менее вызывающие в нашем воображении чувство или воспоминание о жизни. Оно в некотором роде индивидуализирует типы и положения, которые восприняло, и этими индивидуальностями без плоти и костей, которые являются в силу того постоянными или бессмертными, и которые оно имеет силу творить, оно напоминает нам живые, реальные индивидуальности, появляющиеся и исчезающие у нас на глазах. Искусство есть следовательно, в некотором роде возвращение абстракции к жизни.

Наука же, напротив того, есть вечное приношение в жертву быстротечной, преходящей, но реальной жизни на алтарь вечных абстракций.

Наука так же мало способна схватить индивидуальность человека, как и индивидуальность кролика. Другими словами она одинаково равнодушна как к тому, так и другому,—не потому, чтобы ей был неизвестен принцип инди-

---

*) Кажется, что в недастающих листках Бакунин говорил о вивисекции и об опытах, произведенных учеными с кроликами. Дж. Г.

видуальности. Она его прекрасно сознает, как принцип, но не как факт. Она прекрасно знает, что все животные виды, включая сюда вид человека, имеют реальное существование лишь в неопределенном числе индивидов, рождающихся и умирающих, уступающих место новым индивидам, равным образом преходящим. Наука знает, что, по мере того, как поднимаешься от животных видов к видам высшим, принцип индивидуальности становится все больше определенным, индивиды становятся более совершенными и более свободными. Она знает, наконец, что человек, последнее и самое совершенное животное на этой земле, представляет собою самую полную и самую достойную рассмотрения индивидуальность по причине его способности понимать и конкретизировать, олицетворять, в некотором роде, в себе самом и в своем существовании, как общественном, так и частном, универсальный закон. Она знает, когда она не заражена доктринерством, — теологическим, метафизическим, политическим или юридическим, или даже узко научной гордостью, и когда она не остается глухою к инстинктам и самопроизвольным стремлениям жизни,—она знает—и это ее последнее слово,—что уважение человеческой личности есть высший закон человечества, и что великая, настоящая цель истории, единственная, законная,—это гуманизация и эмансипация—очеловечение и освобождение, реальная свобода, реальное благосостояние, счастье каждого живущего в обществе индивида. Ибо в конечном счете, если только не вернуться к свободе убийственной фикции общественного блага под сенью Государства, фикции всегда основанной на систематическом принесении народных масс в жертву,—нужно признать, что коллективная свобода и благосостояние реальны лишь тогда, когда они представляют собою сумму индивидуальных свобод и процветаний.

Наука знает все это, но она не считается, не может считаться с этим. Так как абстракция составляет истинную природу науки, она может понять принцип живой и реальной индивидуальности, но ей нечего делать с реальными и живыми индивидами. Она занимается индивидами вообще, но не Петром и Яковом, не тем или другим индивидом, не существующим, не могущим существовать для нее. Повторяю,—индивиды, с которыми она может иметь дело, суть лишь абстракции.

Однако, историю делают не абстрактные, но реальные, живые, преходящие индивиды. У абстракций нет своих спо-

собов передвижения, они двигаются лишь, когда их носят реальные люди. Для этих же существ, состоящих не только в идее, но реально из плоти и крови, наука—нечто бессердечное. Она рассматривает их самое большее, как *мясо (материал) для интеллектуального и социального развития*. Что ей до частных условий и до мимолетной судьбы Петра или Якова? Она поставила бы себя в смешное положение, она отреклась бы от своей роли, уничтожила бы себя, если бы захотела принять их за что нибудь иное, чем за простые примеры в подтверждение своих вечных теорий. И смешно было бы претендовать на нее за это, ибо не в том ее миссия. Она не может схватить конкретное. Она может двигаться лишь в абстракциях. Ее миссия—заниматься *общими* положениями и условиями существования и развития либо вообще человеческого рода, либо определенной расы, породы, класса или категории индивидов, *общими* причинами их процветания или их упадка и *общими* средствами для их усовершенствования во всех отношениях. Лишь бы она выполнила этот труд широко и рационально—тем самым она выполнила бы весь свой долг, и было бы поистине смешно и несправедливо требовать от нее большего.

Но равным образом было бы смешно и даже опасно доверять ей миссию, выполнить которую она неспособна. Так как ей свойственно игнорировать существование и участь Петра и Якова, то никогда не следует позволять ни ей, ни кому бы то ни было во имя ее управлять Петром и Яковом. Ибо она была бы вполне способна обращаться с ними почти так же, как она обращается с кроликами. Или скорее она продолжала бы игнорировать их; но ее патентованные представители, люди далеко не абстрактные, напротив того, весьма живые, имеющие очень реальные интересы, идущие на уступки под вредным влиянием, которое привилегии роковым образом оказывают на людей,—они кончили бы тем, что стали бы сдирать с этого Петра и Якова шкуру во имя науки, как до тех пор сдирали с них шкуру попы, политики всех мастей и адвокаты, во имя Бога, Государства и юридического права.

То, что я проповедую, есть, следовательно, до известной степени *бунт жизни против науки* или скорее *против правления науки*, не разрушение науки,—это было бы преступлением против человечества,—но водворение науки на ее настоящее место, чтобы она уже никогда не могла покинуть его. До настоящего времени, вся история человече-

ства была лишь вечным и кровавым приношением миллионов бедных человеческих существ в жертву какой-либо безжалостной абстракции: бога, отечества, могущества государств, национальной чести, прав исторических, прав юридических, политической свободы, общественного блага. Таково было до сих пор естественное, самопроизвольное и роковое движение человеческих обществ. Что касается прошлого, то мы ничего не можем с ним поделать и должны принять его, как принимаем естественную необходимость. Нужно думать, что это был единственный возможный путь воспитания человеческого рода. Ибо не следует обманывать себя: даже признавая самую обширную роль за маккиавелистическими ухищрениями правящих классов, мы должны признать, что никакое меньшинство не было достаточно могущественно, чтобы навязать массам все эти ужасные самопожертвования, если бы в самих массах не имелось безумного самопроизвольного движения, толкающего их все к новым самопожертвованиям во имя одной из этих прожорливых абстракций, которые, подобно историческим вампирам, всегда питались человеческой кровью.

Что теологи, политики и юристы находят это прекрасным, это само собой понятно. Жрецы этих абстракций, они только этими постоянными жертвоприношениями народных масс и живут. Что метафизика соглашается с этим, это также не должно удивлять нас. Ее миссия в том и заключается, что она узаконивает и оправдывает, насколько возможно, все, что само по себе вопиюще несправедливо и нелепо. Но мы должны с прискорбием констатировать, что сама положительная наука выказывала до сих пор те же тенденции. Она могла делать это лишь по двум причинам: во-первых, потому, что, развившись вне жизни народных масс, она представлена привилегированной группой, и затем потому, что до сих пор она ставила себя самое абсолютной и последней целью всякого человеческого развития. Между тем путем справедливой критики, на какую она способна, и какую в конце-концов она увидит себя вынужденной направить против себя самой, она должна бы понять, что она есть лишь необходимое средство для осуществления более высокой цели,—полной гуманизации *реального* положения всех *реальных* индивидов, которые рождаются, живут и умирают на земле.

Громадное преимущество позитивной науки над теологией, метафизикой, политикой и юридическим правом за-

ключается в том, что на место лживых и гибельных абстракций, проповедуемых этими доктринами она ставит истинные абстракции, выражающие общую природу или самую логику вещей, их общих отношений и общих законов их развития. Вот, что резко отделяет ее от всех предыдущих доктрин, и что всегда обеспечит ей важное значение в человеческом обществе. Она явится в некотором роде его коллективным сознанием. Но есть одна сторона, которою она соприкасается абсолютно со всеми этими доктринами: именно, что ее предметом являются и не могут не являться лишь абстракции, и что она вынуждена самою своей природою игнорировать реальных индивидов, вне которых даже самые верные абстракции отнюдь не имеют реального воплощения. Чтобы исправить этот коренной недостаток, нужно установить следующее различие между практической деятельностью вышеупомянутых доктрин и позитивной науки. Первые пользовались невежеством масс, чтобы со сладострастием приносить их в жертву своим абстракциям. Вторая же, признавая свою абсолютную неспособность сознать реальных индивидов и интересоваться их судьбой, должна окончательно и абсолютно отказаться от управления обществом; ибо, если бы она вмешалась, то не могла бы делать это иначе, чем принося всегда в жертву живых людей, которых она не знает, своим абстракциям, составляющим единственный законный предмет ее изучения.

Истории, как действительной науки, например, еще не существует, и в настоящее время едва начинают намечаться бесконечно сложные задачи этой науки. Но предположим, что история, наконец, сложилась в окончательную форму,— что она могла бы дать нам? Она воспроизведет верную и продуманную картину естественного развития как материальных, так и духовных, как экокомических, так и политических, социальных, религиозных, философских, эстетических и научных общих условий обществ, имеющих свою историю. Но эта универсальная картина человеческой цивилизации, как бы она ни была детализирована, никогда не сможет представлять из себя что-либо иное, чем общую и следовательно *абстрактную* оценку,—абстрактную в том смысле, что миллиарды человеческих индивидов, составлявших *живой и страдающий материал* этой истории, одновременно торжествующей и мрачной,—торжествующей с точки зрения ее общих результатов и мрачной с точки зрения бесчисленных искателей, человеческих жертв, „разда-

вленных колесами ее колесницы",—эти миллиарды безвестных индивидов, без которых однако не был бы достигнут ни один из великих абстрактных результатов истории, и на долю которых—заметьте это хорошенько—никогда не выпала возможность воспользоваться ни одним из достигнутых результатов,—эти индивиды не найдут себе ни малейшего местечка в истории. Они жили и они были принесены в жертву, раздавлены для блага абстрактного человечества, вот и все.

Следует ли упрекать за это историческую науку? Это было бы смешно и несправедливо. Индивиды неуловимы для мысли, для размышления и даже для слова человеческого, которое способно выражать лишь абстракции,—неуловимы в настоящем точно так же, как и в прошлом. Следовательно сама социальная наука, наука будущего будет по прежнему неизбежно игнорировать их. Все, что мы имели право требовать от нее, это то, чтобы она указала нам верно и определенно *общие причины индивидуальных страданий*,—и среди этих причин она не забудет, разумеется, принесение в жертву и подчинение,—увы! слишком еще обычные и в наше время—живых индивидов отвлеченным обобщениям; в то же время она должна показать нам *общие условия, необходимые для действительного освобождения индивидов, живущих в обществе.* Такова ее миссия, и таковы ее пределы, за которыми деятельность социальной науки может быть лишь бессильной и пагубной. Ибо за этими пределами начинаются доктринерские и правительственные претензии ее патентованных представителей, ее жрецов. Пора уже покончить со всеми папами и жрецами: мы не хотим их даже, если бы они назывались социал-демократами.

Повторяю еще раз,—единственная миссия науки это—освещать путь. Но только сама жизнь, которая освобождена от всех правительственных и доктринерских преград, и которой предоставлена полнота ее самопроизвольности, может творить.

Как разрешить такое противоречие?

С одной стороны наука необходима для рациональной организации общества; с другой стороны неспособная интересоваться реальным и живым она не должна вмешиваться в реальную и практическую организацию общества.

Это противоречие может быть разрешено лишь одним способом: наука, как моральное начало, существующее вне

всеобщей общественной жизни, и представленное корпорацией патентованных ученых, должна быть ликвидирована и распространена в широких народных массах. Призванная отныне представлять коллективное сознание общества, она должна действительно стать всеобщим достоянием. Ничего не теряя от этого в своем универсальном характере, от которого она никогда не сможет отделаться, не перестав быть наукой, и продолжая заниматься исключительно общими причинами, общими условиями и общими отношениями индивидов и вещей, она в действительности сольется с непосредственной и реальной жизнью всех человеческих индивидов. Это будет движение, аналогичное тому, которое заставило протестантов в начале реформации говорить, что нет нужды в священниках, ибо отныне всякий человек, делается своим собственным священником благодаря невидимому непосредственному вмешательству нашего Господа Иисуса Христа, так как ему удалось наконец, проглотить своего Господа Бога. Но здесь речь не идет ни о Господе нашем Иисусе Христе, ни о Господе Боге, ни о политической свободе, ни о юридическом праве,—все эти вещи, как известно, суть метафизические откровения и все одинаково неудобоваримы.

Мир научных абстракций—вовсе не есть откровение; он присущ реальному миру, коего он есть лишь общее или абстрактное выражение и представление. Покуда он образует отдельную область, представленную специально корпорацией ученых, этот идеальный мир угрожает нам занять место Господа Бога по отношению к реальному миру и предоставить своим патентованным представителям обязанности священников. Вот, почему нужно растворить отдельную социальную организацию, ученых во всеобщем и равном для всех образовании, чтобы массы, перестав быть стадом, ведомым и стригомым привилегированными пастырями могли отныне взять в свои руки свои собственные исторические судьбы *).

---

*) Наука, становясь всеобщим достоянием, сольется в некотором роде с непосредственной и реальной жизнью каждого. Она выиграет в пользе и приятности то, что потеряет в гордости, в честолюбии и педантическом доктринерстве. Это конечно, не помешает тому, чтобы гениальные люди, более способные к научным изысканиям, нежели большинство их современников, отдались более исключительно, чем другие, культивированию наук и оказали великие услуги человечеству, не претендуя тем не менее на иное социальное влияние, чем естественное влияние, кото-

Но пока массы не достигнут известного уровня образования, не следует ли предоставить людям науки управлять ими? Избави Бог,—лучше им вовсе обойтись без науки, нежели быть *управляемыми* учеными. Первым следствием существования правительства ученых было бы установление недопустимости науки для народа. Это было бы неизбежно правительство аристократическое, ибо современные научные учреждения аристократичны. Умственная аристократия! С точки зрения практической она наиболее неумолимая и с точки зрения социальной наиболее надменная и оскорбительная,—такова была бы власть, установленная во имя науки. Подобный режим был бы способен парализовать жизнь и движение в обществе. Ученые всегда самодовольные, самовлюбленные и бессильные, захотели бы вмешиваться во все, и все источники жизни иссякли бы под их абстрактным и ученым дыханием.

Еще раз повторяю,—жизнь, а не наука творит жизнь; самопроизвольная деятельность самого народа одна может создать народную свободу, Без сомнения, было бы большим счастьем, если бы наука могла уже теперь освещать самопроизвольное шествие народа к его освобождению. Но лучше отсутствие света, чем ложный свет, скудно зажженный извне с очевидной целью сбить народ с правильного пути. Впрочем, совершенного отсутствия света народ не испытает.

Не напрасно он прошел длинный исторический путь и оплатил свои ошибки веками страшных страданий. Практический опыт этих болезненных испытаний представляет собою своего рода традиционную науку, которая в известных отношениях стоит теоретической науки. Наконец, часть учащейся молодежи, те из буржуазных учащихся, которые чувствуют достаточно ненависти ко лжи, к лицемерию, к не справедливости и к подлости буржуазии, чтобы найти в себе самих мужество повернуться к ней спиной, и достаточно энтузиазма, чтобы беззаветно отдаться справедливому и гуманному делу пролетариата, эта молодеж будет, как я уже сказал, братским руководителем народа; неся народу знания, которых ему еще не достает, она сделает, совершенно бесполезным правительство ученых.

рое более высокая интеллектуальность никогда не перестанет оказывать в своей среде: ни на иную награду кроме той, какую каждый избранный ум находит в удовлетворении своей благородной страсти (примеч. Бакунина).

Если народ должен остерегаться правительства ученых, он еще с большим основанием должен остерегаться правительства вдохновленных идеалистов. Чем более искренни эти верующие и поэты небес, тем более становятся они опасными. Научная абстракция, как я уже сказал, есть рациональная абстракция, верная в своей сущности, необходимая в жизни, теоретическим представлением, сознанием которой она является. Она может, она должна быть поглощена и переварена жизнью. Идеалистическая абстракция Бог есть раз'едающий яд, разрушающий и разлагающий жизнь, искажающий и убивающий ее. Гордость идеалиста, будучи отнюдь не личной, но божественной,—непобедима и неумолима. Он может, он должен умереть. но он никогда не уступит и до последнего издыхания он будет пытаться поработить мир под каблук своего Бога, как прусские лейтенанты, эти практические идеалисты Германии, хотели бы видеть мир раздавленным сапогом со шпорой своего короля Это та же вера—ее об'екты даже не слишком различны—и тот же результат веры,—рабство.

В то же время это—победа самого грязного и самого грубого материализма: нет нужды доказывать это относительно Германии, ибо нужно бы поистине быть слепым, чтобы не видеть этого в настоящее время. Но я считаю еще необходимым доказать это относительно божественного идеализма.

Человек, как и все остальное в мире,—существо вполне материальное. Ум, способность мыслить, способность получать и отражать различные ощущения как внешние, так и внутрение, вспоминать о них, когда они миновали и воспроизводить их воображением, сравнивать и отличать их друг от друга, делать отвлечения общих определений и создавать тем самым общие или абстрактные понятия, наконец образовывать идеи, группируя и комбинируя понятия сообразно различным методам,—одним словом разум, единственный создатель всего нашего идеального мира, есть свойство животного мира и главным образом абсолютно материального мозгового механизма.

Мы знаем это вполне достоверно, благодаря индивидуальному опыту, который никогда не был опровергнут ни одним фактом, и который может быть проверен каждым человеком в любой момент его жизни. Все животные, не исключая самых низших видов, обладают в той или иной

мере интеллектом, и мы видим, что в ряду видов интеллект животных тем больше развивается, чем ближе организация данного вида приближается к человеческой. Но у одного лишь человека интеллект достигнет той силы абстракции, которая собственно и составляет мысль.

Универсальный опыт *), который в конечном счете есть единственное начало, источник всех наших знаний, доказывает нам, следовательно, *во первых*, что всякий интеллект всегда связан с каким нибудь животным телом, и *во вторых*, что интенсивность, сила этой животной функции зависит от относительного совершенства животного организма. Этот второй результат универсального опыта приложим не только к различным видам животных; мы обнаруживаем его также у людей, интеллектуальная и моральная сила которых зависит слишком очевидно от большого или меньшего совершенства их организма, как расы, как нации, как класса и как индивида, чтобы была надобность долго останавливаться на этом **).

---

*) Следует различать универсальный *опыт*, на котором основывается всякая наука от универсальной *веры*, на которую идеалисты хотят опереть свои верования. Опыт есть реальное констатирование реальных фактов; вера есть лишь предположение фактов, которых никто не видел, и которые, следовательно, находятся в противоречии со всеобщим опытом всех (примеч. Бакунина).

**) Идеалисты, все те, кто верит в нематериальность и в бессмертие человеческой души, должны быть чрезвычайно смущены фактом интеллектуального различия, существующего между расами, народами и индивидами. Как об'яснить эту разницу? если только не допустить, что божественные частицы были распределены неравномерно? К несчастью, существует слишком значительное количество людей совершенно тупых, глупых до идиотизма. Не получили ли они при распределении частицу, одновременно и божественную, и тупую? Чтобы выйти из этого затруднения, идеалисты необходимо должны предположить, что все человеческие души одинаковы, но что тюрьмы, в которых они заключены, — человеческие тела не одинаковы и одни более способны, чем другие, служить органом для чистой интеллектуальности души. Одна душа таким образом имела бы в своем распоряжении органы весьма тонкие, другия органы слишком грубые. Но такими тонкостями идеализм не вправе пользоваться и не может пользоваться без того, чтобы не впасть в непоследовательность и самый грубый материализм. Ибо перед абсолютной нематериальностью души, все телесные различия исчезают, все телесное, материальное должно явиться безразлично, равно и абсолютно грубым. Пропасть, разделяющая душу от тела, абсолютно нематериальное от абсолютно материального, бесконечна; следовательно, все различия, не об'яснимые, и кроме того логически невозможные, которые могли бы существовать по другую сторону пропасти в материи, должны быть ничтожными и не существующими для души и не могут, не должны оказывать на нее никакого влияния. Одним словом, абсолютно нематериальное не может со-

С другой стороны, достоверно, что ни один человек никогда не видел, не мог видеть чистого духа, освобожденного от всякой материальной формы, существующего отдельно от какого бы то ни было животного тела. Но если никто не видел его, как люди могли дойти до того, чтобы поверить в его существование? Ибо факт этого верования несомненен и если и не универсален, как это утверждают идеалисты, то по меньшей мере весьма распространен. И как таковой, он вполне заслуживает нашего почтительного внимания, ибо всеобщее верование, каким бы глупым оно ни было, всегда оказывает слишком сильное влияние на человеческие судьбы, чтобы было позволительно игнорировать его или отвлекаться от него.

Факт этого исторического верования об'ясняется впрочем естественным и рациональным образом. На примере детей и подростков и даже многих людей, давно уже достигших совершеннолетия, видно, что человек может пользоваться своими умственными способностями раньше, чем он отдает себе отчет в том, каким образом он ими пользуется, и раньше, чем он отчетливо и ясно сознает, что он пользуется ими. В этот период бессознательной работы наивного или верующего ума, человек, преследуемый внешним миром и толкаемый внутренним возбудителем, именуемым жизнью с ее многочисленными потребностями, творит множество вымыслов, понятий и идей, по необходимости весьма несовершенных вначале и очень мало соответствующих действительности вещей и фактов, которую они стремятся выразить. И так как он не сознает еще работу своего собственного интеллекта, не знает еще, что это он сам создал и продолжает создавать эти вымыслы, понятия и идеи, и так как он не сознает сам, что они чисто *суб'ективного*, т. е. человеческого происхождения, он естественно

держаться быть заключено и еще меньше может быть выражено, в какой бы то ни было степени, абсолютно материальном. Из всех и грубых материалистических,—в том смысле, который присвоен этому слову идеалистами,—т. е. животных измышлений, которые были порождены невежеством и первобытной глупостью людей, мысль о нематериальной душе, заключенной в материальном теле, представляет собой разумеется самое грубое, самое нелепое измышление. и ничто лучше не доказывает всемогущества древних предрассудков, оказывающих влияние даже на лучшие умы, как этот поистине плачевный факт, что люди, даже одаренные высоким интеллектом, могут еще говорить об этом в настоящее время. (Прим. Бакунина).

и необходимо расматривает их как существа *об'ективные*, реальные, совершенно независимые от него, существующие сами по себе и сами в себе.

Таким-то образом примитивные народы, медленно выходя из своей животной невинности, создали своих богов. Создав их, и не подозревая, что они сами были их единственными творцами, они стали поклоняться им. Рассматривая их, как реальные существа, бесконечно высшие, чем они сами, они их наделили всемогуществом, а себя признали их созданием, их рабами. По мере того, как человеческие идеи развивались дальше, боги, которые, как я это уже отметил, всегда были лишь фактическим идеальным поэтическим отражением или перевернутым изображением, также идеализировались. Сперва грубые фетиши, они мало по малу становились чистыми духами, существующими вне видимого мира и, наконец,—в результате долгого исторического развития, они слились во единое божественное существо, в чистый, вечный, абсолютный дух, творца и владыку миров.

В каждом развитии, истинном или ложном, реальном или воображаемом, как коллективном, так и индивидуальном, труден лишь первый шаг, первый акт. Раз этот шаг сделан, и первый акт совершен, дальнейшее развертывается естественно, как необходимое последствие. Что было трудно в историческом развитии этого ужасного религиозного безумия, продолжающего преследовать и давить нас, так это установить божественный мир, каким он представляется вне реального мира. Этот первый акт безумия, столь естественный с точки зрения физиологической и, следовательно необходимый в истории человечества, не совершился внезапно. Нужно было, я не знаю, сколько веков для развития и для проникновения этого верования в умственные привычки людей. Но раз установившись, оно делается всемогущим, как необходимо делается всемогущим всякое безумие, овладевающее человеческим мозгом. Возьмите сумасшедшего,— каков бы ни был пункт его помешательства, вы найдете, что смутная и навязчивая идея кажется ему самой естественной вещью в мире, и что напротив того, естественные и реальные вещи, находящиеся в противодействии с этой идеей, кажутся ему смешным и возмутительным безумием. А религия есть коллективное безумие, тем более могущественное, что оно—безумие традиционное, и что ее происхождение теряется в чрезвычайно отдаленной древности. В каче-

стве коллективного безумия она проникла во все детали как общественной, так и частной социальной жизни народов, она воплотилась в обществе, она сделалась, так сказать, коллективной душой и мыслью. Всякий человек окружен ею с рождения, он всасывает ее с молоком матери, поглощает со всем, что слышит и видит. Он так напичкан, отравлен, проникнут ею во всем своем существе, что позже, как бы могуч ни был его природный ум, он вынужден делать невероятные усилия, чтобы освободиться от нее, и все же никогда не достигает этого вполне. Наши современные идеалисты представляют собою одно доказательство этого, наши материалисты-доктринеры, немецкие коммунисты— другое. Они не сумели отделаться от религии государства.

Раз сверхестественный мир, мир божественный, прочно установился в традиционном воображении народов, развитие различных религиозных систем следовало своим естественным и логическим путем, всегда впрочем сообразно с современным и реальным развитием экономических и политических отношений, верным воспроизведением и божественной санкцией коих в мире религиозной фантазии оно являлось во все времена. Таким образом коллективное историческое безумие, называющееся религией, развилось от фетишизма, пройдя через все ступени политеизма до христианского монотеизма.

Второй и, разумеется, наиболее трудный после установления отдельного божественного мира шаг в развитии религиозных верований был как раз переход от политеизма к монотеизму, от религиозного материализма язычников к спиритуалистической вере христиан. Языческие боги были— и в этом заключается их основной характер—прежде всего боги исключительно национальные. Затем, так как они были многочисленны, они необходимо сохраняли более или менее материальный характер или скорее они были потому многочисленны, что были материальны, так как множественность есть одна из главных принадлежностей реального мира. Языческие боги не были еще собственно отрицанием реальных вещей: они были лишь их фантастическим преувеличением *).

---

*) Здесь в брошюре „Бог и Государство“ вставлено содержание шести листков, не принадлежащих рукописи „*Кнуто-Германской Империи*“, которые составляют часть другой рукописи, из которой они вырваны. Бакунин сделал на обороте одного из них следующую пометку: „*Религия*. 2. Самое недавнее“. Я воспроизвожу здесь эти шесть листков, не относящиеся к данной рукописи. Дж. Г.

Чтобы установить на развалинах их столь многочисленных алтарей, алтарь единого и высшего Бога, Владыки Мира, нужно было следовательно сперва разрушить автономное существование различных наций, составлявших языческий или античный мир. Это и сделали в очень грубой форме Римляне, которые, завоевав наибольшую часть мира, известного древним, создали в некотором роде первый набросок, конечно, совершенно отрицательный и грубый,— человечества.

Бог, возвысившийся таким образом над всеми национальными различиями всех стран, как материальными, так и социальными, и бывший в некотором роде прямым отрицанием, необходимо должен был быть не материальным и отвлеченным. Но столь трудная вера в существование подобного существа не могла родиться сразу. Поэтому, как я указываю в приложении, эта вера была задолго подготовлена и развита греческой метафизикой, впервые установившей философским способом понятие о *божественной идее*, вечно творящей и вечно воспроизводимой видимым миром. Но Божество, познанное и сотворенное греческой философией было божеством безличным, ибо никакая метафизика, будучи последовательной и серьезной, не может возвыситься или скорее опуститься до идеи личного Бога. Нужно было, следовательно, найти Бога, который был бы одновременно единым и весьма лютым. Такой Бог нашелся в лице весьма грубого, весьма эгоистического, весьма жестокого Иеговы, национального бога Евреев. Но евреи, несмотря на этот исключительный национальный дух, который отличает их еще и теперь, стали фактически задолго до рождения Христа самым интернациональным народом в мире. Увлеченные частью в качестве пленников, но еще больше толкаемые той меркантильной страстью, которая составляет одну из главных черт их национального характера, они распространились по всем странам, неся повсюду культ своего Иеговы, которому они становились тем более верными, чем больше он покидал их.

В Александрии этот ужасный Бог евреев сделал личное знакомство с метафизическим Божеством Платона, уже сильно извращенным соприкосновением с Востоком и еще больше извратившимся впоследствии от знакомства с ним самим. Несмотря на свою национальную исключительность ревнивый и жестокий, он не мог бесконечно противиться прелестям этого идеального и безличного Божества греков.

Он соединился с ним, и от этого брака родился Бог спиритуалистический, но не остроумный,—Бог христиан. Известно что неоплатоники Александрии были главными творцами христианской теологии.

Но теология не составляет еще религию, как и исторические элементы не достаточны для создания истории. Я называю историческими элементами общую обстановку и условия какого-либо реального развития: например, здесь завоевание Римлян и встреча Бога Евреев с идеальным Божеством Греков. Для того, чтобы оплодотворить исторические элементы, чтобы заставить их произвести целую серию новых исторических превращений, нужен живой, самопроизвольный факт, без которого они смогли бы остаться еще много веков в первобытном состоянии, ничего не творя. В таком факте не было недостатка у христианства,—это была пропаганда, мученичество и смерть Иисуса Христа.

Мы почти ничего не знаем об этой великой и святой личности, ибо все, что сообщают о нем Евангелия, до такой степени противоречиво и носит такой сказочный характер, что мы едва можем уловить несколько жизненных и реальных черт. Достоверно лишь, что это был проповедник среди бедняков, друг и утешитель несчастных, невежественных, рабов и женщин, и что он был весьма любим этими последними. Он обещал вечную жизнь всем угнетенным и страдающим на земле, число коих неизмеримо. И, как и надо было ожидать, он был распят представителями оффициальной морали и общественного порядка того времени. Его ученики и ученики его учеников, благодаря завоеваниям римлян, уничтожившим национальные границы, могли разнести пропаганду Евангелия по всем странам, известным в те времена. Повсюду они были приняты с распростертыми об'ятиями рабами и женщинами, двумя общественными слоями древнего мира, наиболее угнетенными наиболее страждущими и, разумеется, наиболее невежественными. Если им и удалось создать нескольких последователей в среде привилегированных и образованных, то в значительной мере благодаря влиянию женщин. Самая усиленная пропаганда велась ими почти исключительно в народе, столь же несчастном, как и отупевшем вследствие рабства Это было первое пробуждение, первый осмысленный бунт пролетариата.

Великая честь христианства, его неоспоримая заслуга и весь секрет его беспримерного торжества, впрочем совер-

шенно законного, заключалась в том, что оно обратилось к страждущим массам, за которыми древний мир, образовавший интеллектуальную и политическую, узкую и жестокую аристократию, отрицал самые элементарные человеческие права. Иначе оно никогда не смогло бы распространиться. Учение, преподававшееся апостолами Христа при всей своей утешительности для несчастных на первый взгляд, было слишком возмутительно, слишком нелепо с точки зрения человеческого разума, чтобы просвещенные люди могли принять его. Понятен поэтому восторг апостола Павла, когда он говорит о *необ'яснимости веры* и о победе божественного безумия, отвергнутых могущественными и мудрыми века, но с тем большей страстностью принятых простецами, невеждами и нищими духом!

В самом деле, нужно было весьма глубокое недовольство жизнью, великая жажда сердца и почти абсолютная нищета ума, чтобы принять христианскую нелепость, самую отважную и самую чудовищную из всех религиозных нелепостей.

Христианство было не только отрицанием всех политических, социальных и религиозных институтов древности оно было абсолютным извращением здравого смысла, всего человеческого разума. Все, действительно существующее, реальный мир, рассматривались, как несуществующие. Продукт отвлеченной мысли человека, последняя наивысшая абстракция, до которой достиг человеческий ум за пределами всего существующего и вне идей времени и пространства, и которая, не имея уже больше ничего для преодоления, успокаивается на созерцании своей пустоты и своей абсолютной неподвижности (см. приложение),—эта абстракция, это ничто, (caput motuum) абсолютно лишенное всякого содержания, в полном смысле слова ничто, Бог провозглашается единственным реальным существом, вечным, всемогущим. Все реальное об'явлено ничем, и абсолютное ничто— всем. Тень стала телом и тело исчезает, как тень *).

---

*) Я прекрасно знаю, что в теологических и метафизических системах востока, и особенно в Индийских, включая сюда буддизм, уже встречается принцип уничтожения реального мира во имя идеала или абсолютной абстракции. Но он не носит еще этого характера добровольного и обдуманного отрицания, которым отличается христианство. Ибо когда эти системы были созданы, собственно человеческий мир, мир человеческого разума, человеческой науки, человеческой воли и человеческой свободы, не был еще развит в той степени, в какой он проявился впоследствии в греко-римской цивилизации (примеч. Бакунина).

Это было неслыханной дерзостью и нелепостью, настоящей необ'яснимостью веры, торжество верящей глупости над умом—для масс. Для некоторых же это было торжествующей иронией усталого, развращенного и разочарованного в честных и серьезных поисках истины ума; потребностью одурманится и опроститься, потребностью, которая часто встречается у пресыщенных умов:

„Credo quia absurdum“,

—т. е. „я не только верю нелепости, но именно и главным образом потому и верю, что это есть нелепость“. Точно так же, как в наше время многие выдающиеся и просвещенные умы верят в животный магнетизм, в спиритизм, в вертящиеся столы и—зачем ходить так далеко?—верят еще в христианство, в идеализм и в Бога.

Вера античного пролетариата точно так же, как и современных масс, была более прочной, более простой, не столь „хорошего тона“. Христианская пропаганда обращалась к его сердцу а не к уму; к его вечным стремлениям, к его потребностям, к его страданиям, к его рабству, а не к разуму, который еще дремал, и для которого следовательно логические противоречия, очевидность нелепости не могли существовать. Единственный вопрос, интересовавший его, был вопрос,—когда пробьет час обещенного освобождения? когда наступит царство Божие? Что же касается до теологических догм, он не заботился о них, ибо ничего в них не понимал. Пролетариат, обращенный в христианство, составлял его материальную силу, а не силу теоретической мысли.

Что же касается христианских догматов, они, как известно, были выработаны в целом роде теологических и литературных работ и на церковных соборах, главным образом, обращенными новоплатониками Востока. Греческий ум так низко пал, что уже в четвертом веке христианской эры—в эпоху первого собора мы встречаем идею личного Бога, чистого, вечного, абсолютного духа, творца и верховного владыки мира, существующего вне мира, единогласно принятою всеми отцами церкви. И как логическое последствие этой абсолютной нелепости, явилась естественно вера в нематериальность и в бессмертность человеческой души, помещенной и заключенной в смертном теле, но смертном лишь отчасти. Ибо в этом самом теле есть одна частица, которая будучи телесной бессмертна, как душа, и должна воскреснуть, как душа. Настолько было трудно даже отцам церкви представить себе дух вне всякой телесной формы!

Следует заметить, что вообще характер всякого теологического равно как и метафизического рассуждения требует, чтобы одну нелепость об'яснили другою.

Христианству посчастливилось встретить мир рабов. Другим счастьем для него было вторжение варваров. Варвары были прекрасные люди, исполненные естественной силы, и особенно вдохновленные и толкаемые громадной потребностью и громадной способностью к жизни; первостепенные разбойники, способные все разрушить и все поглотить, равно как и их преемники—современные немцы; менее систематичные и педантичные в своем разбое, чем эти последние, гораздо менее моральные, менее ученые, но за то более независимые и более гордые, способные к науке и неспособные к свободе, как современные немецкие буржуа. Но при всех этих крупных достоинствах, они были все же лишь варвары, то есть столь же равнодушны как и античные рабы, из коих многие впрочем принадлежали к их расе, ко всем вопросам теории и метафизики,—до такой степени, что раз их практическое отвращение к идеям было преодолено, то уже не трудно было обратить их теоретически в христианство.

В течение десяти веков подряд христианство, вооруженное всемогуществом Церкви и Государства, и без всякой конкурренции с чьей бы то ни было стороны, могло способствовать вырождению, порче и извращению умов Европы. У него не было конкуррентов, ибо вне церкви не было никаких мыслителей, ни даже грамотных людей. Она одна мыслила, она одна говорила, писала, она одна обучала. Если в недрах ее возникали ереси, они всегда нападали лишь на практическое или теологические развития основных догматов, но не на самые догматы. Вера в Бога, чистого духа и творца мира, и вера в материальность души оставались неприкосновенными. Это двойное верование сделалось идейной основой всей восточной и западной цивилизации Европы, и оно проникло, оно воплотилось во все учреждения, во все детали жизни, как общественной, так и частной всех классов точно так же, как и масс.

Удивительно ли после этого, что это верование удержалось до нашего времени, и что оно продолжает оказывать свое разрушительное влияние даже на такие избранные умы, как Мадзини, Кине, Мишле и многие другие? Мы видели, что первое нападение на него было произведено возрождением свободного ума в пятнадцатом веке, возрождением,

породившим героев и мучеников, как Ванини, Джордано Бруно и Галилей. Хотя и заглушенная скоро гамом, шумом, и страстями религиозной Реформации, свободная мысль продолжала втихомолку свою невидимую работу, завещая наиболее благородным умам каждого нового поколения дело человеческого освобождения путем подтачивания и разрушения нелепостей, пока наконец во второй половине восемнадцатого века она не появилась вновь на белый свет, смело подняв знамя атеизма и материализма.

Можно было думать тогда, что человеческий ум освободится, наконец, от всех божественных навождений. Ничуть не бывало. Божественная ложь, которой питалось человечество,—говоря лишь о христианском мире—в течение восемнадцати веков, еще раз показала себя более могущественной, чем человеческая истина. Не будучи более в состоянии пользоваться услугами черного племени, освященным Церковью вороньем — католическими или протестантскими священниками, потерявшими всякое доверие, она стала пользоваться светскими священниками, короткополыми лжецами и софистами, среди которых главная роль выпала на долю двух роковых людей: один был самый лживый ум, другой—самая доктринерская деспотическая воля прошлого (восемнадцатого) века: Жан-Жак-Руссо и Робеспьер.

Первый очень типичен по своей узости и мрачной мелочности, по экзальтации, не имеющей другого предмета кроме его собственной личности, по холодному энтузиазму и по лицемерию, одновременно сентиментальному и непримиримому, по вынужденной лжи современного идеализма. Его можно рассматривать, как истинного творца современной реакции. На первый взгляд самый демократический писатель восемнадцатого века, он взращивал в себе беспощадный деспотизм государственного человека. Он был пророком доктринерского государства, первосвященником которого пытался сделать его верный ученик, Робеспьер. Услышав изречение Вольтера о том, что, если бы Бога не было, его следовало бы выдумать, Жан-Жак Руссо изобрел Высшее Существо, абстрактного и бесплодного Бога деистов. И во имя этого Высшего Существа и лицемерной добродетели, требуемой этим Высшим Существом, Робеспьер гильотинировал сперва эбертистов, затем самого гения Революции — Дантона, в лице которого он убил Республику, подготовляя таким образом неизбежное с того момента торжество и дик-

татуру Наполеона I-го. После этой великой победы идеалистическая реакция стала искать и нашла менее фанатических, менее грозных слуг, приспособленных к сильно измельчавшему уровню буржуазии нашего века. Во Франции это были Шатобриан, Ламартин и... — нужно ли говорить? Почему нет? Нужно все говорить, раз это верно, — это был сам Виктор Гюго, демократ, республиканец, ныне почти социалист, и следом за ними целая меланхолическая и сантиментальная когорта тощих и бледных умов, которые образовали под управлением этих учителей школу современного романтизма. В Германии это были Шлегели, Тикки, Новалисы, Вернеры, Шеллинги и многие другие, имена которых не заслуживают быть упомянутыми.

Созданная этой школой литература была истинным царством привидений и призраков. Она не выносила дневного света и могла существовать лишь в сумерках. Она не выносила и грубого прикосновения масс: это была литература нежных, деликатных, избранных душ, стремящихся к своему небесному отечеству, и живущих на земле против воли. Политика, вопросы дня внушали ей ужас и презрение; но когда ей случалось говорить о них, она выказывала себя откровенно реакционной, держа руку церкви против дерзости свободомыслящих, стоя за королей против народов и за всех аристократов против грубой уличной черни. В общем, как я уже сказал, в этой школе преобладало почти полное равнодушие к политическим вопросам. В облаках, среди которых она витала, можно было различить лишь два реальных явления: быстрое развитие буржуазного материализма и безудержное разнуздание индивидуального тщеславия.

Чтобы понять эту литературу, нужно искать причины ее существования в том превращении, которому подвергся буржуазный класс после революции 1793 г.

Со времени Возрождения и Реформации до Великой Революции, буржуазия если не в Германии, то по крайней мере во Франции, в Швейцарии, в Англии, в Голландии была героична и представляла собою революционный гений Истории. Из недр ее вышло большинство свободных мыслителей пятнадцатого века, великие религиозные реформаторы двух последующих веков и апостолы освобождения человечества, — включая на этот раз и Германию, — минувшего, восемнадцатого века. Она одна, разумеется, опираясь на симпатии и на мощные руки народа, верившего ей, сделала

революцию 89 и 93 г. Она провозгласила низвержение королевской власти и Церкви, братство народов, права человека и гражданина. Таковы ее права на славу, — они бессмертны.

С тех пор в ней произошел раскол. Одна значительная часть ее, те, кто приобрели национальные имения, став богатыми, и опираясь на этот раз не на городской пролетариат, но на большинство крестьян Франции, которые равным образом сделались земельными собственниками, стремились к миру, к восстановлению общественного порядка, к созданию регулярного и сильного правительства. Она поэтому радостно приветствовала диктатуру первого Бонапарта и, хотя по прежнему вольтерьянская, ничего не имела против конкордата с папой и восстановления оффициальной церкви во Франции: *„Религия так необходима народу!“* Другими словами, эта часть буржуазии, насытившись сама, начала понимать, что для сохранения ее положения и приобретенных имений, необходимо обмануть неутоленный голод народа обещаниями манны небесной. Тогда то и начал свою проповедь Шатобриан *).

Наполеон пал. Реставрация вместе с законной монархией принесла назад во Францию могущество Церкви и родовой аристократии, которые вновь захватили если не всю, то по крайней мере значительную часть своей былой власти. Эта реакция снова толкнула буржуазию к революции. И вместе с революционным духом в ней проснулся свободный ум. Она отложила в сторону Шатобриана и снова начала читать Вольтера. Она не дошла до Дидро, — ее ослабевшие нервы не переносили столь крепкой духовной пищи. Вольтер, одновременно свободомыслящий и деист, напротив того, был ей по вкусу. Беранже и Поль-Луи Курье прекрасно выражали это новое направление. „Бог добрых людей“ и идеал буржуазного короля, одновременно и либерального и демократического, вырисовывающегося на фоне величественных и отныне безобидных гигантских побед Империи, —

*) Я считаю полезным напомнить здесь очень известный и вполне достоверный анекдот, бросающий очень ценный свет как на личный характер этого подогревателя католических верований, так и на религиозную искренность этой эпохи.

Шатобриан принес издателю произведение, направленное против веры. Издатель заметил ему, что атеизм вышел из моды, что читающая публика больше не интересуется им, и что напротив того есть спрос на сочинения религиозные. Шатобриан удалился, но через несколько месяцев принес ему свой: *„Гений Христианства“*. (Прим. Бакунина).

такова была в эту эпоху насущная духовная пища французской буржуазии.

Ламартин, побуждаемый тщеславно смешным желанием подняться на поэтические высоты великого английского поэта Байрона, начал было свои слабоумные гимны в честь Бога дворян и законной монархии. Но его песни раздавались лишь в аристократических салонах. Буржуазия не слушала их. Беранже был ее поэт, и Поль-Луи Курье—ее политический писатель.

Июльская Революция имела своим последствием облагорожение буржуазных вкусов. Известно, что всякий буржуа во Франции носит в себе неумирающий тип „мещанина в дворянстве“, который всегда проявляется, как только буржуазия приобретает немного богатства и власти. В 1830 г. богатая буржуазия окончательно вытеснила у власти родовое дворянство. Она естественно стремилась создать новую аристократию: аристократию капитала, конечно, прежде всего, но также и аристократию ума, аристократию хороших манер и тонких чувств. Буржуазия начала чувствовать себя религиозной.

Это не было с ее стороны простым обез'янничаньем аристократических нравов, это необходимо вытекало в то время из ее положения. Пролетариат оказал ей последнюю услугу, помогая ей еще раз свергнуть дворянство. Теперь буржуазия не имела больше нужды в его помощи, ибо она чувствовала себя прочно засевшей в тени июльского трона, и союз с народом, отныне бесполезный, начал тяготить ее. Нужно было поставить его на надлежащее место, что разумеется не могло не вызвать большого негодования в массах. Становилось необходимым сдержать их. Но во имя чего? Во имя открыто признанного интереса буржуазии? Это было бы слишком цинично. Чем более какой-либо интерес не справедлив, не гуманен, тем больше он нуждается в прикрытии какой-либо санкцией. А где взять ее, если не в религии, этой доброй покровительницы всех сытых и столь полезной утешительнице всех голодных? И больше, чем когда-либо, торжествующая буржуазия почувствовала, что религия абсолютно необходима для народа.

Получив все свои нетленные права на славу в оппозиции, как в религиозной и философской, так и в политической, в протестах и в революции, она сделалась, наконец, господствующим классом и благодаря этому защитницей и охранительницей государства, которое в свою очередь сде-

лалось правильным институтом для установления исключительной власти этого класса. Государство есть сила и прежде всего оно имеет за собой право силы, победоносную аргументацию ружья с наведенным курком. Но человек так странно устроен, что эта аргументация, как она ни кажется убедительной, не надолго убеждает его. Чтобы внушить ему почтение, ему абсолютно необходима какая-нибудь моральная санкция. Более того нужно, чтобы эта санкция была столь очевидна и проста, чтобы она могла убедить массы, которые будучи укрощены силой государства, должны быть приведены затем к моральному признанию его права.

Есть лишь два способа убедить массы в годности какого-либо общественного учреждения. Первый—единственно реальный, но в то же время и более трудный, ибо влечет за собою уничтожение государства, т.-е. уничтожение политически организованной эксплоатации большинства каким-либо меньшинством,—это было бы непосредственное и полное удовлетворение всех потребностей, всех человеческих стремлений народных масс. Это было бы равносильно полной ликвидации как политического, так и экономического существования класса буржуазии и, как я уже говорил, уничтожению государства. Это средство было бы без сомнения спасительно для масс, но гибельно для буржуазных интересов. Следовательно о нем говорить не приходится.

Поговорим же о другом средстве, которое, будучи гибельно лишь для народа, выгодно напротив для спасения буржуазных привилегий. Это другое средство может быть лишь религией. Это вечный мираж, увлекающий массы к изысканию божественных сокровищ, между тем как гораздо более скромный в своих желаниях господствующий класс довольствуется разделом между членами своего класса—впрочем весьма неравным и всегда давая больше тем, кто больше имеет, — разделом тленных благ земли и человеческого достояния народа, понимая под этим его политическую и социальную свободу.

Нет и не может существовать государства без религии. Возьмите самые свободные государства в мире, например Соединенные Штаты Америки или Швейцарскую конфедерацию, и посмотрите, какую важную роль Божественное Провидение, эта высшая санкция всех государств, играет во всех оффициальных речах.

Но всякий раз, как глава государства, будь то Вильгельм I, император кнуто-германский, или Грант, президент Великой Республики, говорит о Боге, будьте уверены, что он снова готовится стричь свое стадо—народ.

Французская буржуазия, либеральная, вольтерьянская и своим темпераментом толкаемая к позитивизму, чтобы не сказать к материализму,—исключительно узкому и грубому,—сделавшись в 1830 г. государственным классом, должна была неизбежно создать себе оффициальную религию. Это было не легко. Она не могла, не щадя себя, подставить свою шею под иго римского католицизма. Между нею и римскою Церковью лежала целая пропасть заполненная кровью и гневом, и как бы люди ни сделались практичны и умны, им никогда не удастся подавить в своей груди пыл исторически развившегося чувства. К тому же французская буржуазия поставила бы себя в смешное положение, если бы она вернулась к церкви, чтобы принять участие в набожных церемониях божественного культа,—основное условие почтенного и искреннего обращения. Многие пробовали это, но их героизм не имел иных результатов кроме бесплодного скандала. Наконец, возвращение к католицизму было невозможно по причине неразрешимого противоречия, существующего между неизменной политикой Рима и развитием экономических и политических интересов среднего класса.

В этом отношении, протестантство гораздо более удобно. Это по преимуществу религия буржуазии. Оно предоставляет как раз столько свободы, сколько ее необходимо для буржуазии, и оно нашло способ примирить небесные стремления с почтением, которого требуют себе земные интересы. Поэтому мы видим, что торговля и промышленность развились особенно в протестантских странах. Но для буржуазии Франции было невозможно стать протестантской. Чтобы перейти из одной религии в другую, — если только не делать этого из расчета, как иногда поступают евреи в России и Польше, которые крестятся по три, четыре раза, чтобы каждый раз получить новую плату, — чтобы переменить религию, нужно иметь крупицу религиозной веры. А в исключительно позитивном сердце французского буржуа совершенно нет места этой крупице. Он исповедует самое глубокое равнодушие ко всем вопросам, исключая прежде всего вопрос о своем кошельке и затем вопрос о своем социальном тщеславии. Он одинаково равнодушен как к про-

тестантству, так и к католицизму. С другой стороны французская буржуазия не могла бы принять протестантство без того, чтобы не встать в противоречие с обычной приверженностью к католичеству большинства французского народа, что явилось бы большой неосторожностью со стороны класса, который хотел править во Франции.

Оставалось, правда, одно средство,—это вернуться к гуманитарной и революционной религии восемнадцатого века. Но эта религия ведет слишком далеко. Буржуазия вынуждена была следовательно создать для санкционирования нового буржуазного государства, которое она только что основала, новую религию, которая могла бы без слишком большого скандала и без комизма быть открыто исповедуема всем буржуазным классом,

Так родился деизм доктринерской школы.

Другие лучше, чем смог бы я, изложили историю возникновения и развития этой школы, имевшей столь решительное—и я вполне могу сказать—гибельное влияние на политическое, интеллектуальное и моральное воспитание буржуазной молодежи во Франции. Основателями этой школы считают Бэнжамена Констана и Мадам де-Сталь, но истинным основателем ее был Ройе-Коллар; ее апостолами были г.г. Гизо, Кузен, Вильмен и многие другие; ее громогласно признанная цель—примирение Революции с Реакцией или, говоря языком школы,—принципа свободы с принципом власти, разумеется в пользу последней.

Это примирение означало в политике—обман народной свободы в пользу буржуазного господства, представленного монархическим и конституционным государством; в философии—сознательное подчинение свободного разума вечным принципам веры. Мы займемся здесь лишь этой последней частью.

Известно, что эта философия была главным образом выработана г. Кузэном, отцом французского эклектизма. Поверхностный говорун и педант; неповинный в какой бы то ни было оригинальной концепции, какой бы то ни было собственной мысли, но очень сильный в общих местах, которые он по ошибке считал здравым смыслом, этот знаменитый философ искусно приготовил для употребления учащейся молодежи Франции метафизическое блюдо на свой образец, потребление которого сделалось обязательным во всех школах Государства, подведомственных Университету, и обрекло много последующих поколений на несварение

мозгов *) Представьте себе философский винегрет, составленный из самых противоположных систем, смесь из творений отцов церкви, схоластов, Декарта и Паскаля, Канта, и шотландских психологов, все это нагромождено на божественные и глубокие идеи Платона и прикрыто покровом гегельянской имманентности, все это, конечно, сопровождается полным и высокомерным невежеством в естественных науках доказывающим, как „дважды два=*пять*“ **):

1. Существует личный Бог, душа бессмертна, она имеет произвольное решение, свободную волю. Из этого тройного положения естественно вытекает,—

2. *Индивидуальная мораль, абсолютная ответственность* каждого перед моральным законом, написанным Богом в совести каждого; *индивидуальная свобода*, предшествующая всякому обществу, но достигающая своего развития лишь в обществе.

3. Свобода индивида осуществляется прежде всего присвоением или взятием во владение земли. Право собственности есть необходимое последствие этой свободы.

4. Семья, основанная на наследственности этого права с одной стороны и с другой стороны на авторитете супруга и отца, есть учреждение в одно и тоже время и естественное и божественное, божественное в том смысле, что с начала истории оно санкционировалось религией и совестью полученной людьми от Бога, как ни несовершенна была эта совесть вначале.

5. Семья есть исторический зародыш Государства.

6. Историческое развитие этих вечных принципов, основы всякой человеческой цивилизации, осуществляется тройным прогрессивным движением:

а) Человеческого ума, который, будучи выделением и, так сказать, непрерывным откровением Бога в человеке, проявил себя сначала в целом ряде религий, основанных якобы на откровении, и затем после тщетных поисков себя

---

*) Здесь заканчивается брошюра „Бог и Государство“. Издатели после последней фразы говорят: „здесь рукопись прерывается“. Между тем, рукопись, которую они произвольно оборвали посредине страницы, совсем не прерывается и продолжается еще на 62 листках. Дж. Гил.

**) Начиная отсюда, до конца весь текст, состоящий из тринадцати нумерованных параграфов, излагает не мнение Бакунина, но доктрину Виктора Кузена и эклектической школы. Бакунин вставляет в это изложение несколько примечаний и несколько критических заметок, помещенных в скобках и напечатанных курсивом. Д. Г.

во множестве философских систем, наконец, нашел себя, признал и совершенно реализовал в эклектической системе г. Виктора Кузена.

б) человеческого труда, единственного производителя социальных богатств, без которых невозможна никакая цивилизация,

с) человеческой борьбы, как коллективной, так и индивидуальной, приводящей всегда к новым историческим, политическим и социальным перегруппировкам.

Все управляется Божественным Провидением.

7. История, рассматриваемая в своем целом, есть длительное проявление божественной мысли и воли. Бог, чистый дух, абсолютное существо и совершенное само в себе, пребывающее в своей вечности и в свой безграничной бесконечности, вне истории мира *), следит с отеческим любопытством и направляет невидимой рукой человеческое развитие. Желая абсолютно по своей божественной щедрости, чтобы люди, его создания, и, следовательно, фактически его рабы, были свободны, и понимая, что они совсем не будут таковыми, если он будет слишком часто и слишком настойчиво вмешиваться в их дела, что его всемогущество не только будет стеснять их, но даже уничтожило бы их **), он выявляет себя им возможно реже и лишь, когда это делается абсолютно необходимо для их спасения. Чаще всего он предоставляет их собственным усилиям и развитию того двойного света, одновременно божественного и человеческого который он зажег в их бессмертных душах: *совести* источнику всякой морали, и *уму*, источнику всякой истины. Но

---

*) Я извиняюсь перед читателем за нагромождение в таком небольшом количестве слов стольких грандиозных и чудовищных нелепостей. Это—логика доктринеров-идеалистов, а не моя. (Прим. Бакунина).

**) Неправда ли, замечательно, что во всех религиях встречается один и тот же вымысел, что ни один смертный не вынес бы вида Бога в его бессмертной славе, но пал бы уничтоженный, пораженный молнией испепеленный на месте: таким образом все Боги, снисходя к этой слабости человеческой, показываются людям всегда в какой-нибудь заимствованной форме, часто даже в форме какого-либо животного, но никогда не в своем истинном великолепии. Иегова показал лишь один раз, я не помню уж какому пророку, свою собственную задницу и произвел этим у него такое мозговое расстройство (здесь есть непереводимая игра слов) что бедный пророк весь остаток своей жизни блуждал по деревням. Очевидно, что во всех религиях есть как-бы смутный инстинкт той истины, что существование Бога несовместимо не только со свободой, достоинством и разумом человеческим, но и с самым существованием человека в мире (примеч. Бакунина).

когда он видит, что этот свет начинает угасать, когда люди заблудившиеся и слишком несовершенные, чтобы быть в состоянии итти всегда одни, попадают в безвыходный тупик, тогда он вмешивается. Но как? Не внешним и материальным чудом, которым переполнены суеверные предания народов, и которые невозможны, ибо они нарушили бы порядок и законы природы, установленные самим богом, (*Да смелость идеалистов простирается до отрицания чудес!*) но чудом исключительно духовным, внутренним (*которое с точки зрения разума, логики, здравого смысла не менее нелепо и невозможно, чем грубые чудеса, придуманные народными верованиями; эти последние по меньшей мере имеют достоинство поэтической наивности, между тем как так называемые внутренние чудеса, со всеми своими претензиями на рационализм, ни что иное, как глупости, искусно, хладнокровно, обдуманно притянутые за волосы).* чудом, не доступным чувствам.

Бог вмешивается тогда, вдохновляя своей божественной мыслью какую-нибудь избранную душу наименее развращенную, наименее заблуждающуюся и наиболее интеллигентную, чем другие. Он делает из нее своего пророка, своего Мессию. Тогда, вооруженный мыслью, что он непосредственно вдохновлен самим Богом (это вдохновление составляет впрочем одно из тех психологических чудес, которые нам преподносятся, и которые мы должны принять, как *исторически установленные*, но которые мы никогда не будем в состоянии понять; божественная мысль всегда соразмерна со степенью развития, характером и духом эпохи, и следовательно не проявляется никогда в своей полноте и в своем абсолютном совершенстве; Бог слишком умен и слишком близко к сердцу принимает свободу людей, чтобы предложить им пищу, которую они не в состоянии были бы переварить) сильный невидимой помощью Бога, и привлекая к себе все добромыслящие души с неотразимой силой, этот пророк, этот Мессия провозглашает божественную волю и основывает новую религию и новое законодательство.

Таким образом были установлены все религиозные культы и все государства. Отсюда следует, что как одни, так и другие, рассматриваемые в своей непременной сущности, за отделением всех деталей, внесенных как умственным, так и моральным несовершенством людей, в различные эпохи своего исторического развития, суть *установления божественные* и, как таковые, должны пользоваться абсо-

лютной властью. Таковы *Церковь* и *Государство* с их божественным, давящим, чудовищным, освящающим все авторитетом.

8. Церковь и Государство имеют, следовательно, двойной характер: божественный и человеческий одновременно. В качестве установлений божественных они неподвижны, и все их историческое развитие состоит лишь в более полном проявлении их собственной божественной природы или мысли Бога, которая оказывается осуществленной в их недрах, причем никогда новые откровения или вдохновения не вступают в противоречие с прежними откровениями и вдохновениями, ибо это явилось бы опровержением со стороны Бога самого себя. Но в качестве человеческих учреждений и Церковь и Государство, представленные людьми, и как таковые становящиеся солидарными со всеми страстями, со всеми пороками и со всеми глупостями человеческими, неизбежно обладают множеством недостатков и способны к крупным и спасительным последовательным изменениям, которые вызываются прогрессивным, моральным, интеллектуальным и материальным развитием наций, и это является серьезной основой истории.

9. В интеллектуальном и моральном развитии человечества, хотя и направляемом непрестанно вечным Провидением, форма религиозного откровения отнюдь не всегда необходима. Она была неизбежна в наиболее отдаленные времена истории, когда сознание, этот свет, одновременно человеческий и божественный, это постоянное откровение Бога в людях, не было еще достаточно развито. Но по мере того, как оно приходит в свой надлежащий вид, эта чрезвычайная необычная форма откровений стремится все больше и больше к исчезновению, уступая место более рациональным вдохновениям знаменитых философов, великих мыслителей, которые, будучи лучше, чем другие, вооружены этим божественным инструментом, пользуясь притом постоянно помощью Бога—хотя чаще всего невидимым даже для них самих образом, но иногда также ощущая в себе эту помощь (например, демон Сократа),—стремятся постигнуть усилиями своей собственной мысли тайны Бога,—тайны, которые уже были им отчасти раскрыты,—им, как и всем другим, всеми предыдущими откровениями. Таким образом на их долю остается лишь труд: развить и об'яснить их, давая им отныне, как санкцию и, как основание, уже не какое-либо чудесное предание, но самое логическое развитие человеческой мысли.

В этом лишь метафизики и отделяются от теологов. Вся разница между ними в форме, но не по существу. Предмет их тот же самый: это Бог, это вечные истины, божественные начала, религиозный политический и гражданский порядок, божественно установленный и навязанный людям абсолютной властью. Но теологи (*многие, по моему, более последовательные, чем метафизики*) претендуют, что люди могут возвыситься до сознания Бога лишь путем сверх'естественного откровения; между тем, как метафизики уверяют, что могут познать Бога и все вечные истины единственной силой мысли, которая есть—утверждают они постоянно,—откровение в одно и то же время и естественное (!) и постоянное—Бога в человеке.

(Для нас, разумеется, одни так же нелепы, как и другие, и мы предпочитаем даже в смысле нелепостей тех, которые откровенно нелепы, нежели тех, которые делают вид, будто относятся с почтением к человеческому разуму).

10. Из этой формальной разницы вышла великая историческая борьба метафизики с теологией. Эта борьба, бывшая с одной стороны законной и благодетельной, не преминула с другой стороны иметь отвратительные последствия. Она бесконечно содействовала развитию человеческого ума, освобождая его от ига слепой веры, под коим его хотели держать теологи, и давая ему признать свою собственную силу и свою способность возвыситься до божественных вещей,—условие человеческого достоинства и человеческой свободы. Но в то же время она ослабила в человеке одно ценное качество: богопочитание, чувство набожности. Человеческий ум слишком часто давал увлечь себя страстью борьбы и легкими победами, которые ему удавалось одержать над всегда более или менее глупыми защитниками слепой веры и устаревших форм религиозных учреждений, и это приводило его к отрицанию самых основ веры. И особенно в минувшем (восемнадцатом) веке он довел свое заблуждение вплоть до провозглашения себя материалистическим и атеистическим и до желания низвергнуть Церковь, забывая в своем горделивом безумии, что, осмеливаясь отрицать Церковь, он провозглашал свое собственное падение, свою полную материализацию, и что все его величие, его свобода, его сила заключаются именно в способности, свойственной ему, возвышаться до Бога, великого, единственного об'екта всех бессмертных мыслей; забывая, что эта Церковь, которую он безумно претендует низвергнуть, и

которая, конечно, в отношении ее нравов, обычаев и форм не стоящих на высоте века, оставляет многого желать, есть тем не менее божественное установление, основанное, как и государство, людьми боговдохновенными, и что еще и теперь она есть единственное возможное проявление божества для *невежественных масс*, неспособных возвыситься до Бога самопроизвольным развитием их спящего еще интеллекта.

Это заблуждение философского ума, как ни плачевны его результаты, было вероятно необходимо для пополнения его исторического воспитания. Вот, почему несомненно Бог потерпел его. Предупрежденный трагическим опытом минувшего века, философский ум знает теперь, что, разнуздывая свыше меры принцип критики и отрицания, он шествует к пропасти и придет к уничтожению; что этот принцип, совершенно законный и даже спасительный, когда он прилагается с умеренностью к преходящим и человеческим формам божественных вещей, делается мертвенным, ничтожным, бессильным, смешным, когда он нападает на Бога. Он знает, что есть вечные истины, которые выше всякого доверия и всякого доказательства, и которые не могут даже быть предметом сомнения, ибо с одной стороны они нам раскрыты мировым сознанием, единодушным верованием веков, и что с другой стороны они находятся в качестве *врожденных идей* в уме всякого человека и настолько свойственны нашему сознанию, что достаточно нам углубиться в самих себя, в наше интимное существо, чтобы они появились перед нами во всей своей простоте и во всей своей красоте. Эти основные истины, эти философские аксиомы суть: *существование Бога, бессмертие души, свободная воля.* Не может, не должно быть вопроса о том, чтобы оспаривать их реальность, ибо, как это столь прекрасно доказал Декарт, эта реальность нам дана, нам навязана тем самым фактом, что мы находим все эти идеи в сознании, которое наша мысль имеет о себе самой. Все, что нам остается сделать, это—понять их, развить их, согласовать в стройную систему. Таково единственное назначение философии.

И это назначение, наконец, совершенно осуществляется системой г. Виктора Кузена. Отныне мыслитель будет поклоняться Богу в духе и сможет даже освободить себя от всякого другого культа. Он имеет полное право совсем не посещать церковь, если только он не считает полезным итти туда ради своей жены, ради дочерей или *ради людей.* Но будет ли он посещать ее или нет, он всегда будет отно-

ситься с почтением к учреждению и даже к культу церкви какими бы отжившими ни казались ему ее формы: во-первых потому, что даже эти формы и ложные идеи, которые они отчасти вызывают в массах, вероятно еще необходимы для того состояния невежества, в каком находится сейчас народ; во-вторых потому, что, резко нападая на эти формы можно пошатнуть те верования, которые при довольно несчастном положении, в каком находится народ, составляют для него его единственное утешение и единственную моральную узду. Он должен, наконец, уважать их потому, что Бог, которого церковь и народ обожают под этими нелепыми формами, есть тот самый Бог, перед которым почтительно склоняется величавая глава доктринера-философа.

Эта утешительная и успокоительная мысль была прекрасно выражена одним из наиболее знаменитых представителей доктринерской церкви, самим господином Гизо, который в одной брошюре, опубликованной в 1845 или 1846 г., весьма радуется тому, что божественная истина так хорошо представлена во Франции в ее самых разнообразных формах: католическая церьков, говорит он в этой брошюре которой у меня нет под руками,—дает нам ее в форме авторитета, протестанская церковь—в форме свободного исследования и свободы совести, и университет — в форме чистой мысли. Нужно быть очень религиозным человеком, неправда ли?—чтобы осмелиться говорить и печатать подобные глупости, будучи в тоже время человеком умным и ученым.

11. Борьба, поставившая в опозицию метафизиков и теологов, возобновилась в мире интересов материальных и политики. Это—памятная борьба народной свободы против власти Государства. Эта власть, как и власт церкви в начале истории, была разумеется, деспотический. И этот деспотизм был спасителен, ибо народы вначале были слишком дики, слишком грубы, слишком мало зрелы для свободы— они еще так мало зрелы в настоящее время! — слишком мало еще способны склонить свою шею под иго божественного закона, как это делают теперь немцы, и добровольно подчиниться вечным условиям общественного порядка. Так как по природе человек ленив, необходимо было, чтобы внешняя сила толкала его на труд. Этим об'ясняется и узаконивается институт рабства в истории, — не в качестве вечного института, но как временная мера, продиктованная самим Богом, и ставшая необходимой по причине варвар-

ства и извращенности природы людей, как средство исторического воспитания.

Устанавливая семью, основанную на собственности *), и подчиненную высшему авторитету супруга и отца, Бог создал первый зародыш государства. Первое правительство необходимо было деспотическим и патриархальным. Но по мере того, как увеличивалось число свободных семей в нации, естественные связи, об'единившие их сперва в единую семью под патриархальным управлением единого главы, ослабели, и эта примитивная организация должна была быть заменена более ученой и более сложной организацией —государством, В начале истории это было повсюду делом теократии. По мере того, как люди, выходя из дикого состояния, приходили к первым и разумеется весьма грубым понятиям Божества, стала образовываться каста более или менее вдохновенных посредников между небом и землей. Во имя Божества священники первых религиозных культов установили первые государства, первые политические и юридические организации общества. Отбросив второстепенные различия, во всех древних государствах можно найти четыре касты: касту священников, касту благородных воинов, составленную из всех членов мужского пола и главным образом из глав свободных семей; эти две первые касты составляют собственно религиозный, политический и юридический класс, аристократию государства; затем следует почти неорганизованная масса пришельцев, беженцев, клиентов и освобожденных рабов, лично свободных, но лишенных юридических прав, участвующих в национальном культе лишь косвенным образом и образующих все вместе собственно демократический элемент, народ, и наконец масса рабов, на которых даже смотрели не как на людей, а как на вещи, которые остались в таком же жалком положении до появления христианства.

Вся история древности, которая развертывалась по мере того, как все больше и больше развивался и распространялся интеллектуальный и моральный прогресс человечества, направлялась всегда невидимой рукой Бога,—

*) Философы-доктринеры, равно как и юристы и экономисты, предполагают всегда, что собственность создалась раньше государства, между тем как очевидно, что юридическая идея собственности, точно также как и право семейное, юридическая семья, исторически не могли родиться иначе, как в государстве, первым актом коего было неизбежно их установление (примеч. Бакунина).

который вмешивался не лично, разумеется, но посредством своих избранников и вдохновенных пророков, священников великих завоевателей, политических людей, философов и поэтов. Вся история представляется непрерывной и роковой борьбой между различными кастами и серией целого ряда побед, одержанных сперва аристократией над теократией, и позже—демократией над аристократией. Когда демократия была окончательно побеждена, так как была неспособна организовать государство, эту высшую цель всякого человеческого общества на земле—особенно организовать неизмеримое государство, которое победы Римлян основали на развалинах всех отдельных национальностей, и которое охватывало почти весь мир, известный древним,—она должна была уступить место военной императорской диктатуре Цезарей. Но так как мощь Цезарей была основана на разрушении всех национальных и частных организаций древнего общества и представляла следовательно разложение социального организма и сведение государства к чисто фактическому существованию, опирающемуся единственно на механическую концентрацию материальных сил, то цезаризм оказался фатально осужденным в силу своего принципа на собственное саморазрушение до такой степени, что когда варвары, бич Божий, посланный небом для обновления земли, пришли, им уже почти нечего было разрушать.

Древность завещала нам в области духовной: первые понятия Божества и метафизическую выработку божественной идеи, весьма серьезное начало позитивных наук, свое чудное искусство и свою бессмертную поэзию; в области земного: высшее установление государства с патриотизмом, этой страстью и добродетелью государства, юридическое право, рабство и бесконечные материальные богатства, созданные накоплением труда рабов и расточенные немного плохой экономией варваров, хотя тем не менее эти богатства подправленные, пополненные и возросшие с тех пор благодаря подчиненному и регламентированному труду средних веков, послужили первой основой к созданию современных капиталов.

Великая идея человечества осталась совершенно неведомой древнему миру. Смутно проводимая его философами, она была слишком противна цивилизации, основанной на рабстве, и на исключительно национальной организации государств, чтобы она могла быть принята им. Христос воз-

вестил ее миру, став таким образом освободителем рабов и теоретическим разрушителем древнего общества *).

Если был когда либо человек, непосредственно вдохновленный Богом, так это был он. Если есть абсолютная религия, так это его. Если удалить из Евангелий некоторые чудовищные несообразности, попавшие туда либо по глупости переписчиков, либо по невежеству учеников, мы находим в нем в популярном изложении всю божественную истину: Бог, чистый Дух, вечный отец, Создатель, верховный господин, провидение и справедливость мира; его единственный Сын, избранный человек, который по вдохновению Своего Святого Духа спасает мир; и этот божественный Дух, наконец, открытый, проявленный и указующий всем людям путь вечного спасения. Такова божественная Троица. Рядом с ней человек, одаренный бессмертной душой, свободный и, следовательно, ответственный, призванный к бесконечному совершенствованию. Наконец, братство всех людей *на небе* и их равенство (*т. е. их равное ничтожество*) перед Богом провозглашены громогласно перед всеми. Нужно быть слишком требовательным, чтобы желать большего

Позже эти истины были без сомнения неудачно приукрашены и извращены как по невежеству и по глупости, так и по усердию не по разуму, а то так и по своекорыстным побуждениям теологов до такой степени, что когда читаешь некоторые теологические трактаты, едва-едва узнаешь эти истины. Но специальная миссия истинной философии как раз и заключается в том, чтобы выделить их из этой человеческой нечистой амальгамы и восстановить их во всей их примитивной простоте, одновременно рациональной и божественной **).

---

*) Не следует забывать, что это говорит не Бакунин, а Виктор Кузен.—Дж. Г.

**) Вопиющая возмутительная нелепость, всех метафизиков в том именно и заключается, что они всегда употребляют вместе эти два слова *рациональный* и *божественный*, словно эти понятия не уничтожают взаимно друг друга. Теологи поистине добросовестнее и гораздо последовательнее и глубже метафизиков. Они знают и осмеливаются громко сказать, что для того, чтобы Бог был реальным и непризрачным существом, необходимо, чтобы он был выше человеческого разума, единственного, который нам известен, и о котором мы имеем право говорить, и выше всего того, что мы называем естественными законами. Ибо если бы он был лишь этим разумом и этими законами, он был бы на самом деле лишь новым наименованием этого разума и этих законов, т. е. пустяком или лицемерием, а скорее всего и тем и другим сразу. Ска-

Христианское откровение служит базой новой цивилизации. Вновь начиная сначала, она взяла за основу и за исходный пункт организацию новой теократии, абсолютное царство Церкви. Это было фатально. Церковь, будучи видимым воплощением божественной истины и божественной воли, необходимо должна была управлять миром. Мы вновь

зать, что разум человека тот же самый, что и разум Бога, не служит ни к чему, кроме разве того, что ограниченный в человеке в Боге он абсолютен. Если божественный разум абсолютен, а наш ограничен, то разум Бога необходимо должен быть выше нашего, что может означать лишь следующее: божественный разум заключает в себе бесконечное количество вещей, ооторые наш бедный человеческий разум неспособен обхватить, обнять и еще меньше понять, *так как эти вещи противоречат человеческой логике*, ибо, если они не противоречат ей, то ничто не может помешать нам понять их. Но тогда уже божественный разум не был бы выше человеческого. Можно было бы возразить, что эта разница и относительное превосходство существуют даже среди людей, ибо одни понимают известные вещи, которые другие не в состоянии схватить, из чего однако не вытекает, что разум, которым одарен один, отличен от того, каким обладают другие. Из этого вытекает лишь то, что он менее развит у одних и гораздо больше развит в силу образования или даже в силу естественного предрасположения у других. Однако никто не скажет, чтобы вещи, понимаемые самыми интеллигентными людьми, противоречили разуму менее интеллигентных. Почему же показалась бы возмутительной идеи существа, разум которого извечно завершил свое абсолютное развитие? Я отвечу: прежде всего потому что эти две идеи извечного завершения и развития взаимно исключают друг друга и особенно потому, что отношение вечно абсолютного разума Бога к вечно ограниченному разуму человека совсем иное, нежели отношение между более развитым человеческим, но все же ограниченным интеллектом, и другим интеллектом, менее развитым и следовательно, еще более ограниченным. Здесь на лицо лишь чисто относительное различие, количественная разница, „больше или меньше“, что отнюдь не нарушает однородности. Низший человеческий интеллект, развиваясь дальше, может и должен достичь уровня высшего человеческого интеллекта. Расстояние, разделяющее один и другой, может быть или может казаться нам весьма значительным, но, имея свои пределы, оно может уменьшится и в конце концов уничтожиться. Не так обстоит дело между человеком и богом: они разделены неизмеримой бездной. Перед абсолютным, перед бесконечным величием все различия ограниченных величин исчезают и уничтожаются. То, что относительно самое большое, делается таким же малым, как и бесконечно малое. По сравнению с Богом самый великий человеческий гений так же глуп, как идиот. Следовательно различие существующее между разумом Бога и разумом человека, не является различием количественным, но различием качественным. Божественный разум качественно иной, нежели разум человеческий, и будучи бесконечно выше его, и являясь по отношению к нему законом, этот божественный разум подавляет и уничтожает его. Следовательно теологи в тысячу раз более правы, чем все метафизики, взятые вместе, когда они говорят, что, раз существование Бога допущено, нужно открыто провозгласить низвержение человеческого разума, и что то, что кажется бе-

находим также в этом новом христианском мире четыре класса, соответствующих кастам древности, но являющихся нам во всяком случае измененными благодаря веянью времени: класс священников, на этот раз не наследственных, но рекрутируемых изо всех классов безразлично; наследственный класс феодальных сеньеров, воинов; класс городской буржуазии, соответствующий свободному народу древности, и, наконец, класс рабов, крестьян, облагаемых податями и заваленных работой без пощады, замещающих рабов с тем огромным различием, что их уже не рассматривают, как вещи, но как человеческие существа, одаренные бессмертной душой, что не мешает сеньерам обращаться с ними так, как если бы они совсем не имели души.

Кроме того, мы находим в христианском обществе новый факт: неизбежное отныне отделение церкви от государства. Это отделение было естественным следствием международного всемирно человеческого принципа христианства (*нечеловеческого, но божественного).* Пока культы и Боги были исключительно национальные, они могли, они даже должны были сливаться с национальным государством. Но как только Церковь приняла этот характер всеобщности, то стало необходимым в виду того, что осуществление всемирного государства было материально невозможным, *(и однако ничто не должно бы было быть невозможным для Бога)*, чтобы Церковь терпела вне себя существование и организацию национальных государств, подчиненных лишь ее высшему руководству, и не имеющих право существовать иначе как с ее санкцией, не имеющих все же отдельное от нее существование. Отсюда вытекала исторически необходимая

зумием самым великим гениям человечества, является в силу этого величайшей мудростью перед Богом:

Credo quia absurdum. (Верю потому, что это нелепо).

Кто не имеет мужества произнести эти столь умные, столь энергичные, столь логичные слова Тертулиана, тот должен отказаться говорить о Боге.

Бог теологов есть Существо зловредное, враг человечества, по словам нашего покойного друга Прудона. Но это есть Существо серьезное. Между тем, как Бог метафизиков, бесплотный, без естественных свойств, без воли, без действия и особенно без крупицы логики,—есть тень тени, призрак, как бы воскрешенный современными идеалистами специально для того, чтобы прикрыть своей завесой мерзости буржуазного материализма и безнадежную нищету своей собственной мысли.

Ничто не показывает в такой степени бессилие, лицемерие и подлость современного интеллекта буржуазии, как принятие с таким трогательным единодушием этого Бога метафизики. (Примеч. Бакунина).

борьба между двумя одинаково божественными учреждениями, Церковью и Государством; Церковь не желала признать никакого права за Государством иначе как при условии, чтобы это последнее преклонилось перед превосходством Церкви, а Государство заявляло напротив того, что раз оно установлено самим Богом точно также как и Церковь, то оно не должно зависеть ни от кого кроме Бога.

В этой борьбе Государств против Церкви концентрация могущества Государства, представленного королевством, опиралось главным образом на народные массы более или менее порабощенные феодальными сеньерами, частью на деревенских рабов, но больше всего на городское население, на нарождающуюся буржуазию и на рабочие корпорации; между тем как Церковь находила себе весьма заинтересованных союзников в лице феодальных сеньеров, естественных врагов централистского могущества королевства и сторонников разложения национального единства и разложения Государства. Из этой тройной борьбы, одновременно религиозной, политической и социальной, родилось протестантство.

Торжество протестантства имело следствием не только отделение от церкви и от государства, но еще во многих странах, даже католических, и действительное поглощение церкви государством, и, следовательно, образование абсолютных монархических государств, зарождение современного деспотизма. Таков был характер, принятый со второй половины семнадцатого века всеми монархиями на Европейском континенте.

По мере того, как отдельная власть церкви и феодальная независимость сеньоров поглотилась высшим правом современного государства, крепостничество, как коллективное так и индивидуальное, народных классов, включая сюда буржуазию, рабочие корпорации и крестьян, необходимо должно было также исчезнуть, уступая постепенно место установлению гражданской свободы всех граждан, или скорее всех подданных государства *(другими словами, более могущественный, но не менее грубый и следовательно более систематически давящий деспотизм государства приходит на смену деспотизму сеньеров и церкви).*

Церковь и феодальное дворянство, поглощенные государством сделались его двумя привиллегированными сословиями. Церковь все более и более стремилась превратиться в ценное орудие правительства, направленное уже больше

не против государств, но действовавшее внутри и к исключительной выгоде государства. Она получила отныне от государства важную миссию управлять совестью, возвышать умы и быть полицией душ не столько для вящшей славы Божией, сколько для блага государства. Дворянство, после того как оно потеряло свою политическую независимость, сделалось прихлебателем монархии и, покровительствуемое ею, овладело монополией государственной службы, не зная отныне другого закона кроме удовольствия монарха; церковь и аристократия стали отныне угнетать народы не от своего собственного имени, но во имя и благодаря всемогуществу государства *).

*) Как раз в таком положении находятся сейчас церковь и дворянство в Германии. Одинаково ошибаются как те, кто говорит о Германии как о феодальной стране, так и те, кто говорит о ней, как о современном государстве: она не феодальна, ни вполне современна. Она больше не феодальная страна, ибо ее дворянство давно потеряло всякую силу, отдельную от государства, и даже самое воспоминание о своей былой политической независимости. Последние остатки феодализма, представляемые многочисленными государями Германии, членами бывшей германской конфедерации, скоро исчезнут.

Пруссия сделалась очень могущественной и имеет хороший аппетит. Бедного Гановерского короля ей хватило на завтрак, все остальные вместе послужат ей на обед. Что касается немецкого дворянства, оно только и жаждет, чтобы быть порабощенным, и чтобы прислуживать. И видя, как оно справляется с этим делом, можно подумать, что никогда ничем другим оно и не занималось. Лакеи богатого дома, княжеского дома, если угодно,—вот их призвание. Они обладают духом подчиненности, преданности, нахальством, рвением. Благодаря этим прекрасным способностям они правят всей Германией. Возьмите Готский альманах и посмотрите, какой процент буржуа среди всей бесчисленной толпы военных и гражданских чиновников, которые представляют собою силу и честь Германии? Едва один на двадцать или на тридцать.

Значит, если современное государство означает государство, управляемое буржуазией, то Германия совсем не современное государство. В отношении правительства она живет еще в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Она современна лишь с точки зрения экономической. В этом отношении в Германии, как и везде, господствует буржуазный капитал. Немецкое дворянство не представляет больше экономической системы, отличной от экономической системы буржуазии. Его феодальные отношения с землей и с земледельцами, сильно нарушенные памятными реформами барона Штейна в Пруссии, были в громадной доле сметены политической агитацией 1830 г. и особенно революционной бурей 1848 г. Они сохранились, я думаю, лишь в Мекленбурге, если по крайней мере не считать нескольких майоратов, которые еще держались в нескольких крупных княжеских семьях, и которые не замедлят исчезнуть под всемогущем нашествием буржуазного капитала. Против этого всемогущества ни граф Бисмарк со всей своей сатанинской ловкостью, ни генерал Мольтке со всей своей стратегической наукой, ни даже грозный импера-

Наряду с этим политическим угнетением низших классов имелось еще другое иго, тяжело давившее на развитие их материального благополучия. Государство действительно освободило индивидов и коммуны от сеньоральной зависимости, но оно отнюдь не освободило народный труд, дважды порабощенный: в деревнях привиллегиями, все еще связанными с собственностью, а также рабством, навязанным земледельцам; и в городах — корпоративной организацией ремесл; эти привилегии, рабство и организация, вышедшие еще из средних веков, препятствовали окончательному освобождению буржуазного класса.

Буржуазия переносила это двойное — политическое и экономическое—иго с возрастающим нетерпением. Она сделалась богатой и интеллигентной, много богаче и много интеллигентнее, чем дворянство, управлявшее ею и презиравшее ее. Сильная этими двумя преимуществами и поддерживаемая народом, буржуазия чувствовала себя призванной сделаться всем, а она была еще ничем. Отсюда вытекла революция.

Эта революция была подготовлена великой литературой восемнадцатого столетия, посредством которой философский,

---

тор со своей благородной армией не смогут устоять, ни даже бороться. Политика, которую они поведут, будет наверное благоприятна развитию буржуазных интересов и современной экономии. Только эта политика будет проводиться не буржуазией, но почти исключительно дворянством. Перефразируя известное изречение, можно сказать:

Все для буржуа, ничего через них.

Ибо не следует вводить себя в заблуждение всеми этими немецкими парламентами, как отдельных государств, так и федеральных, где буржуазия имеет право голоса. Нужно обладать педантичной наивностью немецких буржуа, чтобы принять в серьез эту детскую игру. Это то же, что их академии, в которых им позволяется болтать, лишь бы они голосовали то, что им прикажут; и они никогда не упускают вотировать желательным образом. Но когда им приходит в голову выказать себя упорствующими, тогда над ними смеются, как это делал граф Бисмарк в продолжении целого ряда годов по отношению к Прусскому Парламенту. Оскорблять буржуазию — это такое удовольствие, в котором прусский юнкер никогда не может отказать себе.

Итак, чтобы резюмировать все сказанное, современное положение Германии сводится к следующему: это—абсолютное деспотическое государство, такое, каким оно сформировалось после тридцатилетней войны; оно пользуется для угнетения масс почти исключительно дворянством и духовенством и продолжает плевать на буржуазию, обращаться с нею пренебрежительно, оскорблять ее, но тем не менее делать ее дело. Вот, почему немецкие буржуа, которые впрочем привыкли к оскорблениям, весьма остерегутся когда либо взбунтоваться против него. (Примечание Бакунина).

политический и экономический протест, об'единившись в одном общем, мощном, властном требовании, смело выставленном во имя человеческого ума, создали революционное общественное мнение, орудие разрушения несравненно более чудовищное, чем все новые патронные ружья и современные усовершенствованные пушки. Этой новой силе ничто не могло противостоять. Революция свершилась, поглотив одновременно дворянские привиллегии, алтари и троны.

12. Это столь тесное соединение практических требований с теоретическим движением умов восемнадцатого века установило громадное различие между революционными стремлениями этой эпохи и стремлениями Англии семнадцатого века. Оно без сомнения много способствовало расширению могущества революции, накладывая на нее международный, всемирный характер. Но в то же время оно вовлекло политическое движение революции в ошибки, которых теория не сумела избежать. Точно также, как философское отрицание вступило на ложный путь, нападая на Бога и об'являя себя материалистическим и атеистическим, точно также политическое и социальное отрицание, введенное в заблуждение той же разрушительной страстью, напало на главные и первичные основы всякого общества, на государство, на семью и на собственность, осмелившись громогласно об'явить себя анархическим и социалистическим; стоит вспомнить эбертистов и Бабефа, и позже Прудона, и все социалистические и революционные партии. Революция убила себя своими собственными руками, и снова разнузданное и беспорядочное торжество демократии неизбежно привело ее к торжеству военной диктатуры.

Эта диктатура не могла быть продолжительной, ибо общество не было ни деорганизовано, ни мертво, как это было с ним в эпоху установления империи Цезарей. Жестокие переживания 1789 и 1793 г.г. лишь утомили и временно истощили его, но не уничтожили. Лишенная всякой инициативы при уравнительном и полном славы деспотизме Наполеона I-го, буржуазия воспользовалась этим вынужденным досугом, чтобы сосредоточиться и лучше развить в своем уме плодотворные семена свободы, которые оставило в ней движение предыдущего века. Наученная жестоким опытом неудавшейся революции, она отказалась от преувеличенных принципов 1793 г. и, возвратившись к принципам 1789 г., которые были верным и точным выражением народной воли, а не одной какой либо секты или партии, и которые дейст-

вительно заключали в себе все условия умной, рассудительной, практической свободы *(то есть исключительно буржуазной свободы, которая была вся на пользу буржуазии и в ущерб народу, ибо в устах буржуа слово „практичный" никогда не означает чего либо иного)*,—она сделала их еще более *практичными*, отметая все, слишком расплывчатое, что ввела в них философия восемнадцатого века *(то есть слишком демократическое, слишком народное и слишком гуманно-широкое)*, и изменяя их (*то есть суживая их*) сообразно с нуждами и новыми условиями эпохи. Таким образом она окончательно создала *теорию конституционного права*, первыми апостолами которого были Монтескье, Неккер, Мирабо, Мунье, Дюпор, Барнав и много других, а г-жа де Сталь и Бенжамен Констан сделались его новыми пропагандистами при Империи.

Когда законная монархия, возвращенная во Францию падением Наполеона, хотела реставрировать старый режим, она встретила обдуманную и могущественную оппозицию буржуазного класса, который, зная отныне, чего он хочет, защищал от нее шаг за шагом бессмертные и законные победы революции,—независимость гражданского общества от смешных претензий церкви, подпавшей вновь под власть иезуитов; уничтожение всех дворянских привиллегий; равенство всех перед законом; наконец, право народа не быть облагаемым налогами без его собственного согласия, право участвовать в управлении и законодательстве страны и контролировать действия власти посредством правильного представительства, исходящего из свободного голосования всех активных граждан страны, то есть владеющих собственностью и образованных. Легитимная монархия открыто не желала принять эти основные условия нового права и—пала.

13. Іюльская монархия осуществила, наконец, во всей ее полноте истинную систему современной свободы. Без сомнения, в ней есть несовершенства; но это—несовершенства которые естественно связаны со всеми человеческими учреждениями. Те, которые имеются в конституционном июльском законе, должны быть приписаны главным образом недостатку понимания и практического навыка свободы не только в массах, но в самой буржуазии и отчасти, может быть, могут также политическим недостатком людей, которые приняли власть в свои руки.

Эти несовершенства, следовательно, преходящи, они должны исчезнуть под влиянием прогрессивной цивилизации

Но сама по себе система совершенна: она дает практическое разрешение всех вопросов, всех законных стремлений, всех действительных потребностей человеческого общества.

Она преклоняется прежде всего перед Богом, причиной всякого существования, источником всякой истины и невидимого вдохновления добрых мыслей, но, обожая его духом, она не хочет позволить, чтобы неверные и фанатические представители его незыблемой власти угнетали и дурно обращались с людьми во имя его. Она открывает путем оффициально преподоваемой во всех школах государства философии, всем интеллигентным и благонамеренным гражданам способы возвысить их ум и сердце до понимания вечных истин без того, чтобы отныне была необходимость прибегать к вмешательству священников. Дипломированные государством профессора заняли место священников, и университет сделался в некотором роде церковью интеллигенции. Но эта система проповедует в то же время просвещенное почтение ко всем традиционно установленным церквам, признавая их полезными и необходимыми вследствие невежества народных масс. Уважая свободу совести, эта система покровительствует так же всем старинным культам при условии однако, чтобы их принципы, их мораль и их практика не были в противоречии с принципами, моралью и практикой государства.

Эта система признает, как основу и *абсолютное* условие человеческой свободы, достоинства и нравственности, *доктрину свободной воли*, то есть абсолютную самопроизвольность решений индивидуальной воли и ответственность каждого за его действия, откуда вытекает для общества право и обязанность наказывать.

Эта система признает *частную* и *наследственную собственность* и *семью*, как основы и действительные условия свободы, достоинства и нравственности людей. Она уважает право собственности каждого, не ставя ему иных ограничений кроме равного права других, ни иных ограничений кроме тех, которые продиктованы соображениями общественной пользы. представляемой государством. Собственность по этой системе есть действительно естественное право, предшествовавшее государству; но оно становится юридическим правом лишь постольку, поскольку оно санкционировано и гарантировано, как таковое, государством.

Следовательно справедливо, чтобы государство, гарантируя собственнику помощь со стороны всех, ставило ему

условия, диктуемые интересами всех. Но эти ограничения или эти условия должны быть такого свойства, чтобы, всегда изменяя, поскольку это становится безусловно необходимо, но не больше естественное право собственника в его различных формах и проявлениях, они никогда не могли задеть сущность его. Ибо государство не есть отрицание, но наоборот освящение и юридическая организация всех естественных прав, откуда следует, что если бы оно нападало на них в самой сущности в основе их, то оно разрушало бы само себя. *(Оно всегда гарантирует то, что находит: одним—их богатство,—другим их бедность; одним—свободу, основанную на собственности, другим—рабство, неизбежное следствие их нищеты; и оно заставляет нищих вечно работать и в случае надобности умирать для увеличения и сохранения богатства, которое является причиной их нищеты и их рабства. Такова истинная природа и истинная миссия государства).*

Тоже самое и с семьей, которая вообще неразрывно связана как принципиально, так и фактически с частной и наследственной собственностью. Власть супруга и отца составляет естественное право. Общество, представляемое государством, юридически санкционирует эту власть. Но в то же время оно ставит некоторые границы естественной власти того и другого, чтобы спасти другое естественное право—право *) индивидуальной свободы подчиненных членов семьи, то есть матери и детей. И именно ставя ей эти границы, оно освящает ее, превращает ее в юридическое право и дает власти мужа и отца силу закона. Эта система рассматривает юридическую семью, основанную на этом двойном авторитете и на юридически наследственной собственности, как существенную основу всякой нравственности, всякой человеческой цивилизации и государства.

Она рассматривает государство, как божественное учреждение, в том смысле, что оно было основано и последовательно развивалось с начала истории, благодаря божественному об'ективному разуму, который присущ человечеству, рассматриваемому как одно целое, исторические индивиды

---

*) На обороте листка 273, на котором начинаются дальнейшие строки Бакунин написал (13 марта 1871 г.), посылая мне этот листок и двенадцать следующих листков: „13 страниц, с 273 по 285. Я еду завтра во Флоренцию, вернусь через 10 дней. Адресуй письма по прежнему в Локарно.—Когда ты уезжаешь? Жду известий от тебя. Обнимаю Швица (Швицгебеля) Твой М. Б“.

коего, содействовавшие его основанию или его развитию были лишь божественно вдохновенными истолкователями этого божественного разума. Она рассматривает государство как неизбежную, постоянную, единственную, безусловную форму коллективного существования людей, то есть общества; как высшее условие всякой цивилизации, всякого человеческого прогресса, справедливости, свободы, общего благополучия; одним словом, как единственное возможное осуществление человечности. *(И однако очевидно, как я это докажу позже, что государство есть вопиющее отрицание человечности).*

Представляя общественный разум, общественное благо и всеобщее право, высший орган как материального, так и интеллектуального и морального коллективвого развития общества, государство должно быть вооружено по отношению ко всем индивидам большим авторитетом и чудовищной силой. Но из самого принципа государства вытекает, что этот авторитет, эта сила не могут стремится к разрушению естественного права людей без того, чтобы не разрушить свой об'ект и свою основу. Если государство видоизменяет и ограничивает отчасти естественную свободу каждого индивида, так это лишь для того, чтобы еще больше ее усилить гарантией того коллективного могущества, единственным законным представителем которого оно является а также лишь для того, чтобы санкционировать ее, цивилизовать, одним словом превратить ее в юридическую свободу. Естественная свобода,—свобода диких; юридическая свобода одна достойна цивилизованных людей. Государство следовательно, есть в некотором роде церковь современной цивилизации, и адвокаты—ее священники. Откуда следует с очевидностью, что лучшее правительство есть правительство адвокатов.

В политической и юридической свободе, организация которой составляет собственно цель государства, об'единяются два основных принципа всякого человеческого общества,—принципы, которые кажутся абсолютно противоположными вплоть до взаимного исключения друг друга, и которые однако настолько неотделимы один от другого, что один не мог бы существовать без другого: принцип *власти* и принцип *свободы.* (*Да, они так хорошо об'единены в государстве, что первый всегда разрушает второй, и что там, где он оставляет его существовать частично в пользу какого либо меньшинства, это уже больше не свобода, а*

привиллегия. Государство, следовательно превращает то, что принято называть естественной свободой людей, в рабство для всех и в привиллегию для некоторых).

С самого начала истории, на протяжении долгих веков принцип власти господствовал почти исключительно так, что принцип свободы в течение очень долгого времени не мог проявиться иначе, чем в виде бунта, а этот бунт в конце восемнадцатого века был доведен до полного отрицания принципа власти, что имело своим последствием, как известно, воскрешение этого последнего, его снова исключительное господство при Империи и более умеренное при реставрированной легитимной монархии, пока он не был снова побежден последним бунтом принципа свободы. Но на этот раз свобода, сделавшись сама более умеренной и более благоразумной, (*то есть буржуазной и только буржуазной*) не пыталась больше произвести невозможного разрушения спасительной и столь необходимой власти Европы. Напротив того, она об'единилась с ней, чтобы основать Июльскую монархию, Хартию—истину *).

Государство‘ как божественное установление, существует милостью Бога. Но монархия не является таковой же. Это именно и было крупной ошибкой Реставрации—желание безусловно отожествить монархическую форму и личность монарха с государством. Июльская монархия была не божественным установлением, но утилитарным; она была предпочтена Республике, потому что она была найдена более соответствующей нравам Франции, и потому что она стала необходимой главным образом благодаря страшному невежеству французского народа. Поэтому самый прекрасный титул славы, на который мог претендовать выдвинутый революцией 1830 года король Луи-Филипп был: *„Лучшая из Республик“*, титул равноценный почти титулу: *„Король-Джентельмен“* (король—галантный человек) данный позднее королю Виктору Эмануилу в Италии.

Божественное право, коллективное право существует значит в государстве, какова бы ни была его форма, монархическая или республиканская. Его два составных принципа—принцип власти и принцип свободы, каждый имея отдельную организацию и взаимно пополняя друг друга, образуют в государстве одно органическое целое.

---

*) Намек на слова Луи-Филиппа при его восшествии на престол: „Хартией отныне будет Истина“. Дж. Г.

Власть и сила государства, сила столь необходимая, как для поддержания права и общественного порядка внутри, так и для защиты страны против внешних врагов, представлены „этой великолепной централизацией“ (*подлинные слова г. Тьера, осуществленные ныне г. Гамбеттой; они выражают интимнейшее убеждение, чтобы не сказать — культ—всех доктринерных, авторитарных либералов и громадного большинства республиканцев Франции*), этой прекрасной политической, военной, административной, юридической, финансовой, полицейской, университетской и даже религиозной машиной государства, бюрократически организованной, основанной революцией на развалинах прежнего партикуляризма провинций, и образующей всю силу современной власти.

Политическая свобода представлена в государстве законадательным собранием, избранным свободным голосованием страны и регулярно созываемым. Это собрание имеет своей задачей не только регулировать расходы и участвовать, как единственный законный представитель национального суверенитета, в законодательстве, но оно постоянно контролирует еще во имя этого самого суверенитета все действия правительства и оказывает общее положительное влияние на все дела и решения власти, как во внутренней, так и внешней политике страны. Различные способы организации этого права зависят меньше от принципа, чем от характера местных и преходящих обстоятельств, нравов, степени образования, политических условий и обычаев страны. Логически говоря, в унитарной и централизованной стране, какова, напр. Франция, должна бы существовать лишь одна Палата. Первая Палата, или Верхняя Палата имеет основание существовать лишь в стране, где как в Англии, дворянская аристократия составляет еще юридически и социально отдельный класс, или же в странах, как Соединенные Штаты и Швейцария, где провинции (кантоны, штаты) сохранили в самых недрах политических единиц автономное существование; но не в такой стране, как Франция, где все граждане об'явлены равными перед законом, и где все провинциальные автономии растворились в централизации, не допускающей ни малейшей тени независимости и различий, ни коллективных ни индивидуальных. Создание Палаты пэров, назначаемых пожизненно королем, об'ясняется следовательно в конституции 1830 г. лишь, как мера предосторожности, которую нация сочла нужным принять против себя самое, как бла-

горазумно поставленную ею преграду ее собственному, слишком революционному темпераменту. (*Из этого во всяком случае следует то, что эта Верхняя Палата,—Палата пэров, Сенат—не имея никакого органического основания для своего существования, никаких корней в стране, которую она никаким образом не представляет; не имея, следовательно, никакой силы, ни материальной, ни моральной, которая была бы свойственна ей, существует всегда лишь ради удовольствия исполнительной власти и лишь как отделение ее. Это очень полезное орудие для того, чтобы парализовать, часто чтобы уничтожить силу собственно народной Палаты, уничтожить так называемое представительство национальной свободы; чтобы осуществить деспотизм в конституционных формах, как мы это видели в Пруссии, и как мы еще долго будем видеть в Германии. Но она может оказать правительству эту услугу лишь постольку поскольку это последнее сильно само по себе: она ничего ни прибавляет к его силе будучи сама сильна лишь властью, как бюрократия. Поэтому всякий раз, как вспыхивает революция, она исчезает, как тень*).

Точно так же обстоит дело и с другим, столь важным вопросом об ограниченном или всеобщем избирательном праве. Логически—можно было бы требовать права выборов для всех взрослых граждан, и нет сомнения, что чем больше образование и довольство распространяется в массах (*что к счастью для эксплоататоров никогда не сможет произойти пока будет длиться правление привилегированных классов или вообще, пока будут существовать государства*), тем больше это право должно также распространяться. Но в практических вопросах и особенно в тех, которые имеют целью хорошее правительство и процветание страны, соображения формального права должны уступить место общественному интересу.

Очевидно, что невежественные массы слишком легко подчиняются зловредному влиянию шарлатанов (*как например влиянию священников и крупных собственников в деревнях и адвокатов и государственных чиновников в городах*). Они не имеют никакой материальной возможности распознать характер, истинные мысли и действительные намерения индивидов (*политиканов всех окрасок*), которые предлагают себя для выборов; мысль и воля масс почти всегда суть мысль и воля тех, кто находит какой либо интерес

внушить им то или другое *). С другой стороны пролетариат, составляющий, однако, большую часть населения, не обладает ничем, ему нечего терять, он не имеет никакого интереса для соблюдения общественного порядка и следовательно не может избрать хороших депутатов. Он всегда предпочитает демагогов людям, стоящим за сохранение существующего. Чтобы быть действительным и серьезным, представительство страны должно быть верным выражением ее мысли и ее воли. Но эта мысль и эта воля осознается лишь интеллигентными и владеющими классами страны, которые одни способны обдумать, охватить своей мыслью все интересы государства и одни живо интерисуются поддержанием законов и общественного порядка. (*Это совершенно справедливо, и никто не может сомневаться в политической способности буржуазного класса. Несомненно, что буржуазия знает гораздо лучше, чем пролетариат, чего она хочет и чего она должна желать, и это—по двум причинам: во первых по тому, что она гораздо образованее последнего, потому что она обладает большим досугом и гораздо большими средствами распознавания людей, которых она избирает; и во вторых, это даже главнейшая причина — потому, что ее цели и стремления отнюдь не новы и не так бесконечно обширны, как цели пролетариата; напротив, они совершенно известны и вполне определенны как историей, так и всеми условиями ее настоящего положения; эти*

---

*) Признаюсь, что я разделяю это мнение либеральных доктринеров, которое также является и мнением многих умеренных республиканцев. Я лишь делаю из него выводы, диаметрально противоположенные тем, которые делают те и другие. Я заключаю о необходимости уничтожения государства, как учреждения, неизбежно угнетающего народ, даже когда оно основывается на всеобщем избирательном праве. Для меня ясно, что всеобщее избирательное право, столь проповедуемое г. Гамбеттой—и не даром, ибо г. Гамбетта последний вдохновенный и верующий представитель адвокатской и буржуазной политики,—что всеобщее избирательное право, говорю я, есть одновременно самое широкое и самое утонченное проявление политического шарлатанизма государства; опасное орудие, без сомнения требующее большого искусства со стороны тех, кто им пользуется, но которое, если умеют хорошо им пользоваться, есть наивернейшее средство заставить массы принимать участие в созидании их собственной тюрьмы. Наполеон III основал все свое могущество на всеобщем избирательном праве, которое ни на минуту не обмануло его доверия. Бисмарк сделал его основой своей кнуто-германской империи. Я вернусь более основательно к этому вопросу, который составляет, по моему, главный и решительный пункт, отделяющий социалистов-революционеров не только от радикальных республиканцев, но и от всех школ доктринерных и авторитарных социалистов. (примеч. Бакунина).

цели сводятся к одному — удержанию ее политического и экономического господства. Это поставлено столь ясно, что очень легко знать и догадаться, который из кандидатов, ищущих избрания буржуазией, будет, и который не будет способен хорошо служить ей. Следовательно — несомненно, или почти несомненно, что буржуазия будет всегда представлена сообразно с самыми интимными желаниями ее сердца. Но что не менее несомненно, так это то, что это представительство, прекрасное с точки зрения буржуазии, будет отвратительно с точки зрения народных интересов. Так как буржуазные интересы абсолютно противоположены интересам рабочих масс, то несомненно, что буржуазный парламент никогда не сможет сделать ничего другого кроме как узаконить рабство народа и вотировать все меры, которые будут иметь целью увековечить его нищету и его невежество. Нужно быть по истине очень наивным, чтобы верить, что буржуазный парламент сможет добровольно проводить какие либо мероприятия для интеллектуального, материального и политического освобождения народа. Видели ли когда либо в истории, чтобы политический орган, привилегированный класс покончил бы с собой самоубийством, пожертвовал бы малейшими своими интересами и своими так называемыми правами из любви к справедливости и человечеству? Я, кажется, уже отметил, что даже знаменитая ночь 4-го августа, когда дворянство Франции великодушно принесло свои привилегии в жертву на алтарь отечества, была ничем иным, как вынужденным и запоздалым следствием стихийного восстания крестьян, которые повсюду жгли пергаменты и замки своих сеньоров и господ. Нет, классы никогда не приносили себя в жертву и никогда этого не сделают, ибо это противно их природе, их смыслу существования, а ничто не делается против природы и против смысла.

Следовательно совершенным безумцем был бы тот, кто ждал бы от какого либо привилегированного законодательного собрания мер и законов в пользу народа).

Из всего вышесказанного вытекает, что совершенно законно, разумно, необходимо ограничить на практике право избрания. Но лучшее средство ограничить его—это установить *избирательный ценз*, род политической „подвижной скалы“ *), двойная выгода которой такова: во первых, она

*) „Подвижной скалой“ в Англии называли систему, прилагаемую к таксе на зерно, уровень которой поднимался или опускался сообразно с обилием или недостатком урожая. Дж. Г.

спасает курию избирателей от грубого давления невежественных масс; и в то же время она не позволяет ей превратиться в аристократическое и замкнутое учреждение, держа ее постоянно открытым для всех, кто благодаря своему уму, энергичному труду и способности делать сбережения сумел приобрести движимую или недвижимую собственность, платя определенную цифру прямых налогов. Эта система представляет, правда, собою то неудобство, что исключает из числа избирателей довольно значительное количество способных людей. Чтобы смягчить это неудобство, предложили принять в число избирателей также и способных людей. Но помимо трудности определить действительно способных, если только не признавать способными всех обладающих гимназическими дипломами, есть еще более важное соображение заставляющее противиться этому допущению так называемых „способных“. Чтобы быть хорошим избирателем, недостаточно быть интеллигентным, образованным, даже иметь крупный талант, нужно еще быть существом *нравственным*. Но как и чем доказывается нравственность человека? *Его способностью приобретать собственность, когда он рожден бедным, или сохранять ее и увеличивать, когда он имел счастье получить наследство* *).

---

*) Вот, интимная сущность совести и всей буржуазной морали. Мне нет нужды отмечать, насколько она противна основным принципам христианства, которое, презирая блага всего мира (это Евангелие избрало себе профессией презирать блага мира, а сами проповедники Евангелия вовсе не презирают их), запрещает собирать сокровища на земле, потому что, говорит оно, „где ваши сокровища, там и ваши сердца“, и которое рекомендует подражать птицам небесным, которые не сеют, не жнут, а сыты бывают. Я всегда восхищался чудесной способностью протестантов читать эти евангельские слова на своем собственном языке, прекрасно обделывать свои дела и тем не менее смотреть на себя, как на весьма искренних христиан. Но это в сторону. Исследуйте внимательно, во всех их малейших деталях социальные отношения как общественного характера, так и частные, исследуйте речи и акты буржуазии всех стран, вы найдете там глубоко, наивно включенное это основное убеждение, что *честный человек, нравственный человек это тот, кто умеет приобрести, сохранить и умножить собственность, и что только собственник действительно достоин уважения*. В Англии, чтобы иметь право называться *джентльменом*, нужно два условия: посещать церковь, и — главное — быть собственником. В Английском языке есть очень энергичное, очень живописное, очень наивное выражение: *этот человек стоит столько-то*, то есть пять, десять, сто тысяч фунтов стерлингов. То, что англичане (и американцы) говорят по своей глупой наивности, все буржуа в мире думают. И бесконечное большинство буржуазного класса, в Европе, в Америке, в Австралии, во всех европейских колониях, рассеянных в мире, настолько считает это справедливым, что даже не догадывается о

Нравственность основывается на семье; но семья своей основой и действительным условием имеет собственность; следовательно, очевидно, что собственность должна быть

глубокой безнравственности и бесчеловечности этой мысли. Эта наивность в испорченности является весьма серьезным извинением, говорящим в пользу буржуазии. Это—коллективная испорченность, навязываемая, как безусловный моральный закон, всем индивидам, принадлежащим к этому классу, а этот класс ныне включает в себя всех: священников, дворян, артистов, литераторов, ученых, чиновников, офицеров, артистическую и литературную богему, промышленников и приказчиков, даже рабочих, стремящихся сделаться буржуа, всех тех, одним словом, кто хочет *индивидуально* составить себе положение, и кто, устав быть, вместе с миллионами эксплоатируемых, наковальней, хочет в свою очередь стать молотом,—словом, весь мир, за исключением пролетариата. Эта мысль, будучи столь универсальною, есть настоящая великая безнравственная сила, которую вы найдете в глубине всех политических и социальных актов буржуазии, и которая действует тем более зловредно, развращающе, что она рассматривается, как мера и основа всякой нравственности. Она извиняет, она об'ясняет и в некотором роде узаконивает бешенство буржуазии и все жестокие преступления, совершенные буржуазией в июне 1848 г. против пролетариата. Если бы, защищая привилегии собственности против рабочих социалистов, они думали, что защищают только свои интересы, они без сомнения выказали бы не меньше бешенства, но не нашли бы в себе той энергии, того мужества, той беспощадной страстности и того единодушия ярости, которые помогли им победить в 1848 г. Они нашли в себе всю эту силу потому, что были серьезно, глубоко убеждены, что, защищая свои интересы, они защищают в то же время священные основы нравственности; потому что очень серьезно, может быть даже более серьезно, чем сами они знают, *собственность есть весь их Бог*, их единственный Бог, уже давно заместивший в их сердцах небесного бога христиан. И как некогда эти последние, они способны перенести из-за него мучения и смерть. Беспощадная и отчаянная война, которую они вели и будут вести для защиты собственности, есть, следовательно, не только война из-за выгоды, из-за интересов, это в полном смысле слова—священная война. А известно, на какую ярость, на какие жестокости способны священные войны *). Собственность есть Бог: этот Бог уже имеет свою теологию (которая называется политикой государств и юридическим правом) и по необходимости также свою мораль; самое же исчерпывающее содержание этой морали точно выражается этими словами: „Этот человек стоит столько-то".

Собственность-Бог имеет также свою метафизику. Это—наука буржуазных экономистов. Как и всякая метафизика, она является своего рода сумерками, сделкой между ложью и истиной, всегда в пользу первой. Она стремится дать лжи видимость истины и она приводит истину ко лжи. Политическая экономия стремится освятить собственность трудом и представить ее, как реализацию, как плод труда. Если это удастся ей сделать, она спасает собственность и буржуазный мир. Ибо труд священен и все, что основано на труде, хорошо, справедливо, нравственно.

---

*) Это было написано накануне Коммуны. Дж. Г.

рассматриваема, как условие и доказательство моральной ценности человека. Интеллигентный, энергичный, честный человек никогда не преминет приобрести эту собственность, являющуюся необходимым социальным условием *респектабельности* гражданина и человека, проявлением его мужественной силы, видимым признаком его способностей также, как и его честных склонностей и намерений. Исключение способных людей—не собственников есть, следовательно, не только факт, но в принципе даже совершенно законная мера. Это возбудитель для людей, действительно честных и способных, и справедливое наказание для тех, кто, будучи способен приобрести собственность, по небрежности или презрению не делает этого.

гуманно, законно. Только нужно обладать слишком солидной верой, чтобы принять эту доктрину. Ибо мы видим бесконечное большинство работников, лишенных всякой собственности. И — более того, мы знаем, из признания самих экономистов и из их собственных научных доказательств, что в современной экономической организации, страстными защитниками которой они являются, *массы никогда не смогут обладать собственностью*; их труд, следовательно, не освобождает и не облагораживает их, ибо, несмотря на этот труд, они осуждены вечно оставаться вне собственности, то-есть—вне морали и человечества. С другой стороны, мы видим, что самые богатые собственники, следовательно наиболее достойные, наиболее гуманные, наиболее нравственные и наиболее уважаемые граждане, — как раз те, кто меньше всего или совсем не работает. На это ответят, что ныне невозможно остаться богатым, сохранить и еще меньше увеличить свое состояние, не работая. Хорошо, но сговоримся же: есть труд и труд. Есть труд производительный и есть труд эксплоататорский. Первый, это—труд пролетариата. Второй—труд собственников, как собственников. Тот, кто хвалился своими землями, обработанными чужими руками, эксплоатирует труд других: тот, кто хвалится своими капиталами—промышленными или торговыми, эксплоатирует труд других. Банки, обогащающиеся тысячами кредитных сделок, биржевики, выигрывающие на Бирже, акционеры, получающие крупные дивиденды, не пошевелив пальцем; Наполеон III, сделавшийся таким богатым собственником, который сделал богатыми своих ставленников: король Вильгельм I, который, гордый своими победами, готовится отобрать миллиарды у несчастной Франции, и который уже обогатился и обогатил своих солдат посредством грабежа; все эти люди—труженики. Но какие труженики, Боже мой! Придорожные эксплоататоры, труженики проезжих дорог. И еще обыкновенных воров и разбойников скорее можно назвать тружениками, ибо, по крайней мере, чтобы обогатиться, они работают своими собственными руками.

Для тех, кто не хочет быть слепым, очевидно что производительная работа создает богатство и дает работнику нищету; и что только непроизводительный эксплоатирующий труд дает собственность. Но, так как собственность есть нравственность, ясно, что *нравственность как ее понимают буржуа, состоит в эксплоатации чужого труда*. (Примеч. Бакунина)

Эта небрежность, это презрение могут иметь источником лишь леность, низость или непоследовательность характера, неустойчивость ума. Такие индивиды весьма опасны. Чем способнее они, тем больше их следует осуждать и строже наказывать. Ибо они вносят дезорганизацию и деморализацию в общество. *(Пилат сделал ошибку, повесив Иисуса Христа за его религиозные и политические мнения. Он должен был бы посадить его в тюрьму, как бездельника, лентяя и бродягу).*

Люди, одаренные способностями, которые не составляют себе состояние*), могут сделаться без сомнения очень опасными демагогами, но никогда не будут полезными гражданами.

Так устроенное Государство есть первое условие или основа и—во все времена—высшая цель всей человеческой цивилизации. Оно есть наивысшее его выражение *на сей земле.* Вне государства невозможна никакая цивилизация или очеловечение людей, рассматриваемых, как с точки зрения индивидуальной, как отдельных свободных людей, так и с точки зрения коллективной, как человеческое общество. Каждый обязан отдать себя Государству, ибо Государство есть высшее условие человечности всех и каждого. Государство навязывает себя, следовательно, каждому, как единственный представитель добра, спасения, справедливости всех. Оно ограничивает свободу каждого во имя свободы всех, индивидуальные интересы каждого во имя коллективного интереса целого общества**) . . . .

. . . .

(Здесь прерывается *текст* рукописи Бакунина).

---

*) Этот листок (285) последний, посланный мне Бакуниным (18 марта 1871 г.). Он сохранил у себя листок 286 и несколько следующих написанных уже до его от'езда во Флоренцию. По своем возвращении он продолжал редактировать примечание, начатое на листке 286, и продолжил его до 340 листка, на котором рукопись обрывается. Дж. Г.

**) Во имя этой фикции, называемой то коллективным интересом, то коллективным правом или коллективной волей и свободой, якобинские абсолютисты, революционеры школы Жан-Жака Руссо и Робеспьера, провозглашают угрожающую и бесчеловечную теорию абсолютного права Государства, между тем как монархические абсолютисты основывают ее с гораздо большей логической последовательностью на милости Божией. Либеральные доктринеры, по крайней мере те из них, которые принимают в серьез либеральные теории, исходя из принципа индивидуальной свободы, выставляют себя сперва, как известно, противниками свободы

Во имя этой фикции, называемой то коллективным интересом, то коллективным правом или коллективной волей и свободой, якобинские абсолютисты, революционеры школы Жан-Жака Руссо и Робеспьера, провозглашают угрожающую и бесчеловечную теорию абсолютного права государства, между тем как монархические абсолютисты основывают ее с гораздо большей логической последовательностью на милости Божией. Либеральные доктринеры, по крайней мере те из них, которые принимают в серьез либеральные теории, исходя из принципа индивидуальной свободы, выставляют себя сперва, как известно, противниками свободы Государства. Они первые сказали, что правительство, то есть чиновный мир, так или иначе организованный и облеченный специальной миссией отправлять деятельность государства, является необходимым *злом*, и что вся цивилизация в том и заключается, чтобы все больше и больше уменьшать его аттрибуты и права. Однако мы видим, что на практике всякий раз, как серьезно заходит речь о государстве, доктринерные либералы выказывают себя не меньшими фанатиками абсолютного права государства, чем монархические абсолютисты и якобинцы.

Их поклонение государству во что бы то ни стало, столь противоречащее, (по крайней мере внешне) их либеральным заявлениям, об'ясняется двояко: во первых *практически*—интересами их класса, ибо громадное большинство доктринерных либералов принадлежит к буржуазии. Этот столь многочисленный класс не желал бы ничего лучшего, как присвоить самому себе право, или точнее, привилегию самого полного безвластия. Вся его социальная экономия, истинная основа его политического существования, не имеет как известно, другого закона, как это безвластие, выраженное ставшими столь знаменитыми словами: „Laissez faire et laissez aller“ (предоставьте всему итти, как оно идет). Но буржуазия любит безвластие лишь в применении к себе самой и лишь при условии, чтобы массы „слишком неве-

---

Государства. Они первые сказали, что правительство, то есть чиновный мир... (Примеч. Бакунина).

Продолжение этого примечания, которое растягивается с 287 до 340 и последнего листка рукописи, было напечатано в 1895 году доктором Максом Неттлау в 1 м томе Собрания Сочинений Бакунина, стр. 264, строка 7-ая, до стр. 326, под заглавием, заимствованных у Реклю и Кафиеро: „Бог и Государство“, но его следует переместить сюда. Дж Гильом.

Дальше это примечание приводится полностью. (Примеч. издателей).

жественные, чтобы пользоваться им без злоупотребления", оставаясь подчиненными самой строгой дисциплине государства. Ибо, если бы массы, устав работать на других, восстали, все политическое и социальное существование буржуазии рухнуло бы. Поэтому мы видим повсюду и всегда что, когда массы работников начинают волноваться, самые ярые буржуазные либералы немедленно делаются самыми от'явленными сторонниками всемогущества государства. А так как возбуждение народных масс делается ныне все возрастающей и хронической болезнью, мы видим, что буржуазные либералы даже в наиболее свободных странах все больше и больше обращаются в поклонников абсолютной власти.

На ряду с этой практической причиной есть другая, чисто *теоретическая*, которая также заставляет самых искренних либералов постоянно возвращаться к культу государства. Они являются и называют себя либералами потому, что берут индивидуальную свободу за основу и исходную точку своей теории и как раз потому, что их исходная точка или эта основа таковы, они по роковой последовательности должны притти к признанию абсолютного права государства.

Индивидуальная свобода, по их словам, отнюдь не есть создание и исторический продукт общества. Они утверждают что она предшествует всякому обществу, и что человек, рождаясь, приносит ее вместе со своей бессмертной душой как божественный дар. Отсюда вытекает, что человек представляет из себя нечто, вполне самобытное, целостное и в некотором роде абсолютное существо лишь вне общества. Будучи сам свободен до и вне общества, он неизбежно составляет это общество актом своей воли и при помощи своего рода договора—инстинктивного и молчаливого или обдуманного и формального. Словом, по этой теории не индивиды создаются обществом, а напротив,—индивиды создают общество, толкаемые некоторой внешней необходимостью, как труд и война.

Ясно, что по этой теории общество в собственном смысле слова не существует. Естественное человеческое общество, действительная исходная точка всякой человеческой цивилизации, единственная среда, в которой может в действительности родиться и развиться личность и свобода людей, этой теории совершенно чужды. С одной стороны она признает лишь индивидов, существующих сами по себе

и свободных сами по себе, с другой стороны это обусловленное общество, произвольно созданное индивидами и основанное на формальном или молчаливом договоре, есть государство. (Они очень хорошо знают, что никакое историческое государство никогда не имело основой своей договор, и что все они были основаны насилием, завоеванием Но эта фикция свободного договора, основы государства, им необходима, и они ею пользуются без излишних церемоний).

Человеческие индивиды, масса которых условно соединенная образует государство, представляются по этой теории—существами совершенно особенными и преисполненными противоречий. Одаренные бессмертной душой и свободой или свободной волей, присущей им, они суть с одной стороны существа бесконечные, абсолютные и, как таковые вполне законченные, самодовлеющие, довольствующиеся сами собою и не имеющие нужды больше ни в ком, даже в Боге, ибо будучи бессмертны и бесконечны, они сами—боги. С другой стороны, они—существа весьма грубо-материальные, слабые, несовершенные, ограниченные и абсолютно зависящие от внешней природы, которая окружает, поддерживает и, в конце концов, рано или поздно уносит их. Рассматриваемые с первой точки зрения, они столь мало нуждаются в обществе, что это последнее является скорее помехой полноты их естества, их совершенной свободе. Поэтому мы видели с начала христианства святых и стойких людей, которые, глубоко восприняв идею бессмертия и спасения их душ, порвали все социальные связи и, избегая всяких человеческих отношений, искали в уединении совершенства, добродетели, Бога. Они вполне основательно, с логической последовательностью рассматривали общество, как условие всех добродетелей. Если они и покидали иногда свое сединение, то не потому, чтобы чувствовали потребность в этом, но из великодушия, из христианского милосердия к людям, которые, продолжая развращаться в социальной среде, нуждались в их советах, в их молитвах и руководстве. Всегда это было для спасения других, никогда для собственного спасения и самоусовершенствования. Напротив того, они рисковали погубить свои души, вступая в общество, из которого бежали с ужасом, как из основы всяческой испорченности. Окончив свое святое дело, они немедленно возвращались в пустыню, чтобы снова совершенствовать себя там беспрерывным созерцанием своего индивиду-

ального существа, своей одинокой души, пред лицом одного Бога.

Этому примеру должны следовать все, кто верит еще ныне в бессмертие души, во врожденную свободу или в свободную волю, если только они желают спасти свои души и достойно подготовить их к вечной жизни. Повторяю еще раз, что святые отшельники, достигавшие путем уединения совершенного оглупения, были вполне логичны. Раз душа бессмертна, то есть бесконечна по своей сущности, свободна и сама по себе, она должна быть самодовлеющей. Лишь существа преходящие, ограниченные и законченные могут взаимно пополнять друг друга; бесконечное не пополняется. Встречаясь с другим существом, которое не есть оно само, оно чувствует себя, напротив того, ограниченным; поэтому оно должно избегать его, уклоняться ото всего, что не оно само. В крайнем случае, как я уже сказал, бессмертная душа должна быть в состоянии обойтись даже без Бога. Бесконечное в самом себе существо не может признать рядом с собою другое существо, которое было бы равным ему, и еще менее—существо выше его самого. Всякое существо, которое было бы столь же бесконечно, как оно само и которое было бы не им самим, ограничивало бы его и следовательно делало бы его существом предельным и конечным.

Признавая столь же бесконечное существо, как она сама, вне себя самое, бессмертная душа необходимо признавала бы себя, как существо конечное. Ибо бесконечное в действительности является таковым, лишь охватывая все и ничего не оставляя вне себя самого. Понятно, что бесконечное существо не может, не должно признавать бесконечное существо, которое было бы выше его самого. Бесконечность не допускает ничего относительного, ничего сравнимого; эти слова: высшая бесконечность и низшая бесконечность ведут следовательно к нелепости. Бог именно и есть нелепость. Теология, которая обладает привилегией нелепости, и которая верит в вещи именно потому, что эти вещи нелепы, ставит над бетсмертными и следовательно бесконечными человеческими душами высшую абсолютную бесконечность, Бога. Но, чтобы внести поправку к себе самой, она создала фикцию Сатаны, представляющего собой настоящий бунт бесконечного существа против существования абсолютной бесконечности, против Бога, И подобно тому, как Сатана возмутился против высшей бесконечности

Бога, точно так же святые отшельники христианства слишком смиренные, чтобы бунтовать против Бога, взбунтовались против равной людям бесконечности, против общества.

Они вполне основательно заявили, что в нем не нуждаются для своего спасения; и что, если по странной фатальности они были . . . . *) и павшими бесконечностями, то общество Бога, самосозерцание в присутствии этой абсолютной бесконечности для них достаточно.

Повторяю еще раз,—это пример, достойный подражания для всех, кто верит в бессмертие души. С этой точки зрения, общество не может им предложить ничего кроме верной погибели. В самом деле, что дает оно людям? Прежде всего—материальные богатства, которые могут быть произведены в достаточных размерах лишь коллективным трудом. Но разве тот, кто верит в вечное существование, не должен презирать эти богатства? Не говорил ли Иисус Христос своим ученикам: „не собирайте сокровищ на земле, ибо где ваши сокровища, там и ваши сердца“ и еще: „легче толстому канату (или „верблюду“, по другой версии пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство небесное“. (Воображаю, какую физиономию должны корчить набожные и богатые буржуа протестанты Англии, Америки, Германии и Швейцарии, читая эти столь решительные и столь неприятные для них поучения).

Иисус Христос прав,—вожделение материальных богатств и спасение бессмертных душ безусловно непримиримы. А в таком случае, не лучше ли, раз хоть немножко верить на самом деле в бессмертие души, не лучше ли отказаться от удобств и роскоши, которые доставляются обществом, и питаться корнями, как это делают отшельники спасая свою душу ради вечности, нежели погубить ее ценою нескольких десятков лет материальных удовольствий. Этот расчет столь прост, столь очевидно справедлив, что мы вынуждены думать, что набожные и богатые буржуа, банкиры, промышленники, купцы, делающие столь отличные дела, пользуясь всем известными средствами, и тем не менее повторяющие постоянно евангельские слова, отнюдь не рассчитывают на бессмертие души для себя и великодушно уступают это бессмертие пролетариату, скромно довольствуясь для себя жалкими материальными благами, собираемыми на земле.

*) В рукописи не разборчивое слово (dé . . . qués).

Что дает еще общество помимо материальных благ? Плотские, человеческие, земные привязанности, цивилизацию и культуру духа, все, что с человеческой преходящей и земной точки зрения громадно, но перед лицом вечности, бессмертия и Бога равны нулю. Величайшая человеческая мудрость не является ли слабоумием перед лицом Бога?

Есть одна легенда восточной церкви, которая гласит, что два святых отшельника, добровольно проведшие несколько десятков лет на одном пустынном острове, уединились даже друг от друга и, проводя ночи и дни в созерцании и молитве, дошли до того, что даже потеряли способность речи. Из всего их былого репертуара слов, у них сохранилось всего три-четыре, которые соединенные вместе, не имели никакого смысла, но тем не менее выражали перед Богом самые высшие устремления их душ. Они питались, разумеется, корнями на подобие травоядных животных. С точки зрения человеческой, эти два человека были слабоумными или безумцами, но с точки зрения божественной, с точки зрения верования в бессмертие души они выказали себя более глубокими математиками, чем Галилей и Ньютон. Ибо они пожертвовали несколькими десятками годов земного благополучия и светского ума ради вечного блаженства и ума божественного.

Итак очевидно, что человек, одаренный бессмертной душой, бесконечностью и свободой, присущими этой душе, есть существо в высшей степени анти-общественное. И если бы он был всегда благоразумен, если бы занятый исключительно своим бессмертием он имел достаточно ума, чтобы презирать все блага, все привязанности и всю суету сего мира, он никогда не вышел бы из этого состояния невинности или божественного слабоумия и никогда не создал бы общества. Одним словом, если бы Адам и Ева никогда не вкусили плода от древа познания, мы все жили бы на подобие животных в земном раю, который Бог назначил им для пребывания. Но как только люди захотели познавать, образовываться, очеловечиваться, думать, говорить и пользоваться материальными благами, они неизбежно должны были выйти из своего одиночества и сорганизоваться в общество. Ибо поскольку *внутренне* они бесконечны, бессмертны, свободны, постольку они *внешне* ограничены, смертны, слабы и зависящи от внешнего мира.

Рассматриваемые с точки зрения их земного, то есть не фиктивного, а реального существования, огромное боль-

шинство людей представляет собой столь унизительное зрелище столь безнадежное, бедное инициативой, волей и умом что поистине нужно быть одаренным редкой способностью строить себе иллюзии, чтобы найти в них бессмертную душу и тень какой либо свободной воли. Они представляются нам, как существа абсолютно и фатально ограниченные,—ограниченные прежде всего внешней природой, характером почвы и всеми материальными условиями их существования ограниченные бесчисленными политическими, религиозными и социальными отношениями, обычаями, привычками, законами, целой массой предрассудков или мыслей, медленно выработанных предыдущими веками; они получают эти мысли, уже при рождении на свет в обществе, которого они являются отнюдь не создателями, но сперва—продуктом, а позднее—орудием. На тысячу людей едва ли найдется один о котором можно сказать, не безусловно, но лишь относительно, что он желает и думает самостоятельно.

Громадное большинство человеческих индивидов не только среди *невежественных масс*, но точно так же в образованных и привиллегированных классах хочет и думает лишь то, что все вокруг них думают, чего все хотят. Они верят, конечно, будто хотят и думают самостоятельно, но на самом деле они лишь рабски, по рутине, с ничтожными, едва заметными изменениями воспроизводят чужие мысли и желания. Это рабство, эта рутина, неиссякаемый источник общих мест, это отсутствие бунта воли, инициативы мысли индивидов,—главные причины безнадежной медлительности исторического развития человечества. Для нас, материалистов или реалистов, неверующих ни в бессмертие души, ни в свободную волю, эта медлительность, как она ни печальна, представляется естественной. Происходя от гориллы, человек лишь с громадными трудностями достигает сознания своей человечности и осуществления своей свободы. В начале он не может обладать ни этим сознанием, ни этой свободой. Он рождается диким животным и рабом и очеловечивается и прогрессивно эмансипируется лишь в недрах общества, которое необходимо предшествует зарождению его мысли, слова и воли. И он может достич этого лишь коллективным усилием всех бывших и настоящих членов этого общества, которое, следовательно, есть основа и естественная исходная точка его человеческого существования. Из этого следует, что человек осуществляет свою индивидуальную свободу или свою лич-

ность, лишь пополняя себя всеми окружающими его индивидами и лишь благодаря труду и коллективному могуществу общества, вне коего он остался бы, без сомнения, самым грубым и самым несчастным из всех жестоких животных, существующих на земле. По системе материалистов, единственной естественной и логичной, общество, не только не уменьшает и не ограничивает, но напротив, создает свободу человеческих индивидов. Оно—корень, дерево, свобода же—его плод. Следовательно, в каждую эпоху человек должен искать свою свободу не в начале, но в конце истории, и можно сказать, что действительное и полное освобождение каждого человеческого индивида есть настоящая великая цель, высший результат Истории.

Совсем иная точка зрения идеалистов. По их системе человек проявляет себя сперва бессмертным и свободным существом и кончает тем, что становится рабом. В качестве бессмертного и свободного, бесконечного и самоцельного духа он не нуждается в обществе. Отсюда следует, что если он вступает в общество, то лишь по причине своего грехопадения, или же потому, что он забывает и теряет сознание своего бессмертия и своей свободы.

Существо противоречивое, бесконечное, как дух, но зависящее, несовершенное и материальное во вне, он вынужден об'единяться не вследствие потребности своей души, но ради сохранения своего дела. Общество образуется, следовательно, лишь своего рода принесением в жертву интересов души и независимости души презренным интересам тела. Это настоящее падение и порабощение для индивида, внутренне бессмертного и свободного, отказ, по крайней мере частичный, от своей первоначальной свободы.

Известна сакраментальная фраза, которая на жаргоне всех сторонников государства и юридического права выражает это падение и это самопожертвование, этот первый роковой шаг к человеческому порабощению. „Индивид, пользующийся полной свободой в естественном состоянии, то есть прежде, чем он делается членом какого либо общества, приносит, вступая в него, в жертву часть этой свободы, чтобы общество гарантировало ему все остальное".

На просьбу раз'яснить эту фразу, отвечают обыкновенно другою: *Свобода каждого человеческого индивида не должна иметь других границ, кроме свободы всех других индивидов*".

На первый взгляд нет ничего более справедливого. Неправда ли? И однако, эта теория содержит в зародыше всю теорию деспотизма. Согласно с основной идеей идеалистов всех школ и вопреки всем реальным фактам человеческий индивид представляется абсолютно свободным существом постольку и лишь постольку, поскольку он остается вне общества. Отсюда следует, что общество, рассматриваемое и понимаемое единственно, как юридическое и политическое общество, то есть, как государство, есть отрицание свободы. Вот, к каким результатам приводит идеализм. Он, как видим, совершенно противоположен выводам материализма, которые согласно с тем, что происходит в реальном мире, выставляют индивидуальную свободу людей, как необходимое следствие их коллективного развития человечества.

Материальное, реалистическое и коллективное определение свободы совершенно противоположно определению идеалистов. Оно таково: человек становится человеком и достигает как сознания, так и осуществления своей человечности лишь в обществе и лишь коллективной деятельностью всего общества. Он освобождается от ига внешней природы лишь коллективным и социальным трудом, который один лишь способен превратить поверхность земли в пребывание благоприятное развитию человечества. Без этого же материального освобождения не может быть ни для кого и освобождения интеллектуального и морального.

Человек не может освободиться от ига своей собственной природы, то есть, он может подчинить свои инстинкты и движения своего собственного тела управлению своего все более и более развивающегося ума лишь воспитанием и образованием. Но и то и другое явление по самому существу своему исключительно общественные явления. Ибо вне общества человек вечно остался бы диким животным или святым, что почти одно и то же. Наконец, изолированный человек не может сознавать своей свободы. Быть свободным для человека означает, быть признанным и рассматриваемым свободным и пользующимся соответственным обращением со стороны другого человека, со стороны всех окружающих его людей. Свобода, следовательно, не может быть фактом уединения, но взаимодействия, не исключения, но напротив того—соединения, ибо свобода каждого индивида есть не что иное, как отражение его человечности или

его человеческого права в сознании всех свободных людей, его братьев, его равных.

Я могу назвать себя и чувствовать себя свободным лишь в присутствии и по отношению к другим людям. В присутствии животного низшего рода я ни свободный и ни человек, ибо это животное неспособно осознать, а следовательно и признать мою человечность. Я человечен и свободен сам лишь постольку, поскольку я признаю свободу и человечность всех людей, окружающих меня. Лишь уважая их человеческое естество, я уважаю свою собственную человечность. Людоед, который с'едает своего пленника, обращаясь с ним, как с диким животным,—не человек, но животное. Господин рабов—не человек, но господин. Не считаясь с человечностью своих рабов, он пренебрегает своей собственной человечностью. Любое античное общество может доставить нам доказательства этого: греки, римляне не чувствовали себя свободными, как люди, они не рассматривали себя с точки зрения общечеловеческого права. Они считали себя привиллегированными в качестве греков, в качестве римлян лишь в своем собственном отечестве, пока оно оставалось независимым, незавоеванным и, напротив того, завоевывающим другие страны вследствие особого покровительства их национальных Богов. И они отнюдь не удивлялись и не считали своим долгом возмущаться, когда побежденные они сами попадали в рабство.

Великой заслугой христианства было провозглашение человечности всех человеческих существ, включая женщин, и равенства всех людей перед Богом. Но как оно провозгласило это? На небесах, в будущей жизни, но не для теперешней, реальной жизни на земле. К тому же это будущее равенство опять-таки ложно, ибо, как известно, число избранных в высшей степени ограничено. Относительно этого пункта все теологи самых различных христианских сект единодушны. Следовательно, пресловутое христианское равенство влечет за собою самую вопиющую привилегию нескольких тысяч избранных божественной милостью на миллионы отверженных. Впрочем это равенство всех перед Богом, если бы даже оно осуществилось для каждого, было бы лишь равным ничтожеством и равным рабством всех перед высшим господином.

Основа христианского культа и первое условие спасения не есть ли таким образом отказ от человеческого достоинства и презрение этого достоинства пред лицом боже-

ственного величия? Христианин, следовательно,—не человек в том смысле, что он не обладает сознанием человечности и также потому, что, не уважая человеческое достоинство в самом себе, он не может уважать его в других; а не уважая его в других, он не может уважать его в себе самом. Христианин может быть пророком, святым, священником, королем, генералом, министром, чиновником, представителем какой либо власти, жандармом, палачем, дворянином, эксплоататором — буржуа или порабощенным пролетарием, угнетателем или угнетенным, мучителем или мучимым, хозяином или работником, но он не имеет права называть себя человеком, ибо человек делается в действительности таковым лишь тогда, когда он уважает и любит человечность и свободу всех, и когда его свобода и его человечность уважаемы, любимы, называемы и создаваемы всеми.

В самом деле, я свободен лишь тогда, когда все человеческие существа, окружающие меня, мужчины и женщины равно свободны. Свобода других не только не является ограничением или отрицанием моей свободы, но напротив есть необходимое условие и утверждение ее. Я становлюсь действительно свободным лишь благодаря свободе других, так что, чем больше количество свободных людей, окружающих меня, чем глубже и шире их свобода, тем распространеннее, глубже и шире становится моя свобода. Напротив того, рабство людей ставит препятствие моей свободе, или, что сводится к тому же, именно их животность и является отрицанием моей человечности, ибо повторяю еще раз,—я могу назвать себя действительно свободным лишь тогда, когда моя свобода или, что тоже, мое человеческое достоинство, мое человеческое право, заключающееся в том, чтобы не повиноваться никакому другому человеку и руководствоваться в моих действиях лишь моими собственными убеждениями, лишь когда эта моя свобода, отраженная равно свободным сознанием всех людей, возвращается ко мне, подтвержденная согласием всех. Моя личная свобода, подтвержденная таким образом свободой всех, становится беспредельной.

Мы видим, что свобода, как она понимается материалистами, есть нечто весьма положительное, весьма сложное и в особенности в высшей степени общественное, ибо она может быть осуществлена лишь при помощи общества и лишь при более тесном равенстве и солидарности каждого

со всеми. Можно различать в ней три момента развития, три элемента, из коих первый есть в высшей степени положительный и общественный; это полное развитие и полное пользование каждого всеми человеческими способностями и возможностями путем воспитания, научного образования и материального благополучия,—а все это может быть дано каждому лишь коллективным материальным и интеллектуальным, мускульным и нервным трудом целого общества.

Второй элемент или момент свободы—отрицательный. Это элемент *бунта* человеческого индивида против всякой божеской и человеческой, коллективной и индивидуальной власти.

Это прежде всего бунт против тирании высшего призрака теологии, против Бога. Очевидно, что, пока у нас будет господин на небе, мы будем рабами на земле. Наш разум и наша воля будут одинаково сведены к нулю. Пока мы будем верить, что мы обязаны ему абсолютным повиновением,—а по отношению к Богу не может быть иного, чем абсолютного повиновения,—мы должны будем необходимо пассивно и без малейшей критики подчиняться святой власти его посредников и его избранных: мессий, пророков, божественно вдохновенных законодателей, императоров, королей и всех их чиновников и министров, представителей и священнослужителей двух великих учреждений, которые навязываются нам, как установленные самим Богом для управления людьми: Церкви и Государства. Всякая преходящая или человеческая власть исходит непосредственно от духовной или божественной власти. Но власть есть отрицание свободы. Бог, или скорее фикция Бога, есть, следовательно, освящение и интеллектуальная и моральная причина всякого рабства на земле, и свобода людей будет полной лишь тогда, когда она совершенно уничтожит гибельную фикцию небесного владыки.

Затем, как следствие бунта против Бога, является бунт против тирании людей, против власти, как индивидуальной, так и общественной, представленной и легализированной государством. Относительно этого нужно однако, хорошенько столковаться, а для того надо начать с установления весьма точного различия между оффициальной и следовательно тиранической властью общества, организованного в государство, и влиянием и естественным воздействием неоффициального, естественного общества на каждого из его членов.

Бунт против естественного влияния общества много труднее для индивидов, чем бунт против оффициально организованного общества, против Государства, хотя часто он также совершенно неизбежен, как последний. Общественная тирания, часто давящая и гибельная, не представляет того характера повелительного насилия, узаконенного и формального деспотизма, который отличает власть Государства. Она не навязывается, как закон, которому всякий индивид вынужден повиноваться под страхом подвергнуться юридической каре. Ее воздействие мягче, вкрадчивее, незаметнее, но оно тем более могущественно, чем воздействие власти Государства. Общественная тирания господствует над людьми путем обычаев, путем нравов, совокупностью переживаний, предрассудков и привычек как в области материальной жизни, так и в сфере ума и сердца, и составляет то, что мы называем общественным мнением. Оно окружает человека с рождения, проникает его, пронизывает, и образует самую основу его собственного индивидуального существования. Таким образом каждый является в некотором роде более или менее участником этого насилия против себя самого и очень часто даже не подозревает об этом. Отсюда вытекает, что для того, чтобы восстать против этого влияния, которое общество естественно оказывает на него, человек должен по крайней мере отчасти восстать против себя самого, ибо со всеми своими материальными, интеллектуальными и моральными задатками и стремлениями, он сам есть лишь продукт общества. Отсюда вытекает это безграничное могущественное влияние общества на людей.

С точки зрения абсолютной морали, то есть с точки зрения человеческого уважения,—я сейчас скажу, что понимаю под этими словами,—это могущество общества может быть как благотворно, так и зловредно, Оно благотворно, когда стремится к развитию науки, материального процветания, свободы, равенства и братской солидарности людей; оно зловредно, когда имеет противоположные стремления.

Человек, рожденный в обществе скотов, останется сам за очень редким исключением скотом; рожденный в обществе управляемом священниками, он станет идиотом, ханжей; рожденный в шайке воров, он сделается, вероятно, вором; рожденный в буржуазном классе, он будет эксплоататором чужого труда; и если он имел несчастье родиться

в обществе полубогов, управляющих этой землей, дворян, принцев, королевских детей, он будет сообразно степени своих способностей, своих средств и своего могущества тираном, презирающим, порабощающим человечество... Во всех этих случаях даже просто для очеловечения этого индивида, его бунт против общества, в котором он родился, становится необходимым.

Но, повторяю, бунт индивида против общества по трудности отличается от его бунта против Государства. Государство есть историческое преходящее учреждение, временная форма общества, как сама церковь, младшим братом которой оно является; но оно отнюдь не имеет фатального и неподвижного характера общества, которое предшествует всякому развитию человечества, и которое, обладая всей совокупностью всемогущих естественных законов, действий и проявлений, составляет самую основу всякого человеческого существования. Человек, по меньшей мере с того момента, как он сделал первый шаг к человечности, как он начал становиться человеческим существом, то-есть существом более или менее говорящим и думающим, родился в обществе, как муравей рождается в своем муравейнике или пчела в своем улье. Он не выбирает его, — напротив того, он есть продукт его и также фатально подчинен естественным законам, управляющим его необходимым развитием, как подчиняется и другим естественным законам. Общество одновременно и предшествует и переживает всякого человеческого индивида, как сама природа. Оно вечно, как природа или, скорее, рожденное на земле, оно продлится, пока будет существовать наша земля. Коренной бунт против общества был бы следовательно также невозможен для человека, как и бунт против природы, ибо человеческое общество есть в общем ничто иное, как последнее великое проявление или создание природы на нашей земле. И индивид, который хотел бы восстать против общества, то-есть против природы вообще и в частности против своей собственной природы, поставил бы себя вне всяких условий, реального существования, устремившись в ничто, в абсолютную пустоту, в мертвую отвлеченность, в Бога. Следовательно, так же нельзя задавать вопрос о том, добро или зло общество, как невозможно спрашивать, добро или зло природа, всеобщее материальное, реальное, единственное, высшее, абсолютное бытие. Это — нечто большее: это —бесконечный положительный и первоначальный факт, пред-

шествующий всякому сознанию, всякой идее, всякой интеллектуальной и моральной оценке; это самая основа, это — мир, в котором фатально и значительно позже развивается для нас то, что мы называем добром и злом.

Не так обстоит дело с государством. И я не колеблюсь сказать, что государство есть зло, но зло, исторически необходимое, так же необходимое в прошлом, как будет рано или поздно необходимым его полное исчезновение, столь же необходимое, как необходима была первобытная животность и теологические блуждания людей. Государство вовсе не однозначуще с обществом, оно есть лишь историческая форма, столь же грубая, как и отвлеченная. Оно исторически возникло во всех странах от союза насилия, опустошения и грабежа, — одним словом, от войны и завоевания с богами, последовательно созданными теологической фантазией наций. Оно было с самого своего образования и остается еще и теперь божественной санкцией грубой силы и торжествующей несправедливости. Даже в самых демократических странах как Соединенные Штаты Америки и Швейцария, оно является ничем иным, как освящением привилегий какого либо меньшинства и фактическим порабощением огромного большинства.

Бунт против государства гораздо легче, потому что в самой природе государства есть нечто провоцирующее на бунт. Государство это—власть, это—сила, это—хвастовство и самовлюбленность силы. Оно не старается привлечь на свою сторону, обратить в свою веру; всякий раз, как оно вмешивается, оно делает это весьма недоброжелательно. Ибо по самой природе своей оно таково, что отнюдь не склонно убеждать, но лишь принуждать и заставлять; как оно ни старается замаскировать свою природу, оно остается легальным насильником воли людей, постоянным отрицанием их свободы. И даже, когда оно приказывает что либо хорошее, оно обесценивает и портит это хорошее потому, что приказывает, и потому, что всякое приказание возбуждает и вызывает справедливый бунт свободы, и потому еще, что добро, раз оно делается по приказу, становится злом с точки зрения истинной морали, человеческой, разумеется, а не божественной, с точки зрения человеческого самоуважения и свободы. Свобода, нравственность и человеческое достоинство заключаются именно в том, что человек делает добро не потому, чтобы кто либо приказывал ему, но потому, что он сознает, хочет и любит добро.

Что касается общества, то оно формально, оффициально и властно не принуждает, оно естественно воздействует, и именно потому, его действие на индивида несравненно более могущественно, чем действие государства. Оно создает и формирует всех индивидов, рождающихся и развивающихся в его недрах. Оно вводит в них медленно с первого дня их рождения, до самой смерти всю свою собственную материальную, интеллектуальную и моральную природу. Оно, так сказать, индивидуализируется в каждом.

Реальный человеческий индивид есть существо, столь мало универсальное и абстрактное, что каждый, с момента своей формации во чреве матери, оказывается уже имеющим все свои индивидуальные особенности и заранее определенным благодаря множеству материальных, географических, климатологических, этнографических, гигиенических и — следовательно экономических причин и воздействий, составляющих собственно материальную, исключительно присущую его семье, классу, нации, расе, природу. И поскольку склонности и влечения людей зависят от совокупности всех внешних или физических влияний, каждый родится с индивидуальной материально определенной природой или характером. Более того благодаря относительно высшей организации человеческого мозга, каждый человек, рождаясь, приносит, конечно, в различной степени не врожденные идеи и чувства, как утверждают идеалисты, но способности в одно и то же время материальные и формальные, чувствовать, думать, говорить и хотеть. Он приносит с собою лишь возможность образовывать и развивать идеи, и, как я только что сказал, деятельную чисто формальную силу без всякого содержания. Кто вкладывает в нее первоначальное содержание? Общество.

Здесь не место исследовать, как образовались в первобытных обществах первые представления и первые идеи, из коих большая часть была, разумеется весьма нелепа. Все что мы можем сказать с полной уверенностью, это, что сперва они не создавались изолированно и самопроизвольно чудесно просвещенным умом вдохновленных индивидов, но коллективною, чаще всего едва уловимою умственною работой всех индивидов, принадлежащих к этим обществам. Выдающиеся, гениальные люди были в состоянии дать лишь наиболее верное или наиболее удачное выражение этой коллективной умственной работе; ибо все гениальные люди, подобно Мольеру, *„собирали все хорошее повсюду, где нахо-*

дили его". Следовательно, первоначальные идеи были созданы интеллектуальной коллективной работой первобытных обществ. Эти идеи сперва были всегда лишь простым, конечно, весьма несовершенным констатированием естественных и общественных явлений и еще менее правильными заключениями, сделанными из этих явлений. Таково было начало всех человеческих представлений, воображений и мыслей. Содержание этих мыслей совсем не было самопроизвольным созданием человеческого ума и было дано ему сперва, как внешним, так и внутренним реальным миром. Ум человека, то есть работа или чисто органическое и следовательно материальное функционирование его мозга, возбужденное, как внешними, так и внутренними впечатлениями, переданными ему его нервами, вносит лишь чисто формальное сравнение или комбинирование этих впечатлений от вещей и явлений в системы справедливые или ложные. Так родились первые идеи. При посредстве слова эти идеи или, скорее, эти первые создания воображения получили более точное и постоянное выражение, передаваясь от одного человеческого индивида к другому. Так создания индивидуального воображения каждого сталкивались друг с другом, контролировались, видоизменялись, взаимно пополнялись и, более или менее сливались в единую систему, кончили тем, что сформировали общее сознание, коллективную мысль общества.

Эта мысль, передаваемая традицией от одного поколения к другому и все больше развиваясь вековой интеллектуальной работой, составляет интеллектуальное и моральное достояние общества, класса или нации.

Каждое новое поколение находит в своей колыбели целый мир идей, представлений и чувств, которые оно получает как наследие минувших веков. Этот мир сначала не представляется новорожденному человеку в своей идеальной форме, как система представлений и идей, как религия, как доктрина. Дитя не способно ни воспринять, ни понять его в этой форме. Но он навязывается ему, как мир фактов воплощенных и реализованных, как в людях, так и во всех вещах, окружающих его с первого дня жизни, говоря его чувствам при помощи всего того, что он слышит и видит. Ибо человеческие идеи и представления были вначале ничем иным, как продуктом действительных фактов, как естественных, так и общественных в том смысле, что они были их отражением или отзвуком в человеческом мозгу и, так

сказать, идеальным и более или менее правильным воспроизведением их при посредстве этого безусловно материального органа человеческой мысли. Позже, будучи хорошо установлены указанным мною образом в коллективном сознании какого либо общества, они приобретают силу, достаточную, чтобы в свою очередь стать причинами новых явлений, не чисто естественных, но общественных. Они кончают тем, что изменяют и преобразовывают, правда, очень медленно человеческое существование, обычаи и учреждения,— одним словом, все взаимоотношения людей в обществе, и путем своего воплощения в самых обыденных в жизни каждого вещах они становятся ощутимыми, осязаемыми для всех, даже для детей. Так что каждое новое поколение проникается ими с самого нежного детства, и когда оно достигает зрелого возраста, когда собственно и начинается работа его собственной мысли, необходимо сопутствуемая новой критикой, оно находит в себе самом точно так же, как и в окружающем его обществе, целый мир установленных мыслей или представлений, которые служат ему исходной точкой и дают ему в некотором роде сырье или ткань для его собственной интеллектуальной и моральной работы. Сюда относятся традиционные и обычные представления, созданные воображением, которые метафизики, обманутые тем совершенно нечувствительным и незаметным образом, с каким эти представления, являясь извне, проникают и запечатлеваются в мозгу детей, прежде даже, чем дошли до сознания их самих, ошибочно называют *врожденными идеями.*

Таковы общие или отвлеченные идеи божества и души, идеи совершенно нелепые, но неизбежные, фатальные в историческом развитии человеческого ума, который лишь очень медленно, на протяжении веков, приходя к рациональному и критическому сознанию самого себя и собственных своих проявлений, всегда исходит от нелепости, чтобы придти к истине, и от рабства, чтобы завоевать свободу. Таковы идеи, освященные на протяжении веков, всеобщим невежеством и глупостью а также хорошо понятыми интересами привилегированных классов, освященные до такой степени, что даже ныне трудно высказаться против них открыто общедоступным языком без того, чтобы не возмутить значительную часть народных масс и не рисковать быть побитым камнями и лицемерною буржуазией.

Наряду с этими чисто отвлеченными идеями и всегда в тесной связи с ними подросток находит в обществе и

вследствие всемогущего влияния, оказываемого обществом на него в детстве, он находит также в самом себе много других представлений или идей, гораздо более определенных, ближе относящихся к реальной жизни человека, к его каждодневному существованию. Таковы представления о природе и о человеке, о справедливости и об обязанностях и правах индивидов и классов, об общественных условностях, о семье, о собственности, о государстве и также многие другие представления, регулирующие взаимные отношения людей. Все эти идеи, которые он, рождаясь на свет, находит воплощенными в вещах и в людях, и которые запечатлеваются в его собственном уме благодаря получаемому им воспитанию и образованию, раньше даже, чем он приходит к сознанию самого себя, он потом вновь находит освященными, раз'ясненными и снабженными комментариями в теориях, выражающих всеобщее сознание или коллективный предрассудок и во всех религиозных, политических и экономических установлениях общества, к которому он принадлежит. И он до такой степени сам пропитан ими, что, будь он сам заинтересован или не заинтересован в их защите, он является их невольным сообщником, благодаря всем своим материальным, интеллектуальным и моральным обычаям.

Чему следует удивляться, так это не всемогущему действию оказываемому этими идеями, выражающими коллективное сознание общества, на человеческие массы. Напротив того, удивительно, что встречаются еще в этих массах индивиды, имеющие мысль, волю и мужество бороться с ними. Ибо давление, оказываемое обществом на индивида громадно, и нет настолько сильных характеров и столь мощных умов, которые могли бы считать себя свободными от воздействия этого столь же деспотического, как и непреоборимого влияния.

Ничто лучше не доказывает общественный характер человека, чем это влияние. Можно было бы сказать, что коллективное сознание какого-либо общества, воплощенное как в важнейших общественных учреждениях, так и во всех деталях его частной жизни, и служащее основой всем его теориям, образует род окружающей среды, род интеллектуальной, и моральной атмосферы, вредной, но абсолютно необходимой для существования всех членов данного общества. Она господствует над ними, она в то же время и поддерживает их, связывая их между собой привычными и не-

обходимо обусловленными ею самою отношениями; внедряя в каждого сознание безопасности, уверенности и обеспечивая для всех главное условие существования толпы, — банальность, общие места и рутину.

Огромное большинство людей, не только в народных массах, но и в привилегированных и просвещенных классах, а часто даже больше, чем в народных массах, чувствует себя спокойно и благодушно лишь тогда, когда в своих мыслях и во всех своих поступках они строго, слепо следуют традиции и рутине: „Наши отцы думали и делали так, и мы должны думать и делать, как они. Все вокруг нас думают и действуют так. Почему бы мы стали думать и действовать иначе, чем все“? Эти слова выражают философию, убеждение и практику девяносто девяти сотых человечества, взятых на удачу во всех классах общества. И, как я уже заметил, в этом заключается наибольшая помеха прогресса и более скорого освобождения человеческого рода.

Каковы причины этой приводящей в отчаяние медлительности, столь близкой к застою, которая, по моему, составляет наибольшее несчастье человечества? Причин этих очень много. Одна из самых важных, конечно, среди них это—невежество масс. Лишаемые постоянно и систематически всякого научного воспитания, благодаря отеческим заботам всех правительств и привилегированных классов, находящих полезным поддерживать в них сколь возможно дольше невежество, набожность, веру,—три наименования почти одного и того же явления—массы равным образом не знакомы с существованием и употреблением того орудия интеллектуального освобождения, который называется критикой. Без критики же невозможна полная моральная и социальная революция. Массы заинтересованные в восстании против установленного порядка вещей, еще привязаны к нему более или менее благодаря религии их отцов, этого провидения привилегированных классов.

Привилегированные классы, не имеющие ныне, что бы они ни говорили, ни набожности, ни веры, привязаны к нему в свою очередь в силу своих политических и социальных интересов. Однако, невозможно сказать, чтобы это была единственная причина их страстной привязанности к господствующим идеям. Как ни низко ценю я современный ум и нравственность этих классов, я не могу допустить, чтобы интересы были единственным двигателем их мыслей и их поступков.

Есть, без сомнения, в каждом классе и в каждой партии более или менее многочисленная группа интеллигентных, сильных и сознательно недобросовестных эксплоататоров, называемых *сильными людьми*, свободных от всех интеллектуальных и моральных предрассудков, равно безразличных ко всем убеждениям и пользующихся любым из них в случае надобности, чтобы достичь своей цели. Но эти выдающиеся люди даже в самых испорченных классах всегда составляют лишь ничтожное меньшинство; остальные, как и в самом народе, представляют собою стадо баранов.

Они, естественно, поддаются влиянию своих интересов, которые заставляют их видеть в реакции необходимое условие их существования. Но невозможно допустить, чтобы, творя реакцию, они подчинялись лишь эгоистическому чувству. Громадное большинство людей, даже весьма испорченных, действуя коллективно, не может быть столь извращенным.

Во всяком многочисленном об'единении, и с еще большим основанием, в традиционных, исторических ассоциациях, каковыми являются классы, даже если они дошли до такого момента своего существования, что они становятся абсолютно зловредны или противны интересу и праву всех, есть все же начало нравственности, религии, какие-либо верования, конечно, очень мало рациональные, чаще всего смешные и, следовательно, чрезвычайно узкие, но искренние, и составляющие необходимое моральное условие их существования.

Общая и основная ошибка всех идеалистов, ошибка, которая, впрочем вполне логически вытекает из всей их системы, это—искание основы морали в изолированном индивиде, между тем как она заключается—и не может не заключаться—лишь в об'единенных индивидах. Чтобы доказать это, оценим по достоинству раз на всегда изолированного или абсолютного индивида идеалистов.

Этот человеческий одинокий и отвлеченный индивид есть такая же фикция, как и Бог. Оба они были созданы одновременно верующей фантазией или не размышляющим, экспериментальным и логическим, а лишь полным воображения детским разумом народов в начале, а позже развитыми, раз'ясненными и догматизированными теологическими и метафизическими теориями идеалистических мыслителей. Оба представляя собою абстракции, лишенные всякого со-

держания и несовместимые с какой бы то ни было реальностью, приводят к небытию.

Я, полагаю, доказал уже безнравственность фикции Бога; позже, в Приложении я докажу еще полнее ее нелепость. Теперь я хочу проанализировать столь же безнравственную, как и нелепую фикцию этого абсолютного или отвлеченного человеческого индивида, которого моралисты идеальной школы берут за основу своих политических и социальных теорий.

Мне не трудно будет доказать, что человеческий индивид, которого они выставляют и которого они любят, есть существо глубоко безнравственное. Это олицетворенный эгоизм, существо в высшей степени безнравственное. Раз он одарен бессмертной душой, он бесконечен и самодовлеющ; следовательно, он ни в ком не нуждается даже в Боге, тем более не нуждается он в других людях. Логически, он отнюдь не должен был бы выносить существование равного или высшего индивида, столь же бессмертного и столь же бесконечного, или более бессмертного и более бесконечного, чем он сам рядом с собою или над собою. Он должен быть единственным человеком на земле. Что я говорю! Он должен быть в состоянии назвать себя единственным существом, целым миром. Ибо бесконечный, встречая что бы то ни было вне себя самого, находит себе предел и уже не бесконечен больше, а две бесконечности, встречаясь, взаимно уничтожают друг друга.

Почему теологи и метафизики, выказывающие вообще себя столь тонкими логически рассуждающими мыслителями, совершили и продолжают совершать эту непоследовательность, допуская существование многих одинаково бессмертных, то-есть одинаково бесконечных людей и над ними существование Бога еще более бессмертного и более бесконечного? Они были вынуждены к этому абсолютной невозможностью отрицать реальное существование, смертность точно также, как и взаимную независимость миллионов человеческих существ, которые жили и живут на этой земле. Это факт, от которого они при всем своем желании не могут отвлечься. Логически, они должны бы заключить из него, что души не бессмертны, и что они отнюдь не имеют существования, отдельного от их телесных и смертных оболочек, и что, ограничивая себя и находясь во взаимной зависимости, встречая вне себя самих бесконечность различных об'ектов, человеческие индивиды, как и все, сущест-

вующее в сем мире, суть преходящие, ограниченные и конечные существа.

Но, признавая это, они должны были бы отказаться от самых основ их идеальных теорий, они должны были бы встать под знамя чистого материализма или экспериментальной и рациональной науки. К этому их приглашает мощный голос века.

Они остаются глухи к этому голосу. Их природа вдохновленных людей, пророков, доктринеров и священников и их ум, толкаемый тонкой ложью метафизики, привычной к сумеркам идеальных фантазий, возмущается против откровенных заключений и против яркого дня простых истин.

Они столь боятся его, что предпочитают переносить противоречие, которое сами себе создают этой нелепой фикцией бессмертной души, или долгом искать решение в новой нелепости, в фикции Бога. С точки зрения теории, Бог в действительности есть ни что иное, как последнее убежище и высшее выражение всех нелепостей и противоречий идеализма. В теологии, представляющей детскую и наивную метафизику, он появляется, как основа и первопричина нелепости, но в метафизике в собственном смысле слова, то есть в утонченной и рационализированной теологии, он, напротив, составляет последнюю инстанцию и высшее прибежище в том смысле, что все противоречия, кажущиеся неразрешимыми в реальном мире об'ясняются в Боге и при посредстве Бога, то есть при посредстве нелепости, облеченной насколько возможно рациональной видимостью.

Существование личного Бога и бессмертие души—суть две нераздельные фикции, суть два полюса той же абсолютной нелепости, из которых одна вызывает другую, и одна тщетно ищет своего об'яснения, основания своего существования в другой. Таким образом, для очевидного противоречия которое имеется между предполагаемой бесконечностью, каждого человека и реальным фактом существования многих людей, следовательно многих бесконечных существ, находящихся одно вне другого, неизбежно ограничивая друг друга; между их смертностью и их бессмертием: между их естественной зависимостью и их абсолютной независимостью одного от другого, идеалисты имеют лишь один ответ: Бог. Если этот ответ ничего вам не об'ясняет и не удовлетворяет вас, тем хуже для вас. Они не могут дать вам другого.

Фикция бессмертия души и фикция индивидуальной морали, являющаяся ее необходимым последствием, суть отрицание всякой морали. И в этом отношении нужно отдать справедливость теологам, которые, будучи гораздо более последовательными, более логичными, чем метафизики смело отрицают то, что принято называть ныне *„независимой моралью“*, об'являя весьма основательно, что раз принимается бессмертие души и существование Бога, то нужно признать также, что может быть лишь одна мораль, а именно божественный закон, откровение, религиозная мораль, то-есть связь бессмертной души с Богом милостью Бога. Помимо этой иррациональной, таинственной, мистичной связи, единственно святой и единственно спасительной, и вне вытекающих из нее последствий для человека, всякие другие связи ничтожны. Божественная мораль есть абсолютное отрицание человеческой морали.

Божественная мораль нашла свое прекрасное выражение в христианском завете: „Возлюби Бога, больше чем самого себя, а ближнего своего, как самого себя“, что обязывает к принесению в жертву Богу самого себя и своего ближнего. Допустим пожертвование самого себя,—оно может быть сочтено за безумие. Но принесение в жертву ближнего с человеческой точки зрения абсолютно безнравственно. И почему я принуждаюсь к сверхчеловеческой жертве? Ради спасения моей души. Таково последнее слово христианства Итак, чтобы угодить Богу и спасти свою душу, я должен принести в жертву своего ближнего. Это абсолютнейший эгоизм. Этот эгоизм не уменьшенный и не уничтоженный, но лишь замаскированный в католичестве вынужденной коллективностью и авторитарным иерархическим и деспотическим единством Церкви, появляется во всей своей циничной откровенности в Протестанстве, в этом своего рода религиозном: *„спасайся, кто может!“*.

Метафизики в свою очередь стараются прикрыть этот эгоизм, который есть врожденный и основной принцип всех идеальных доктрин, говоря очень мало, насколько возможно мало об отношениях человека к Богу и много о взаимных отношениях людей. Это совсем не красиво, не откровенно и не логично с их стороны. Ибо, раз допускается существование Бога, то является необходимость признать отношения человека с Богом. И должно признать, что перед лицом этих отношений с абсолютным и высшим существом все другие отношения необходимо неискренны. Или Бог не есть

Бог, или же его присутствие все поглощает и уничтожает. Но оставим это...

Итак, метафизики ищут мораль в отношениях людей между собою и в то же время они утверждают, что она есть безусловно индивидуальный факт, божественный закон, вписанный самим Богом в сердце каждого человека, независимо от его отношений с другими человеческими существами. Таково непобедимое противоречие, на котором основана теория нравственности идеалистов. Раз, прежде чем я вступил в какие либо отношения с обществом, и, следовательно, независимо от какого бы то ни было влияния общества на меня, я ношу нравственный закон, вписанный заранее самим Богом в мое сердце, то этот нравственный закон необходимо чужд и безразличен, если не враждебен, моему существованию в обществе. Он не может касаться моих отношений с людьми и может определять лишь мои отношения с Богом, как это вполне логично утверждает теология. Что же касается людей, они с точки зрения этого закона мне совершенно чужды. Так как нравственный закон создан и вписан в мое сердце помимо всяких моих отношений с ними, то ему нет до них никакого дела.

Но, скажут мне, этот закон как раз повелевает вам любить людей, как самого себя, ибо они суть вам подобные, и ничего не делать им, чего бы вы не хотели, чтобы было сделано вам самим,—соблюдать в отношении их равенство, одинаковую нравственность, справедливость. На это я отвечу, если правда, что нравственный закон содержит в себе такое повеление, я должен заключить из этого, что он не был создан и не был изолированно написан в моем сердце. Он необходимо предполагает существование, предшествующее моим отношениям с другими людьми, подобными мне, и, следовательно, не создает этих отношений но находя их уже естественно установившимися, он лишь регулирует их и является лишь в некотором роде развитием, проявлением, об'яснением и продуктом их. Отсюда явствует, что нравственный закон есть не индивидуальное, но социальное явление, создание общества.

Если бы было иначе, нравственный закон, вписанный в моем сердце, был бы нелепостью. Он регулировал бы мои отношения с существами, с которыми я не имел никаких отношений, и о существовании которых я не подозревал.

На это у метафизиков имеется ответ. Они говорят, что каждый человеческий индивид, рождаясь, приносит с собой

закон, вписанный рукой самого Бога в его сердце, но что этот закон находится сперва в скрытом состоянии, лишь в виде возможности, не осуществленной и не проявленной для самого индивида, который не может осуществить его, и которому удается расшифровать его в себе самом, лишь развиваясь в обществе себе подобных,—одним словом, что человек приходил к сознанию этого закона, присущего ему лишь путем отношений с другими людьми.

Это раз'яснение, хотя и не правдоподобное, но вполне приемлемое, приводит нас к доктрине врожденных идей, чувств и принципов. Доктрина эта известна. Человеческая душа, бессмертная и безграничная по своей сущности, но телесно определенная, ограниченная, отягощенная и, так сказать, ослепленная и уничтоженная в своем реальном существовании, содержит в себе все эти вечные и божественные принципы, но без своего ведома, даже совершенно не подозревая сперва о них. Бессмертная, она необходимо должна быть вечной в прошлом, как и в будущем. Ибо если она имела начало, она неизбежно должна иметь конец и отнюдь не была бы бессмертной. Чем была она, что делала на протяжении всей этой вечности, лежащей позади нее? Одному Богу это известно. Что касается ее самое, она этого не помнит, она забыла. Это великая тайна, полная вопиющих противоречий, и чтобы разрешить их, нужно прибегнуть к высшему противоречию, к Богу. Во всяком случае, она всегда обладает, сама того не подозревая, в какой то неведомой таинственной области своего существа всеми божественными принципами. Но, затерянная в своем земном теле, огрубевшая, вследствие грубо материальных условий своего рождения и своего существования на земле она уже не способна их осознать и даже не в силах вспомнить о них. Это все равно, как если бы она их вовсе не имела. Но вот встречается в обществе множество человеческих душ, которые все одинаково бессмертны по своей сущности и все одинаково огрубелые, приниженные и оматериализовавшиеся в своем реальном существовании. Сначала они до такой степени мало узнают друг друга, что одна материализованная душа пожирает другую. Как известно людоедство было первым обычаем человеческого рода. Затем продолжая ожесточенную войну, каждая стремится поработить все другие,—это долгий период рабства, период который еще далеко не закончился и ныне. Ни в людоедстве, ни в рабстве нельзя найти без сомнения никаких

следов божественных принципов. Но в этой непрестанной борьбе между собой народов и людей заключается история, и именно вследствие бесчисленных страданий, являющихся самым явным результатом ее, души мало по малу пробуждаются, выходя из своего огрубения, приходя в себя, все больше распознавая себя и углубляясь в свое интимное естество; вызываемые к тому же и побуждаемые одна другою, они начинают вспоминать себя, сперва предчувствовать а затем различать и усваивать более отчетливо принципы, которые Бог испокон веков начертал в них собственной рукой.

Это пробуждение и это воспоминание происходит сначала вовсе не в душах, более бесконечных и более бессмертных. Это было бы нелепостью, ибо бесконечность не допускает сравнительных стеснений, так что душа величайшего идиота столь же бесконечна и бессмертна, как и душа величайшего гения.

Оно происходит в душах наименее грубо материализованных и, следовательно, более способных пробудиться и вспомнить себя. Таковы люди гениальные, боговдохновенные получившие откровение, законодатели, пророки. Раз эти великие и святые люди, просвещенные и побуждаемые духом, без помощи которого ни что великое и доброе не делается в этом мире, обрели в себе самих одну из тех божественных истин, которые каждый человек бессознательно носит в своей душе, людям более грубо материализованным делается, конечно, гораздо легче сделать то же самое открытие в себе самих. Таким то образом всякая великая истина все вечные принципы, проявившиеся сперва в истории, как божественные откровения, сводятся позднее к истинам, без сомнения божественным, но которые тем не менее каждый может и должен найти в себе самом и признать их, как основы своей собственной бесконечной сущности или своей бессмертной души. Этим об'ясняется, как истина, первоначально открытая одним единственным человеком, распространяется мало по малу во вне и создает учеников, сперва малочисленных и обычно преследуемых, как и сам учитель массами и оффициальными представителями общества, но распространяясь все больше и больше по причине этих самых преследований, она кончает тем, что рано или поздно овладевает коллективным сознанием, и после того, как она долго была истиной, исключительно индивидуальной, она превращается в конце концов в истину, принятую обще-

ством. Осуществленная плохо-ли, хорошо-ли в общественных и частных учреждениях общества, она становится законом.

Такова общая теория моралистов метафизической школы. На первый взгляд, я сказал уже, она весьма приемлема и кажется примиряющей самые несогласуемые вещи: Божественное откровение и человеческий разум, бессмертие и абсолютную независимость индивидов с их смертностью и абсолютной зависимостью, индивидуализм с социализмом. Но, исследуя пристальнее эту теорию и ее следствия, нам легко будет признать, что она есть ни что иное, как видимое примирение, прикрывающее фальшивой маской рационализма и социализма, старинное торжество божественной нелепости над человеческим разумом и индивидуального эгоизма над социальной солидарностью. В конце концов она приводит к абсолютному изолированию индивидов и, следовательно, к отрицанию всякой морали.

Несмотря на претензии этой теории на чистый рационализм, она начинает с отрицания всякого разума, с нелепости, с фикции безконечного, затерявшегося в конечном, или с допущения души, многих бессмертных душ, заложенных и заключенных в смертных телах. Чтобы исправить и об'яснить эту человечность, эта теория вынуждена прибегать к другой совершеннейшей нелепости, к Богу, к своего рода бессмертной, личной, неизменной душе, заложенной и заключенной в преходящем и смертном мире, и сохраняющей все же свое всеведение и свое всемогущество. Когда этой теории задают нескромные вопросы, которых она не в состоянии разрешить, ибо нелепость не разрешима и не об'яснима, она отвечает страшным словом: „Бог!“ — таинственным абсолютом, который не обозначая абсолютно ничего, или обозначая невозможное, по ее мнению, разрешает и об'ясняет все. Это ее дело и ее право, ибо потому то она, наследница и более или менее послушная дочь теологии, и называется метафизикой.

Что подлежит здесь нашему рассмотрению, так это моральные последствия этой теории. Установим прежде всего, что ее мораль, несмотря на свою социалистическую видимость, есть мораль глубоко, исключительно индивидуалистическая. После этого нам будет не трудно уже доказать, что при таком своем преобладающем характере, она на самом деле является отрицанием всякой морали.

Согласно этой теории, бессмертная и индивидуальная

душа каждого человека, бесконечная или абсолютно самодовлеющая по своей сущности, и, как таковая, не имеющая абсолютно никакой потребности в каком либо существе, ни в отношениях с другими существами для самопополнения, оказывается заключенной и как бы уничтоженной в смертном теле. Находясь в этом состоянии падения, причины которого останутся для нас без сомнения навсегда неизвестными, потому что человеческий ум не способен их разрешить, и потому что разрешение их заключается единственно в абсолютной тайне, — в Боге, и будучи низведена до этого состояния материальности и абсолютной зависимости от внешнего мира, человеческая душа нуждается в обществе, чтобы пробудиться, чтобы вспомнить себя самое, чтобы вновь обрести сознание себя самой и божественных принципов, от века заложенных в ее недра самим Богом и составляющих ее истинную сущность.

Таковы социалистический характер и социалистическая сторона этой теории. Отношение людей к людям и каждого человеческого индивида ко всем остальным, одним словом общественная жизнь, появляются в ней лишь, как необходимое средство развития, как мостик, а не как цель. Абсолютная и конечная цель каждого индивида—он сам вне зависимости от всех других человеческих индивидов,—он сам перед лицом абсолютной индивидуальности, перед Богом. Человек нуждается в людях, чтобы выйти из своего земного принижения, чтобы вновь себя обрести, чтобы вновь схватить свою бессмертную сущность но, как только он обрел ее, черпая отныне свою жизнь лишь в ней одной, он поворачивается к людям спиной и погружается в созерцание мистической нелепости, в обожание своего Бога.

Если он сохраняет еще тогда какие либо отношения с людьми, то не из нравственной потребности, и, следовательно, не из любви к ним, ибо любят лишь того, в ком нуждаются, и того, кто нуждается в вас. Человек же, вновь обревший свою бесконечную и бессмертную сущность, самодовлеющий, не нуждается больше ни в ком; он нуждается лишь в Боге, который в силу тайны, понятной одним метафизикам, кажется обладающим бесконечностью, более бесконечной, и бессмертием, более бессмертным, нежели люди. Поддерживаемый отныне божественными всеведением и всемогуществом, индивид, сосредоточенный и свободный в самом себе, не может более испытывать потребности в других людях. Следовательно, если он продолжает еще сохранять некоторые от-

ношения с ними, то это может быть лишь по двум основаниям.

Во первых, потому что пока он остается отягощенным своим смертным телом, он вынужден есть, укрываться, одеваться и защищаться как от внешней природы, так и от нападений людей, а если он человек цивилизованный, то он имеет потребность в некотором количестве материальных вещей, которые доставляют довольство, комфорт, роскошь, из коих многие, неведомые нашим предкам, ныне считаются всеми предметами первой необходимости. Он мог бы, конечно, следуя примеру святых людей минувших веков, уединиться в какую либо пещеру и питаться кореньями. Но, повидимому, это больше не по вкусу современным святым, думающим, без сомнения, что комфорт необходим для спасения души. Итак, человек нуждается во всех этих вещах. Но эти вещи могут быть произведены лишь коллективным трудом людей: изолированный труд одного человека был бы не в состоянии произвести даже миллионную их часть.

Отсюда следует, что индивид, обладающей своей бессмертной душой и своей внутренней, независимой от общества свободой, современный святой имеет *материальную* потребность в этом обществе, с моральной точки зрения не имея в нем не малейшей потребности.

Но как следует назвать отношения, которыя будучи мотивированы исключительно лишь материальными потребностями, не санкционированы в то же время, не подкреплены какой либо моральной потребностью? Очевидно, назвать их можно только одним именем: *эксплоатация*. И в самом деле, в метафизической морали и в буржуазном обществе, как известно опирающемся на эту мораль, каждый индивид неизбежно делается *эксплоататором* общества, то есть всех; и роль государства в его различных формах от теократического государства и самой абсолютной монархии до самой демократической республики, основанной на самом широком всеобщем избирательном праве, заключается ни в чем ином, как в регулировании и гарантировании этой взаимной эксплоатации.

В буржуазном обществе, основанном на метафизической морали, каждый индивид по необходимости или по самой логике своего положения оказывается эксплоататором других, ибо он *материально* чувствует потребность во всех, *морально* же—ни в ком. Следовательно каждый, избегающий общественной солидарности, как помехи для полной сво-

боды его души, но ищущий ее, как необходимого средства для поддержания своего тела, рассматривает общество лишь с точки зрения своей материальной личной пользы и вносит в него, дает ему лишь то, что абсолютно необходимо для того, чтобы иметь не право, но возможность обеспечить для самого себя эту пользу. Каждый рассматривает его, одним словом, как эксплоататор. Но когда все одинаково эксплоататоры, необходимо должны быть счастливые и несчастные, ибо всякая эксплоатация предполагает наличность эксплоатируемых. Есть следовательно, эксплоататоры являющиеся таковыми одновременно как возможности, так и в действительности; и другие, большинство, народ, которые таковы лишь в возможности, лишь по намерениям, но не в действительности. В действительности они—вечно эксплоатируемые. Вот, следовательно, к чему приводит в социальной экономии метафизическая или буржуазная мораль, —к беспощадной и непрерывной войне между всеми индивидами, к ожесточенной войне, в которой большинство погибает, чтобы обеспечить торжество и благополучие малого числа.

Вторая причина, могущая привести индивида, достигшего полного обладания самим собой, к сохранению отношений с другими людьми, это желание угодить Богу и чувство обязанности выполнить его вторую заповедь.

Первая заповедь повелевает любить Бога больше самого себя и вторая—любить людей, своих ближних, как самого себя, и делать им *из любви к Богу* всякое добро, которое он желал бы, чтобы делали ему.

Обратите внимание на эти слова: „*из любви к Богу*“ Они полностью выражают характер единственной возможной любви при метафизической морали, состоящей как раз в том чтобы отнюдь не любить людей ради их самих, по собственной потребности, но лишь, чтобы угодить всевышнему господину. Впрочем, так оно и должно быть. Ибо раз метафизика допускает существование Бога, и отношения между человеком и Богом, она должна, как и теология, подчинить им все человеческие отношения. Идея Бога поглощает, разрушает все, что не Бог, замещая все человеческие и земные реальности божественными фикциями.

По метафизической морали, как я уже сказал, человек, пришедший к сознанию своей бессмертной души и ее индивидуальной свободы перед Богом и в Боге, не может любить людей, ибо морально он не чувствует более к этому

потребности, и потому что можно любить, как я еще добавил, лишь того, кто нуждается в вас.

Если верить теологам и метафизикам, первое условие полностью выполнено в отношениях человека с Богом, ибо они утверждают, что человек не может обойтись без Бога. Человек может, следовательно, и должен любить Бога, ибо он так нуждается в нем. Что же касается второго условия возможности любить лишь того, кто испытывает потребность в этой любви, оно совершенно не выполнено в отношениях человека с Богом. Было бы нечестиво сказать, что Бог может нуждаться в любви людей. Ибо нуждаться в чем нибудь значит испытывать недостаток в чем либо, необходимом для полноты существования. Это, следовательно, — проявление слабости, сознание в собственной бедности. Бог, абсолютно самодовлеющий, не может нуждаться ни в ком и ни в чем Не имея никакой потребности в любви людей, он не может любить их. И то, что называют его любовью к людям, есть ничто иное, как абсолютный гнет, подобный, но, конечно, еще более чудовищный, чем тот, который всемогущий император Германии оказывает ныне на всех своих подданных. Любовь людей к Богу также весьма сходна с той, которую испытывают немцы к этому монарху, ставшему ныне столь могущественным, что после Бога мы не знаем большого могущества, чем его.

Истинная реальная любовь, выражения взаимной и равной любви может существовать лишь между равными. Любовь высшего к нисшему, есть гнет, подавление, презрение, эгоизм, гордость, тщеславие, торжествующее в чувстве величия, основанного на унижении другого. Любовь нисшего к высшему это—унижение, страхи и надежды раба, ждущего от своего господина то счастья, то несчастья.

Таков характер так называемой любви Бога к людям и людей к Богу. Это—деспотизм одного и рабство других.

Что же означают эти слова: любить людей и делать им добро из любви к Богу? Это значит обращаться с ними, как Бог этого хочет. А как хочет он чтобы с ними обращались? Как с рабами.

Бог, по природе своей, вынужден обращаться с ними следующим образом. Будучи сам абсолютным Господином он вынужден рассматривать их как совершенных рабов. Рассматривая их, как таковых, он не может не обращаться с ними как с таковыми. Чтобы освободить их, есть лишь

одно средство: это самоотречение, самоуничтожение, исчезновение. Но это было бы слишком много требовать от его всемогущества. Он еще может, чтобы примирить странную любовь, которую он чувствуют к людям, со своей справедливостью, не менее своеобразною, принести в жертву своего единственного сына, как нам рассказывает Евангелие; но отречься покончить самоубийством из любви к людям, этого он не сделает никогда,—по крайней мере, если не будет вынужден к этому научной критикой. Пока доверчивая фантазия людей позволит ему существовать, он всегда будет абсолютным властителем над рабами. Следовательно, очевидно, что обращаться с людьми по-божески может означать лишь обращение с ними, как с рабами.

Любовь людей „по-божески“ это—любовь их рабства. Я, Божьей милостью бессмертный и целостный индивид, чувствующий себя свободным именно потому, что я раб Бога, я не нуждаюсь ни в каком человеке, чтобы сделать более полными мое счастье и мое материальное и моральное существование, но я сохраняю мои отношения с ними, чтобы повиноваться Богу, и любя из любви к Богу, обращаясь с ними по-божески, я хочу, чтобы они были рабы Бога, как и я сам. Следовательно, если всевышнему Господину угодно избрать меня, чтобы осуществлять на земле его святую волю я сумею заставить их быть рабами. Таков истинный характер того, что искренние и серьезные обожатели Бога называют своей любовью к людям. Это не освобождение их, это—их порабощение для вящшей славы Бога. И таким то образом божественный авторитет превращается в авторитет человеческий, и Церковь создает Государство.

Согласно теории, все люди должны служить Богу именно таким образом, но, как известно, много званных, но мало избранных. И к тому же, если бы все равно были способны выполнить это, то-есть если бы все пришли в той же ступени интеллектуального и морального равенства, святости и свободы в Боге, это самое служение сделалось бы ненужным. Если это необходимо, так лишь потому, что огромное большинство человеческих индивидов не дошло до такой степени; отсюда следует, что эту массу, еще невежественную и грубую, следует любить и обращаться с ней по-божески, то-есть, она должна быть управляема и порабощаема меньшинством святых, которых тем или иным способом Бог никогда не преминет сам выбрать и поставить в привиле-

гированное положение, которое позволит им выполнить этот долг *).

Сакраментальная формула при управлении народных масс для их собственного блага, разумеется, для спасения их душ, если не тел, которою пользуются как святые, так и благородные в теократических и аристократических государствах, а также *интеллигенты* и богачи в государствах

*) В доброе старое время, когда христианская вера, еще не поколебленная и представляемая главным образом римско-католической Церковью, процветала во всем могуществе, Богу совсем не трудно было намечать своих избранников. Считалось общепризнанным, что все государи, великие и малые, царили милостью Бога, если только они не были отлучены. Само дворянство основывало свои привилегии на благословении святой Церкви. Даже протестантизм, могучим образом способствовавший разумеется, против своей воли разрушению веры, оставил по крайней мере в этом отношении, неприкосновенной христианскую доктрину: „Несть власти", вторил он апостолу Павлу, „аще не от Бога". Он даже укрепил власть государя, заявляя, что она исходит непосредственно от Бога, не нуждаясь во вмешательстве Церкви и, напротив, подчиняя Церковь власти государя. Но с тех пор, как философия последнего века в союзе с буржуазной революцией нанесла смертельный удар вере и опрокинула все учреждения, основанные на этой вере, доктрине власти трудно вновь упрочиться в сознании людей. Нынешние государи правда продолжают величать себя царствующими „Божией милостью", но эти слова, некогда имевшие столь полное жизни, столь мощное и реальное значение, ныне рассматриваются *интеллигентными* классами и даже частью самого народа лишь, как устаревшие и банальные фразы, ровно ничего, по существу, не означающие. Наполеон III пытался обновить эту фразу, присоединив к ней другую: „*и волею народа*", которая, прибавленная к первой, либо уничтожает ее и тем самым уничтожается сама, либо обозначает, что все, чего хочет народ, хочет и Бог. Остается узнать, чего хочет народ; и какой орган всего вернее выражает его волю. Радикальные демократы воображают, что этим органам всегда является Собрание, избранное всеобщим голосованием; другие, еще более радикальные, прибавляют к нему *референдум*, непосредственное голосование целым народом каждого нового сколько-нибудь важного закона. Все, консерваторы, либералы, умеренные радикалы и крайние радикалы согласны на том, что народ должен быть управляем либо выбранными им самим, либо навязанными ему правителями и господами, но что во всяком случае он должен иметь правителей и господ. Лишенный разума, он должен предоставить руководство собою тем, кто им обладает.

Между тем как в минувшие века наивно требовали власть во имя Бога, ныне ее доктринеры требуют во имя разума. Власть требуют уже больше не священники павшей религии, но дипломированные священники доктринерского разума и притом в эпоху, когда банкротство этого разума стало очевидным. Ибо никогда еще образованные и ученые люди и вообще так называемые просвещенные классы не выказывали такого нравственного упадка, такой трусости, такого эгоизма и такого полного отсутствия убеждений, как в наши дни. По причине трусости, несмотря на всю свою ученость, они остались глупцами, ничего не понимающими кроме сохранения того, что существует, и безумно надеющимися оста-

доктринерских, либеральных и даже республиканских и основанных на всеощем избирательном праве, — одна и та же: *„Все для народа, ничего при посредстве народа“*. Она означает, что люди святые, благородные или привилегированные, как в отношении научно-развитого интеллекта, так и в смысле богатства, ближе к идеалу или к Богу, как выражаются одни, или к справедливости и истинной свободе, как выражаются другие, гораздо ближе, чем народные массы, и потому имеют священную миссию руководить ими. Жертвуя своими собственными интересами и пренебрегая своими собственными делами, они должны посвятить себя счастью *меньшого брата*, народа.

Принадлежность к правительству не есть удовольствие, но тяжкий долг, — выполняя его, не ищут удовлетворения честолюбия, тщеславия или личной корысти, но лишь возможности посвятить себя общему благу. Поэтому то, без сомнения, так незначительно всегда число соискателей оффициальных должностей, и короли и министры, крупные и мелкие чиновники, принимают власть лишь, скрепя сердце.

повить ход истории грубой силой военной диктатуры, перед которой они ныне позорно распростерлись.

Как некогда представители божественного разума и власти, Церковь и священники, слишком очевидно связали себя с экономической эксплоатацией масс, — что было главной причиной их падения, — так и теперь представители разума человеческого и власти человеческой, Государство, сословие ученых и просвещенные классы слишком очевидно отождествили себя с тем же самым делом жестокой и несправедливой эксплоатации, чтобы они могли сохранить хоть малейшую моральную силу, малейший престиж. Осужденные своей собственной совестью, они чувствуют себя разоблаченными и не имеют другой защиты от презрения, которое, как они сами понимают, они вполне заслужили,—кроме жестоких аргументов организованного и вооруженного насилия. Организация, основанная на трех отвратительных вещах: бюрократии, полиции и постоянной армии,— вот, что представляет собою ныне государство; это видимое тело эксплоатирующего и доктринерского разума привилегированных классов.

На смену этой разлагающейся и умирающей интеллигенции пробуждается и образуется в народных массах новая интеллигенция, молодая, сильная, полная будущности и жизни, еще, конечно, не развитая научно, но жаждущая новой науки, освобожденной от всяких глупостей метафизики и теологии. У этой новой интеллигенции не будет ни дипломированных профессоров, ни пророков, ни священников, но, черпая свою силу в каждом и во всех, она не образует ни новой Церкви, ни нового Государства. Она разрушит всякие следы рокового и проклятого принципа власти, как человеческой, так и божественной, и, возвращая каждому его полную свободу, она осуществит равенство, солидарность и братство человеческого рода. (Примеч. Бакунина).

Таковы, следовательно, в обществе, построенном согласно теории метафизиков, два различных и даже противоположных рода отношений, могущих существовать между индивидами. Во первых—*эксплоатация*, во вторых—*управление*. Если правда, что управлять значит посвящать себя благу тех, кем управляют, то этот второй род отношений находился, действительно, в полном противоречии с первым, с эксплоатацией. Но разберемся в этом хорошенько. Согласно идеалистической—как теологической, так и метафизической теории, эти слова: *благо масс* не могут означать ни их земного благополучия, ни их преходящего счастья. Что значат какие нибудь десятки лет земной жизни в сравнении с вечностью! Следовательно, нужно управлять массами не в виду этого грубого счастья, которое дают нам материальные блага на земле, но в виду их вечного спасения. Материальные лишения и страдания могут быть даже рассматриваемы, как недостаток воспитания, раз доказано, что обилие телесных наслаждений убивает бессмертную душу. Но тогда противоречие исчезает: *эксплоатировать и управлять означает одно и то-же*, одно дополняет другое, служа ему в конце концов и средством и целью.

Эксплоатация и Управление,—два неотделимых друг от друга выражения того, что называется политикой, причем первая дает способы управлять и образует необходимую основу равно как и цель всякого управления, которое в свою очередь гарантирует и легализирует возможность эксплоатировать. С начала истории они составляют, собственно говоря, реальную жизнь Государств: теократических, монархических, аристократических и даже демократических. Раньше, вплоть до великой революции конца XVIII века их тесная связь маскировалась религиозными лойяльными и рыцарскими фикциями; но с тех пор, как грубая рука буржуазии разодрала все довольно, впрочем, прозрачные покровы, с тех пор, как ее революционный вихрь рассеял все ее пустые фантазии, за коими Церковь, Государство, теократия, монархия и аристократия могли так долго и спокойно выполнять все свои исторические бесстыдства; с тех пор, как буржуазия, наскучившая быть наковальней, сделалась в свою очередь молотом, с тех пор, одним словом, как она воздвигла современное Государство, эта роковая связь сделалась для всех раскрытой и даже неопровергаемой истиной.

Эксплоатация это—видимое тело, а правительство это—

душа буржуазного режима. И как мы только что видели, и то и другое в этой столь тесной связи является, как с теоретической, так и с практической точки зрения, необходимым и верным выражением метафизического идеализма, неизбежным следствием той буржуазной доктрины, которая ищет свободу и нравственность индивидов вне общественной солидарности. Эта доктрина приводит к эксплоататорскому управлению небольшого количества счастливцев или избранников и к эксплоатируемому рабству масс и—для всех—к отрицанию всякой нравственности и всякой свободы.

После того, как я показал, как идеализм, исходя из нелепых идей Бога, бессмертия душ, *первоначальной* свободы индивидов и их нравственности, независимых от общества, приводит роковым образом к освящению рабства и безнравственности, я должен показать теперь, как реальная наука, то есть материализм и социализм,—это второе выражение, впрочем, есть лишь правильное и полное развитие первого,—должна точно также необходимо придти к установлению самой широкой свободы индивидов и человеческой нравственности именно потому, что она приняла за исходную точку материальную природу и естественное и первобытное рабство людей и потому, что она тем самым обязывает себя искать освобождения людей не вне, но в самых недрах общества, не вопреки ему, но через него.

(Здесь рукопись обрывается).

СОДЕРЖАНИЕ.

П. Кропоткин—Поля, Фабрики и Мастерские.
Его-же.—Взаимная Помощь (вновь пересмотренное и дополненное с предисловием автора к этому изданию).
Его-же.—Справедливость и Нравственность.
Его-же.—К чему и как прилагать труд ручной и умственный (сокращенное изложение книги „Поля, фабрики и мастерские).
Его-же.—Анархия.
Его-же.—Анархическая работа во время Революции.
Его-же.—Коммунизм и Анархия.
Его-же.—К молодому поколению (разошлось).
Его-же.—Политические права.
Его-же.—Новый Интернационал.
Н. К. Лебедев.—Элизе Реклю, как человек, ученый и мыслитель.
Его-же.—К истории Интернационала. Этапы международного об'единения трудящихся.
Э. Малатеста.—Избранные сочинения.
Его-же.—Анархизм.
Его-же.—Краткая Система Анархизма.
Его-же.—Крестьянские речи.
М. Неттлау.—Жизнь и деятельность Михаила Бакунина.
Его-же.—Взаимная ответственность и солидарность в борьбе рабочего класса.
Э. Пато и Э. Пуже.—Как мы совершим революцию, с предисловием П. А. Кропоткина.
Э. Пуже.—Избранные сочинения по вопросам Синдикализма.
Ф. Пеллутье.—История Бирж Труда.
М. Р—ский.—Франциско Феррер и его Новая Школа.
Элизе Реклю.—Избранные сочинения (с предисловием П. А. Кропоткина).
Свободное Трудовое Воспитание. Сборник статей под редакцией Н. К Лебедева.
В. Траутман, Дж. Эттор и В. Сэнт-Джон.—Производственный Синдикализм (Сборник статей об индустриализме, с предисловием А. Шапиро).
С Фор.—Преступления Бога (второе изд.)
В. Черкезов. — Предтечи Интернационала; Доктрины Марксизма; Распад среди социалистов государственников; Наконец-то сознались (ответ Каутскому).

Печатаются и в скором будущем выйдут в свет

М. Бакунин —Исповедь.
Дж. Гильом.—Интернационал (Воспоминания и Материалы). Том III и IV.
П. Кропоткин.—Этика.
Его-же.—Великая Французская Революция.
Эли Реклю.—Парижская Коммуна изо дня в день. (Дневник событий 1871 года).
Сборник памяти П. А. Кропоткина под редакцией Н. К. Лебедева, А. А. Борового и Гроссман-Рощина.
Ф. Эртер.—Чего хотят синдикалисты.
